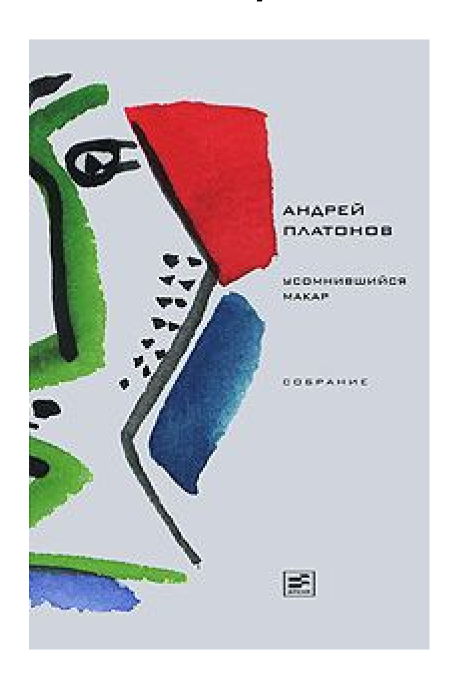
Андрей Платонович Платонов
Том 1. Усомнившийся Макар

Андрей Платонов. Собрание сочинений – 1



«Собрание сочинений»: Время; Москва; 2009
ISBN 978-5-9691-0617-8, 978-5-9691-0614-7

Аннотация

Перед вами — первое собрание сочинений Андрея Платонова, в которое включены все известные на сегодняшний день произведения классика русской литературы XX века.

В эту книгу вошли рассказы 1920-х годов и стихотворения.

К сожалению, в файле отсутствует часть произведений.

Андрей Платонович Платонов
Собрание сочинений
Том 1. Усомнившийся Макар

От издательства

Перед вами — первое собрание сочинений Андрея Платонова, в которое включены все известные на сегодняшний день произведения классика русской литературы XX века.

Собрание задумала и начала готовить к изданию дочь писателя Мария Андреевна Платонова. После ее безвременной кончины работу продолжил ее сын Антон Мартыненко. Выполняя просьбу наследников, собрание сочинений составила Н. В. Корниенко.

Над научными комментариями к произведениям Андрея Платонова работали исследователи творчества писателя Н. М. Малыгина, И. И. Матвеева и В. В. Лосев.

Многие материалы, в том числе и архивные разыскания, прежде не публиковались. Впервые будут напечатаны повести «Хлеб и чтение» (реконструкция текста Н. В. Корниенко) и «Строители страны». Повести «Эфирный тракт» и «Город Градов», издававшиеся раньше в искаженном цензурой и редактурой виде, публикуются в авторской редакции.

Авторы комментариев опирались на опыт подготовки научного собрания сочинений Андрея Платонова, работу над которым в ИМЛИ РАН ведет группа специалистов под руководством Н. В. Корниенко.

Тексты произведений Платонова, насколько возможно, приведены в соответствие с волей писателя.

В собрание включены фотодокументы из семейного архива Андрея Платонова.

Андрей Битов. Слово о Платонове

[текст отсутствует]

Рассказы 1920-х годов

Записи потомка

Память

Издревле и повсесюдно все старики спят. Спят так, что пузыри от уст отскакивают и одиноко мокнет позабытая в бороде сопля.

Жизнь человека в смерть переходит через сон. Большое счастье и долгая жизнь тушатся неприметно, без вскрика и боли, как вечерний откат света от земли.

Я мальчиком видел старика Василь Иваныча, он засыпал с несвернутой цыгаркой на пальце.

Начнет вертеть бумажную посуду для обычной порции в полосьмушки, но эта привычная работа выгонит из Василия Иваныча его душу вместо заморенной скребущейся мысли, он глянет на вывеску, где написано:

АПТЕКА

и закроет глаза; потом опять откроет их, по-чугунному остановится на вывеске, но уже не видит аптеку и опустит веки, как щеколду запрет на затвердевшем сердце, аж под веками у него запенится.

Сладки, должно быть, предсмертные сны!

Потом Василий Иванович начинал приседать; засыпал он стоя, закуривая, мочась, глядя на запекающийся вечерний закат или разжевывая огурец — все едино. Медленно полз он поясницей к земле, не спеша гнулся его хребтовик — вот-вот сломается, — пока не доставал Василий Иванович самым кончиком своего отощалого зада головки травинки, тогда его травинка щекоткой подбрасывала кверху, и Василий Иванович опять читал:

АПТЕКА

а через миг опять в квас скисалась его кровь и он полз к земле, как тесто из горшка.

* * *

Но Никанор был не тот. Василий Иванович был гора-мужик, а Никанор — так: гнусь одна, загло баритон и глупый человек. Если за забором его посадить и сказать: — Прореви,

Никанор, — за Никанора полтинник дадут не глядя, а в действительности на нем ни одни штаны не держались. Никанор шил их не иначе, как по особому заказу у своего друга и в то же время знаменитого песнопевца — Иоанна Мамашина.

Мамашину однажды хорошей плюхой один мастеровой сделал из двух скул одну — на острый угол. В другой раз этот же боец и хирург сделал из Мамашиной хари опять благоприятный лик. В третьем свирепом и долгом побоище Чижевки и Ямской печник Гаврюша хотел двинуть Иоанна Мамашина в ушняк, но попал по какой-то дыхательной щели, и Иоанн заорал, как архангел.

Так Гаврюша сделал Мамашину голос из обыкновенной глотки. И с той поры Мамашин переменил вывеску над своим заведением.

Нанял Автонома-маляра и женского хирурга — и продиктовал ему такого сорта слова:

ІОАН ДАНИЛОВИЧ МАМАШИН
брючный сюртучный и елегантный
ПОРТНОЙ
а также песнопевец и принимаю заказы на апостола и протчіи
ТОРЖЕСТВЕННЫИ БДЕНІЯ

— Длиннота чертова! — сказал живописец-Автоном, получив сей текст.

— А ты его нарисуй — помудрей как-нибудь, а конец по-божественному обведи, — напутствовал Автонома Иоанн.

— Смозгуем уж, будет и божественно и чудно, — сказал Автоном и зачмокал по грязи в дом свой к жене своей Автономихе и к детям своим.

И вот по вечерам, когда Иоанн обметывал петли, его мамаша, копаясь в каких-нибудь ветошках, просила:

— Поори, Ванюшка.

И Иоанн, так после убедительной вывески его именовала вся улица, орал. Голос получился после гаврюшкиной операции, и правда, хороший, ласковый, громадный и неумолкаемый. Будто кто-то большой и теплый поднимает высоко тебя, держит, жмет и плачет на ухо.

После работы останавливались у открытого окна мастеровые и просили:

— Двинь, Ванил Данилыч!

— Ляп-тяп-тяп-ни, дорогой, чтоб гниды подохли!

— Дай слезу в душу, Ванюша!

— Грянь, друг!

И Иоанн с радостью гремел.

* * *

Я был тогда маленьким, но помню его песни. Песни были ясные и простые, почти без слов и мысли, один человечий голос — и в нем тоска:

Загуди ты в поле, вьюга,
Замети мои пути,
Пронесися белой птицей,
Песню в сердце засвети.
Ой, не надо боле жизни,
Ни березки, ни травы…

Я узнал, что Россия — это поле, где на конях и на реках живут разбойники, бывшие мастеровые. И носятся они по степям и берегам глубоких рек с песней в сердце и голубой волей в руках.

Я вырос, а Василий Иванович, Никанор, Иоанн Мамашин — все куда-то делись: кто

умер, кто ушел в бродяги, кто навсегда затих, утихомирился; отмачивает дратву, поглядыает на тихую завороженную улицу и спит, как сурок, долгие дождливые русские ночи; кто залег на лежанку и любуется по вечерам на сына, как он читает книги, и думает до утра.

* * *

Недавно я шел в поле один по свежему жнивью. Как и в детстве, горел вечерний костер на небе и стихало солнце, уже окунавшееся в далекие леса. Та же радость и тишина во мне. И далеко вдруг какой-то родимый и забытый голос запел песню. То тянули домой в деревню пара волов телегу с тяжелой рожью. За возом шел дед и его девушка-внучка. Она и пела одна.

Нигде милого не вижу,
Да ни в деревне, да ни в селе.
Только вижу я милаго
Да на патрете, да в сладким сне!..

Вон и деревня видна — куча хат, крытых в нахлобучку тою же ржаною соломой. Оттуда идет дым и пахнет пекущейся картошкой, молоком, грудными ребятами и подолами матерей.

Кругом было тихо и чудно.

Вчерась я был в этой деревне и встретил там Автонома. Он уже сапожник, а не свободный акушер и живописец. Поговорил бы с ним, да он не захотел: должно быть, забыл меня.

— Прощевай, — говорит — я пока что посплюсь, пока все вши в холодок ушли.

И он задрал кверху бороденку и выпустил воздух с густой возгрей из одной ноздри. И в животе у него забурчало от молока и от огурцов.

— Милый, ты мой!

Иван Митрич

Старый человек, — похожий на старушку, а не на мужика, — ходил подвязанный платочком под подбородочек. Ходил он по городу в две тысячи душ и следил за порядком: что, где и как.

Сам он не нужен был никому: стар и неработящ. Зато ему нужны были все.

Шли ли куры, стояли ли плетни: Иван Митрич не упускал их из виду. Мало ли что!

Жил он тем, что давала ему дочь — швейка-мастерица.

Каждый день она посылала его на пески к Дону, на базар — принести хлеба, говядины, овощу и прочего. И наказывала:

— Приходи раньше, чтоб обед был вовремя!

Иван Митрич шел и пропадал. Приходил к вечеру, а не утром. Его мучили непорядки. Куры застревали в дубьях на улице у постройки. Иван Митрич ложился животом на дубья и глядел. Курица билась в узкой щели внизу и не могла размахнуться крыльями и выскочить.

Иван Митрич изобретал и строил некий мудрый прибор из прутьев, соломы и веревки и извлекал под конец, часам к четырем, перепуганную квохтунью.

Потом шел на базар к шапочному разбору и накупал товар-осталец, самую грязь, дешевку и нечистоту. Потом брел тихо и беспокойно домой и приходил, когда благовестили к вечерне.

Он покорно слушал укоряющий говор дочери и, когда темнело, уходил в странствие: та курица снеслась в дубах, и яйцо там покоилось и взывало к нему.

Раз сманили его монахи поступить в монастырь к угоднику божию Тихону: ибо святость его велика, а в храмах бога благолепие, экономия и порядок.

Иван Митрич стал преподобным Иоанном и надел черную свитку. Но через неделю ушел домой к дочери от скукоты и елейной вони.

Шел он домой. Продавал на базаре цыганенок черную живую сучку Ласку. Купил ее Иван Митрич, ощупал в кармане пятачок, взял извозчика, закурил папироску и поехал с барышней-собачкой на коленях.

И стал он опять, чем был.

А в одну весеннюю ночь, когда кричали за Доном соловьи и у дочери сидел полюбовник, Иван Митрич увидел сон, что стоит он на берегу Дона и мочится. И от множества воды из себя перепрудил Дон, утонул и умер.

<1921>

Чульдик и Епишка

Ехидный мужичок похлюпывал носом и не шевелился. И нельзя было понять, спит он или и сейчас хитрит: один глаз был не закрыт, а прищурен. Он лежал под глинистым обрывом на берегу Дона. Пониже стояла лодка с рыбацкими снастями, а повыше луг и дача без господ.

— Давай назад, оттыльча… оттыльча… — бормотал мужичок: значит, спал как надо.

С обрыва сигнул другой такой же мужичок, будто брат его, но только еще жиже и тоще, а на вид душевней.

— Хтой-та эт? Што за Епишка? Откель бы… И пахуч же, враг!.. А во сне спящий — ехидный и пахучий — и сопеть перестал: сон увидел, что наелся говядины и лежит с чужой бабой в соломе. Душевный мужичок, что пришел, шлепнул его огромадным кнутовищем по штанам.

— Што за Епишка, успрашиваю, хозяин такой тута?..

Епишка ото сна понял это по-своему:

— Дунь, Дуняшь… Не бойсь, уважь!.. Чума с ним, мужиком, сатаной плешивым…

Но этот стеганул по пояснице как следовает, и Епишка вскочил.

— Што!.. Ай я… Дунька, враг, ведьма днепровская!..

Душевный Чульдик поморгал и сказал:

— Добре-е… Дунька? Нет, малый, оближись да вали до хаты, откель вылез, видно так-то…

Ошалелый Епишка вскочил и в портках поплыл через Дон на деревню. Там звонили на колокольне, и стояла туча черного дыма с красным вздыхающим животом… У Чульдика от годов глаза, как говядина, и видел он шагов на пять. Он набил трубку и полез в лодку глядеть перемет, как будто в мире было сплошное благо. У Епишки, который был зорок на ехидный глаз, горело от горя сердце, и он дул через Дон во всю мочь. На том боку Епишка ухватился за куст и повис на нем, ослабши.

Вот он без духа летит по лугу и держит штаны за ширинку. Вонна его хата. Там спит его девочка в люльке. Она обмокла и хочет есть. А он, Епишка, бродит один по жарким сухим полям и думает неведомо о чем, живет без друга, без родного человека и без причалу.

Теперь его хата занялась полымем от соседского плетня, и Епишка вот мчится и чует, как проваливается его душа, как стоит кровь в жилах и пляшет сухое сердце. Хата закружилась в огне и ветре, а Епишка упал в пыль на дороге и пополз от немощи.

По всей округе было безлюдье. Полсела полыхало. А Епишка, как белый камень с чужого неба, лежал мертвым и окаянным.

Дон лился на перекатах, и Чульдик сидел в лодке середь реки и нанизывал червей на крючки. Он был там свой, питаясь из реки и думая над ней.

* * *

Обгорелый Епишка похирел дня три и стих. Чульдик вырыл ему яму в углу кладбища, где гадили и курили ребята, когда шла обедня, и закопал Епишку вместе с девочкой.

— И дело с концом, — подумал он и пошел себе. Пять дней Чульдик таскал бирючков, подустов и голавлей и ни разу не помянул Епишку. На шестой он дремал под вечер у землянки и сразу будто увидел Епишку, как он спал у ладьи и поминал Дуньку в непутевых речах. Чульдик, как подхваченный, пошел на деревню и без жалости пришел в изгаженный угол кладбища. Там, под бугорком, гнил Епишка, по-деревенски — Кузьма. Чульдик присел на лопух и забыл, зачем пришел.

— Кузьма, Кузя!.. Нешто можно так, идол ее рашшиби-то!.. Али я, али што?..

Дон бормотал на перекатах, и видна была черная дыра землянки на том берегу. На улице рвала и ухмылялась гармошка под лад девок:

Я какая ни на есть —
Ко мне, гадина, не лезь!
Я сама себе головка,
А мужик мне не обновка!

<1920>

Поп

Был поп и были мужики. Вот раз приходит к попу один мужик и говорит:

— Как бы мне, батюшка, сына, к примеру, оженить?

— А, тебе сына женить, тебе вот сына женить!.. — Женить, батюшка, беспременно. Вожжается с Машкой Безрукиной, ходит — мычит!

— Ага, тебе сына женить!

— Яичек, пашенца, куренка я вам, батюшка, в сенях поставил.

— Марфа, Марфия, пропади ты пропадом!

Прибежала кухарка Марфа, подол подоткнут под мышки, и видны голые лыдки.

— Возьми, что там в сенцах этот поставил, в чулан спрячь.

Мужик стоит и думает о корове, о Машке Безрукиной и о всем постороннем веществе. Поп посопел и сказал:

— Приди, друг, завтра.

— Прощайте, батюшка.

— Ступай, сынок.

Приходит мужик завтра. Положил в сенях петушка и коровьего маслица, подумал и вошел в покой.

— Здравствуйте, батюшка!

— Здравствуй! А ты чей, ты зачем пришел?

— Мы здешние. Степку женить, а то с Машкой вожжается, ходит — мычит.

— Ага, тебе Степку женить! Так-так! Тебе Степку женить, ходит — мычит?!

— Мычит, батюшка, говорить перестал, а во сне разговаривает.

— Марфа, Марфия, непокорная дочь!

Прибежала гололыдая.

— Возьми там. Глянь, цел у амбара замок? Чулан запри строже!

Мужик стоял и думал о всякой суете.

— А ты приходи завтра. Обдумать это дело надо. В нем великая суть. Надобно спрохвала к этому делу подобраться!

— Да то как же, дело великое! Святой, можно сказать, случай, Степка мычит! Бродит, леший сутулый. По ночам ворочается и глазами не моргает!..

— Ну, ты ступай, ступай. Разговорился!

* * *

Приходит мужик назавтра. Положил в сенях, что надо по положению, и вошел в тихие прохладные покои батюшки.

— Тебе што?

— Да вот опять же…

— Ага, тебе Степку женить, по ночам мычит. Приди завтра!

— Да нам, батюшка, ходить-то уж дюже… И к тому же сено возить, самый дробыш остался.

— Ага, тебе сено возить, дробыш! Тебе некогда, а батюшке есть когда! Батюшке делов нету? Тебе Степку женить, а батюшке горе? Все батюшке, все ему одному, всех вас пользуй, а он все один! А ты што влупился в меня, ты што пристал-то, ай без меня и ходу нету, ни вздохнуть, ни родиться?.. Ай так? А хочешь, я из тебя шута сделаю?

— Батюшка, да што вы, отец родной? Я не к тому. Темный я, проклятый человек… Нам не до того. Я все об Степке.

— Ага, ступай к отцу дьякону!

Мужик постоял, подумал, что все едино, нету на свете ничего, хотел уходить, но вспомнил о полях, о своей жуткой хате и еще постоял.

Батюшка перешел в другую комнату, присел за дверью и стал глядеть в скважину на мужика. Тот влупился глазами в пол и шептался сам с собой.

— А, ты батюшку ругать, ты меня хулить, ты суету в себе распустил, ага, ты вон какой!..

— Да што вы, аль я такую личность…

— Стой! Замри! Гляди на меня, какое небо, — черное? Не оглядывайся?

— Да нет же. Денное небо, обнаковенный верьх… У меня спешка по хозяйству, батюшка, об лугах сумление… Душа у меня батюшка, без греха, чиста — одно слово. Только я живу без пути и с обидой.

— Ага, с обидой!.. Ну, скройся, исчезни с глаз, дух суеты, дух дерзости и пустого хождения!.. Марфия! Марфа!

Мужик пошел без толку и встретил в сенях Марфу, голые лыдки. На дворе было небо, обыкновенный верх, и мужик исчез. Батюшка ни о чем не думал и видел потолок. Пришла Марфа.

— Что ты со мной делаешь, дочь супостата? Спрячь из сеней в чулан! Да запри, запри строже! Амбар огляди, бесстыдница содомская! Что ты за дурь такая?.. Уходи!

Мужик брел у плетней и думал о всем свете. Из хаты Машки Безрукиной вышел его Степка. Он промычал что-то, поглядел непутевыми глазами на дорогу и перелез через плетень. Мужик поглядел на него отцовскими скорбящими глазами. Потом оглянулся кругом:

— Пропади ты пропадом! И не пошел в свою хату, а залез в бурьян и задумался.

<1920>

Мавра Кузьминична

Мавра Кузьминишна Горечихина — старушка. Сыновья ее умерли, внуки пропали без вести, а невестки выгнали и вышли замуж вторично. Мавра Кузьминишна тогда взяла и продала старинный мужнин сюртук, жилетку и шесть пар ветхих валенок. Выручила она за это имущество одиннадцать рублей с пятачком и спокойно зажила себе без попечителей и попрекателей. С тех пор прошло четырнадцать лет, а Мавра Кузьминишна еще не прожила одиннадцати рублей, даже и не почала их.

Мавра Кузьминишна любит кушать, например ест летом котлеты, любит в пост уху и иногда, беззубая, варит себе манную кашку, любит ходить в гости и приятно одеваться в свое старое пышное подвенечное платье с тюрнюром.

Одиннадцать рублей можно всю жизнь не прожить, если научиться жить у Мавры Кузьминишны. По крайней мере, не будешь растратчиком собственных денег.

У Мавры Кузьминишны дома сорок плошек. Вместо цветов она разводит в них всякий овощь — картофелины, морковь, лук, репицу и прочее и даже цветы «огонек». Плошки она собрала на дворе, выбрасываемые расточителями, за комнату никогда ничего не платила — хозяину за это смотрела за курами. Котлетку и другой питательный продукт, не растущий в плошках, приобретала в обмен за рассаду «огонька»-цветочка.

Кроме этих доходных статей, Мавра Кузьминишна сама по себе была ласковая и духовитая бабушка. Скажет что-нибудь соседке задушевное, а та:

— Кузьминишна, иди чай пишь, вареньице есть, пирожка отрежу!.. А Мавра Кузьминишна:

— Штой-то поясницу ломит, Никитишна… У тебя какое варенье-то?..

Питалась Мавра Кузьминишна, прожевывая пищу длительно, томя желудок и истекая слюной, чем добивалась высокой полезной отдачи пищи; зимой не выходила из дома без нужды — холод истощает тело. Летом сидела под теплом и сиянием солнца, множа калорийные силы организма, ночами спала глубоко, как будто она рыла могилы и очень устала, и во сне видела сытную мягкую еду и сукна.

* * *

Так Мавра Кузьминишна до сих пор имеет свои одиннадцать рублей с пятаком и отдаст их, вероятно, только мне, чтобы я мог закрыть ей очи ее же пятаком, когда придет к ней заблудившийся смертный час.

В следующий же час — не смертный, а живой — я покажу этим одиннадцати рублям то, чего они не видели четырнадцать с лишним лет.

Экономик Магов

В бывшем городе Задонске — теперь там сельсовет — по улице 19 Июля проживает гражданин — Иван Палыч Магов. Задонск — древнерусский монастырский центр, город божьих старушек и церковных золотых дел мастеров. Монастырь был кормильцем обитателей этого города (200 тысяч в год странников, богомольцев, богомолок и прочих пешеходов), а теперь, когда монастырь имеет значение пожарной каланчи и радиоприемника, жителям питаться нечем. Раньше по грунтовым дорогам в город несли холстину, а теперь по эфиру туда несется радиомузыка.

Вместо имущества — красота!

Поэтому жители перешли на экономический строй существования.

Иван Палыч — наиболее выдающийся, в общем и целом, задонский экономик. Он имеет одну пару сапог уже двенадцать лет — и они еще новые и гожие в долгую носку. Иван Палыч опытом и собственной осмысленностью дошел, что у сапог есть четыре врага: атмосфера — дух, вода — гидра, уличный торец и хождение без надобности.

После каждого своего похода в город или в грунтовые окрестности его Иван Палыч сапоги снимал, стирал с них тряпочкой пыльцу, мазал неспешно и слегка ваксой, чтобы не бередить зря кожу, и, приподымая осторожненько за ушки, опускал в специально для того сшитые брезентовые мешочки водо- и воздухонепроницаемые, набитые сухой овсяной соломой, ежегодно сменяемой.

После сего мешки запечатывались деревянными пуговицами — рукоделие самого Иван Палыча — и подвешивались на потолочные гвозди, где воздух суше и покоя больше.

Оно и понятно: сапоги приобретены за 7 рублей, а женитьба Ивану Палычу обошлась

круто в четыре с половиной, но эти чрезвычайные единовременные расходы были с некоторым избытком возвращены приданым жены — домом с палисадом, забором, нужником и сараем, — имуществом высокой долговечности. Да еще движимого имущества имелась некоторая наличность. А что оставляют сапоги, когда они износятся?

* * *

Об Иване Палыче можно написать книгу, и можно всю его экономически цельную, граждански, так сказать, последовательную фигуру понять из следующего заключительного аккорда — карандаша.

Иван Палыч вышел из первого класса церковно-приходской школы, порешив, что от ученья можно с ума сойти (в тот год повесился сын барина Коншина — студент, начитавшись книжек и переучившись), а главное было в том, что Иван Палыч хотел поскорее зарабатывать свой гривенник в месяц — и поступил мальчиком в монастырскую ризницу.

Вот с той поры и до сей Иван Палыч имеет один и тот же карандаш — на всю жизнь, оказывается, достаточно одного карандаша! Вот норма снабжения разума инструментарием!

При этом Иван Палыч не покупал карандаша, а получил его без оплаты от пономаря Сергея, которому этот карандаш уже не приходился по рукам — по малым размерам вследствие исписки. Пономарь же Сергей сочинял, писал и сбывал на рынок рацеи, поэтому нуждался в новом, более рациональном карандаше.

Главный враг карандаша — не писание, а чинка. Чинка же имеет в первопричине не расход графита, а безумную спешку в писании, ненужное нажимание и ломку драгоценного материала, добываемого не то на Урале, не то на Бахчисараевых островах.

* * *

Что труднее — добыть графит или сломать карандаш? Вот где премудрость экономики!

Каждого безумца, сломавшего карандаш, надо послать пешком добывать графит!

Цыганский мерин

Серега Чепцов — мужик малозначущий: землю имел для голодного хлеба. Сам же постоянно стремился отправиться путешествовать вокруг света, чтобы обнаружить на его краю истинный смысл жизни. В молодых летах Серега жил послушником в Митрофаньевском монастыре; потом, изыскав мочалу в мощах, совершил святотатственный акт — положил мышиный выводок и часы-будильник в раку, когда задремал дежурный монах, и скрылся на Урал к раскольникам.

В восемнадцатом году Серега вернулся домой. Это был уже пожилой мужик, однако, его надо было постоянно удерживать от немедленного начала кругосветного путешествия:

— Обожди, Серега, меня — купим пару коней и тогда тронемся спрохвала…

Когда Серега накопил сорок пудов сухарей, ему стало невтерпеж откладывать, и мы пошли в город посмотреть лошадей. Серега продал хату и имел деньги на лошадь, а я свои истратил на жамки и имел значение советчика и приспешника.

— Почем одр? — спросил я у цыгана, понимая лошадиное дело. Цыган был ряб и конопат, будто его сначала обварили кипятком, а потом обрызгали навозным отстоем.

Цыган был горяч своей натурой и лих на цыганское слово.

— Это ж не одр и не лошадь — это чистый конь! Вот, гляди, грива ложится сама на правый бок, шерсть — как пух на щеке твоей невесты!.. Это же не шерсть, это ковер!.. Ты погляди — глаза блестят, как у дьявола! Это страшный конь…

— Не говори зря, арестант, — окоротил я цыгана, — говори разом: сколько?

— По душе и по коню — семьсот.

— Ага, тебе по душе семьсот, а я тебе полтораста! Получай деньги и давай карточку!

— Да я ж тебе говорю — коню четыре года! Ты ж погляди — машина!.. Гляди сюда, гляди ноги, погляди в зубы… Не копыта, а кочерыжки! Ну, гляди сюда, ты гляди на коня! Ты слухай меня, ты постой, ты слухай, что я тебе говорю! Ты гляди, как бегать, ты слухай, снимай шапку и молись — давай пять!..

А рядом два другие цыгана били по спине и уговаривали моего Серегу:

— Ну, давай петушка! Слухай, я тебя люблю, дай петушка.

И снимали шапчонку с него и крестили его, поворачивая к местному кафедральному собору. Потом опять надевали шапку на разбитую думой и нуждой Серегину голову и расходились, как два свекора.

Потом опять ворочались, колотили руки, плакали и клялись, обнимались, молились, вынимали деньги, это Серега, а цыган уже и сдачу приготовил и опять прятали, снова кляли друг друга и еще пуще ругались.

— Ты ощупай к жеребцу еморой лечить, гнида плешивая! Ты хоть на поводок дай, сука склизкая, морда облупленная!..

— Ай, и жулик, ай, и народ! Что за народ? Да на тебе все — на! Ты готов усего человека слопать, — бормотал добрый Серега и платил деньги за серого сонного мерина.

Я по чести предупреждал Серегу — мерин не гож в дальнюю дорогу, но Серега почел приобрести мерина, в знак решения и неотложной срочности объехать на нем дальние страны.

И мы тронулись на мерине пока что в свою деревню.

Угромоздились мы оба верхом. Но съехав с площади, мерин засопел, устал и прекратил дальнейший шаг.

Тогда я слез, выдернул кол из ближайшего плетня и начал слегка лупить мерина. Мерин двинулся.

Серега обрадовался, я опустил кол и пошел сзади своим шагом. Но мерин сейчас же остановился. Я опять дал ему почуять кол и так шел все время, неотлучно трудясь.

Устав работать, я влез на мерина, а Серега пошел сзади, утруждая мерина колом и добрым словом.

На вторые сутки мы прибыли домой ослабшими. Серега поставил мерина в плетневую огорожу, крытую соломой, и пошел отсыпаться и собираться в дальний путь. Перед этим Серега положил мерину пуда четыре сена и дал резки.

Ночью Серега вышел попоить мерина. Тут ему представилась жуткая картина.

Ночь была лунная, блестела роса, гоготали дураки на улице, а мерин стоял на голом дворе в редком частоколе, как привидение в мире приключений.

Оказывается, мерин, съев резку и сено, закусил соломенной крышей сарая и заел все это плетневой огорожей. Мерин не превозмог только кольев, хотя тоже глодал их, тщетно ища в них своего пропитания.

Когда Серега подошел к мерину, тот дремал и не обрадовался хозяину.

* * *

Утром Серега пришел ко мне:

— Ну, кум, беда — мерин сарай съел. Должно, сильный черт, на таком только и ехать округ света!..

Из генерального сочинения

Демьян Фомич — мастер кожаного ходового устройства

В день Косьмы и Дамиана (теперь Индустриала и Карла) он был именинник, потому

что был Демьян. Демьян Фомич сапожничал — старинное занятие. Дратва — стерва — долго его удручала своим наименованием, пока он не притерпелся; только наващивал дратву. Демьян Фомич — всегда в сердечном остервенении и раздражаясь попусту на ее мертвое тело.

Но делать нечего. Демьян Фомич был чтец и жил по прочтенному в умной книге правилу: «кто начал жить и сказал, не разумея, „а“, тот пусть созиждет свою жизнь так и далее до фиты и ижицы».

И Демьян Фомич стерпивал время и вымалчивал дни, подвигаясь к ижице.

Но пока терпел Демьян Фомич, шея и лицо его покрылись буграми омертвевшей кожи, волосы из рыжекудрых стали белыми, а потом табачного вечного цвета.

Тем временем ижица была истреблена большевиками, и Демьян Фомич не мог добиться у знающих людей, какая буква ее заместила. Последняя буква должна быть такой, какая не пишется и не читается: это глагол — мудрое слово, знак конца разума и угасания чувства сердцебиения.

В старинное время Демьян Фомич читал библию и ужасался: до точности исполнялись означенные события и не было милосердия!

Женат Демьян Фомич был на кухарке Серафиме, худощавой и злостной женщине, двадцать четыре года пилившей душу Демьяна Фомича деревянной пилой, пока в ней не опростоволосилась вся душа и она не увидела, что оба они нагие и муж ее уже не отдышится от сквозного тридцатилетнего труда и не изменит ни с какой пышной женщиной.

* * *

Городок, в котором стояло жилище Демьяна Фомича, занимал местоположение древнего талдомовского татарского становища. Здесь отсыпались татарские всадники от великой степной скачки перед штурмом Троице-Сергиевской лавры.

Оттого на некоторых лицах талдомовских сапожников до сих пор не стерлись древне-азийские черты: у некоторых темен волос, как у индейцев, другие имеют распертые скулья и сжатые глаза, а многие сапожники любят змей, будто они родились в пустыне или на Памире.

Город был ветх, пахнул кожаным хламом, ваксой и мышью, точившей в ночное время кожу по углам.

В городке была распространена простуда: сапожники, раздевшись, выбегали в холодную пору в уборные и остужались.

Мокрые поля вокруг города были изредка возделаны, а чаще имели назначение подошвы неба.

Это мне все рассказал Демьян Фомич — его живые слова.

Демьяновы предки тут четыреста лет наращивали стаж и квалификацию, так что один из них — Никанор Тесьма — уже делал сафьяновые полусапожки Иоанну Грозному. А другой предок Демьяна Фомича, сбежав из солдат на волго-донские степи, впоследствии чинил сапоги Степану Разину и был помилован единственно из-за своего знаменитого мастерства; он дожил жизнь в Москве, перейдя стариком на валенки.

Были у Демьяна Фомича в родне и латошники — люди ущербного мастерства, в которых ремесло пятисотлетнего племени уставало и временно угасало.

В 1812 году, во время нашествия Наполеона и народов Европы, жил дед Демьяна Фомича, — по прозвищу Серега Шов, — великий мастер и изобретатель пеших скороходов, сподвижник Барклая-де-Толли: один отступал, другой шил сапоги впрок, чтобы было в чем наступать в свое время.

Серега Шов говорил будто бы в Москве с Наполеоном:

— Землю обсоюзить восхотели, ваше величество, а она валенок, а не сапог, и вы не сапожник!

Наполеону перевели, и он смеялся:

— Скажите, пока я только снимаю опорки с мира, а когда он будет весь бос, я выучусь быть для него сапожником!

Сергей Шов умер в 1851 году в Марселе от холеры, где он имел мастерскую морской обуви с вывеской:

СЕРЖ ШОВЬЕ

Вдова Сереги, — Аграфена Шовье, — вышла замуж вторично за голландца, штурмана дальнего плавания, и пропала без вести: говорят, будто бы ее с мужем съели африканцы на одном океанском острове после кораблекрушения.

Сын ее — от Сереги — вернулся домой и отцовствовал над Демьяном Фомичом; другой сын Аграфены — от голландца — писал сочинения и умер тому тридцать лет в славе и чести, будто бы в Америке.

Талдомский сапожник везде дело найдет и не изгадит его, а доведет до почитания!

* * *

Демьян Фомич работал, как во сне, думая о третьих лицах и вещах: до того привычно стало обувное дело для него. Он мне открыл свою сокровенную думу:

— Хочу, — говорил, — изменить исторический курс своего рода-племени.

— Демьян Фомич был чтец и умел сказать что надо!

— Какой курс? Зачем?

— Так, — говорил, — уйду с обужи на другое занятие. Все равно вскоре не будет сапожников, — я машину сапожную изобрел для всякого кожаного ходового устройства…

— Покажи-ка ее, Демьян Фомич.

Демьян Фомич показал: десять листов ватманской бумаги, на ней умелые чертежи; все уже пожелтело, давно, наверное, работал над этим Демьян Фомич.

— Вы это сделали?

— Нет, были и помощники, — свояк помогал, он в Коломне техник.

Я разглядывал — как будто грамотно и остро задумано, но я электрик и не вполне еще усвоил обувное мастерство — действительно искусное и трудное дело, хотя и я в детстве шил сапоги с Кузьмой Ипполитычем, другим талдомским сапожником, попаивавшим меня водочкой и неожиданно умершим десять лет назад восьмидесяти лет от рождения.

— Какое же новое дело вы изберете, Демьян Фомич?

— А ты не зря расспрашиваешь? — спросил Демьян Фомич и бросил кожу в таз с водой. — Ну, ладно, по сурьезному поговорим! Уйду будочником на Уральскую железную дорогу, буду жить в степи. Я хочу написать сочинение, самое умное — для правильного вождения жизни человека. И чтобы это сочинение было, как броня человеку, а сейчас он нагой!.. В будке будет тихо, кругом сухие степи, делов особых не будет… А то так и умрешь голышом, а я выдумал все мировождение по направлению к праведному веку. Двадцать лет мучился головой, а теперь покоен!.. И ты ведь ничего не знаешь? Глист тебя сжует в гробу — и все!..

— Это верно, — думал я дома вечером, зачитываясь «Красной Новью», — верно задумал Демьян Фомич: четыреста лет жили предки его — сплошные сапожники; в этом роду скопилось столько мозговой энергии, что она неминуемо должна взорваться в последнем потомке рода — Демьяне Фомиче.

И, действительно, это будет крик мудреца, молчавшего четыреста или пятьсот лет. Его мысль будет необыкновенной и праведной — столько лет скапливался и сгущался опыт и мозг стольких людей!..

* * *

На другой день было воскресенье.

Мастера поздно пили чай и читали газеты.

Я потратил день на раздумье и хождение по местным торфяным болотам.

Скуден север, скудно даже летнее наше небо. В бараках торфяников пела гармония, над Москвой летали аэропланы и стоял газ напряжения ее машин и людей. Тихо росла отрава и заунывно звонила старая церковь из недалекой деревни.

Возвратившись в город, я увидел небольшое гульбище. В средине народа стоял Демьян Фомич. Он был пьян, на нем был старый цилиндр, под мышкой он держал благородную собачку, а другой рукой обнимал за шею малорослого беспризорного.

Демьян Фомич был в Москве и оттуда привез все удовольствия. Народ смеялся.

Из цилиндра вылезали тараканы и ползли по лицу Демьяна Фомича; тараканов, попадавших в рот, Демьян Фомич жевал и, очевидно, глотал — подскакивал кадык.

— А, друг сурьезный!.. читал?.. Торфяников высоким напряжением поубивало… А я сам от собственного напряжения убиваюсь!.. Эх, вша ты, подметка!.. Может, у меня в голове бесконечные пространства жмутся от давки, как угнетенный класс пролетариата!..

Я с детства знал, по отцу, что такое пьяный мастеровой человек — это невыносимо, говорят. Но я люблю пьяных людей, это искреннее племя.

И пошел с Демьяном Фомичом разговор договаривать и чай пить, заодно.

Крюйс

Стоит лето на уездном дворе домовладельца Крюйса. Федор Карлович Крюйс — потомок давнего голландского адмирала Крюйса, служившего у Петра первого по кораблестроительному делу в г. Павловске, что стоит на Дону при впадении в него реки Осереды.

На дворе Крюйса растут лопухи, меж коих в нужные места протоптаны дорожки. С утра до заката стоит на дворе суета насекомых и в почве идет возня червей, залезающих в глубины грунта. Сам Крюйс лег в погребе отдохнуть после обеда. Русский континент пылал и плыл в пьянном и страстном июньском солнце, терпеливо наращивая на себе, макаясь в солнце, зерна, деревья, ветры и тесто незарегистрированной визжащей твари. К полудню особенно разростался гул гадов, и поэтому Крюйс уходил в прохладу погреба, в соседство слепого и мыслящего червя, жизнь которого была очевидна на живом разрезе земли в погребе. Федору Карловичу было теперь 48 лет.

От 20 до 35 лет он был погонщиком лошадей на дилижансе. Лошади не шли и не бежали, а поспешали уездной рысью, и то не все враз; а Федор Карпыч (так его по-русски звали) то разминался рядом с лошадьми, то сидел на крыше дилижанса и от скуки угрожал расправой кнутом пашущим мужикам. Через каждые 20 верст — всех было 80 — Федор Карпыч выдергивал волос из лошадиных хвостов, беря его поближе к луковице, и продавал в курени донских рыбаков.

Так зря прошли 15 лет.

Полевые дороги, скорбь, старушки-богомолки и тихие домовладельцы-старички в дилижансе приучили Федора Карпыча к раздумью. Федор Карпыч не женился, считая, что человек расходуется и стареет не столько от забот и трудов, сколько от жены-женщины, и что бедность и всякое ослушание и преступление по земле течет из семьи. Да и потом — родится сын, а может, он дурак окажется, и наверное будет дурак, и только зря жизнь возмутит.

Жизнь будет держаться на земле, пока она будет считать себя малой вещью. Все иное — неосторожность, дурья сила и грозит гибелью. Следует испивать влагу малыми глотками, — запой, жадность остудит и повредит желудок: разведет в нем глистов, которые тебя источат, а потом сами подохнут в тесноте и прахе гроба от бескормицы и тоски.

Скупо надобно в себе держать телесные силы, живя спрохвала и еле-еле, — как бы нехотя и кого-то одолжая безвозвратно, терпя жизнь лишь из жалости к ней самой несчастной.

Таково было экономическое существо натуры Федора Карповича. И, действительно, он

нажил домик и дворик оттого, что был бобылем. Действительно, Федор Карпович остался как бы средним существом, — не старым, далеким от смерти, хотя и не очень был доволен своим рождением.

Но Федор Карпыч был не прост и не особенно сложен, — он был неведом, как все люди; неведом, т. е. не записан в ведомость, а если и записан, то не весь, — не хватило в ведомости граф.

В дни зимы и в лунные ночи Федор Карпович писал сочинения.

Я был сыном рыбака. Покупал в детстве, по поручению отца, коний волос у Федора Карпыча. Потом стал писателем, потом инженером, потом профработником. Потом я решил лишить себя всех чинов, орденов и бронзовых медалей и уехал на родину, на Дон, на его песчаное прохладное дно, в его тихие затоны и на каменистые перекаты, где в зарю густо идет рыба на нахлыст.

Поселился я, понятно, у Федора Карпыча.

Мы жили, ловили рыбу и мудрили.

Федор Карпыч ночами иногда писал, когда я, по молодости, спал.

И раз, опять в жару, в самую страсть и в стрекозиный зуд, — когда мы отдыхали с Федором Карпычем в погребе, — Федор Карпович почитал мне кое-что из своего фундаментального труда:

* * *

Вот оно, судя по моей небрежной памяти: «Ты жил, жрал, жадствовал и был скудоумен. Взял жену и истек плотию. Рожден был ребенок, светел и наг, как травинка в лихую осень. Ветер трепетал по земле, червь полз в почве, холод скрежетал и день кратчал.

Ребенок швеи рос и исполнялся мразью и тщетой окрестного зверствующего мира.

А ты благосклонен был к нему и стихал душою у глаз его. Злобствующая зверья и охальничья душа утихомиривалась, и окаянство твое гибло.

И вырос и возмужал ребенок. Стал человек, падкий до сладостей и до тесной теплоты чужеродного тела, отвращающий взоры от Великого и Невозможного, взыскуя которых только и подобает истощиться чистой и истинной человечьей душе.

Но ребенок стал мужем, ушел к женщине и излучил в нее всю душевную звездообразующую силу. Стал злобен, мудр мудростью всех жрущих и множащихся, итак погиб навеки для ожидавших его вышних звезд. И звезды стали томиться по другому. Но другой был хуже и еще тоще душою: не родился совсем.

И ты, как звезда, томился о ребенке и ожидал от него чуда и исполнения того, что погибло в тебе в юности от прикосновения к женщине и от всякого умственного расточительства.

Ты стал древним от годов и от засыпающей смертью плоти.

Ты опять один и пуст надеждами, как перед нарождением в мир сей натуральным.

Я слышу — скулит собака, занимаясь расхищением своей души.

Так и вся окрестная жизнь — вор, а не накоп, и зря она занялась на земле, как полуночная заря.

Кто же людям сбережет душевность, плоть и грош?

Кто же заскорлупит теплоту жизни в узкой тесноте, чтобы она стала горячим варом?»

* * *

Федор Карпыч почитал, а я послушал — и мы оба вздохнули от умственного усердия.

— Ну как: приятно обдумано? — спросил Федор Карпыч.

— Знаменито! — выразился я, томясь в нечаянном голоде.

— То-то и оно-то! — отвлеченно сказал Федор Карпович. — Ну пойдем щи есть, а то ослабнем!

Мы вылезли из погреба и двинулись сквозь лопухи и дворовый бурьян, сбивая мошек, бабочек и прочую дрянь с их маршрутов.

Душевная ночь

Сердце — трус, но горе мое храбро.

Скорбь и скука в одиннадцать часов ночи в зимней деревенской России. Горька и жалостна участь человека, обильного душой, в русскую зиму в русской деревне, как участь телеграфного столба в Закаспийской степи. Скудость окрест и малоценные предметы. Вьюга гремит в порожнем небесном пространстве, и в душе наступило смутное время.

Был холод, враг, аж пот на ногах мерз. Кровь в жилах, оголодавших за дальнюю дорогу, сгустела в сбитень и стужа кипела на коже варом.

Посерьезнел крестьянский народ и надолго забился в тихие дымные деревни и там задумался безвестными, сонными думами — про скот, про первоначальные века, про все. Мыслист русский народ, даром что пищу потребляет малопитательную. Волчьи ночи — века, темь и немость хат, лунный неземной огонь на небе, над рекою пурги, душевная доброта человека от понимания мира — все видимое и невидимое, как вода сквозь грунт, стекает в сердце тайным ходом и орошает жизнь.

Едешь неспешно, лошади кормлены на заре, и вся их мочь, давно иссосана ледяными ветрами.

Едешь, а душа томится по благолепию, по лету, по благовеющему климату.

Зима дадена для обновления тела. Ее надо спать в жаркой и тесной норе, рядом с нежной подругой, которая к осени снесет тебе свежего потомка, чтобы век продолжался…

* * *

Не особенно скоро, но все же настало время, когда мы доехали вконец.

Стояли три, либо четыре хаты — хутор. Брехали собаки, пел в неурочное время петух и шевелилась в сараях прочая живность, которой не спится и которая тревожится за живот свой.

Приехал я по малому делу, больше от душевной суеты, чем по насущной надобности.

Тут, на отрубе, жил один человек, малоценный в отношении человеческого сообщества, но в котором мудрость имела свое средостение.

Он и выполз наружу, услыхав брех и петушиное птичье пение.

— Здравствуй, Савватий Саввыч!

— Доброго здоровья! Что вас ночью примело, аль горе какое неутешимое?

— Ты все равно не утешишь — не баба!

— Я не к тому, я про душевность спрашиваю…

Вошли в хату к Савватию Саввычу. В избе — пустошь. Лежит окамелок старого окоченелого хлеба, на лавке дрожит в стуже щенок, больной и жалостный, с душевными глазами.

Кругом — голо, прохладно, бездомовно, не пахнет по-человечьи. Сразу видно — бабы нету. Нет в доме оседлости и постоянного местопребывания.

Печь холодная и спит, должно, на ней один человек, но ему не спится и он думает о светопреставлении, о пустынном мире, о встречном ветре времен, — и сам с собою разговаривает.

За окном снежная топь, в поле не скинешь дороги, далекие города шумят в бессонном труде, мужики, уставшие от всяких делов и баб, спят без памяти, солнце бродит вдалеке от земли по косому зимнему пути, а к человеку не идет сон, и до утра еще далеко.

Мать его умерла давно, некому его вспомнить даже в погожий день.

Есть мысль — жена одиноких. Есть душа — дешевая ветошь.

Мало имущества у человека!

— Давай почавкаем, — сказал Савватий Саввыч, — набьем в пузень дребедень — червей разводить в нутре!

И мы зажевали — не спеша и не вдумываясь во вкус.

— Я все думаю, — проговорил с полным ртом Савватий Саввыч, — от чего нету человеку благорасположения на земле? Живешь — и жмет где-то в нутре, аж сузиком всего сводит. Жизнь не в талию пришлась человеку!..

— Погоди, придется! Отожгем, приколотим, разошьем ушивки и вновь сошьем — и будет всем удобь. Шили нам сюртуки, а мы мужики!.. Вот каково дело! Пока жив, всякое приспособленье для хорошей жизни устроить допустимо. А теперь революция — нам ветер взад?

— Это все допустимо, — проглотив картошку, сказал Савватий Саввыч, — недопустимо, знаешь что? — На небо залезть, да пупок с пуза на лоб перенесть, да еще кочетиное яйцо снесть! Мужик пужался всего — оттого и жизнь была малопитательна. Бей в морду с отжошкой всякую супротивщину — на душе поблажеет и на дворе погожей станет!

Веселый свет загорелся в хате от легкого дыхания мысли, легче всякого высокого газа и душевного духа.

Вот он ветер — настоящая жизнь!

Заскрипела тяжелая снасть силы, злобы и просторного ветра богатой воли!

— К лету уйду отсель, — сказал сам по себе Савватий Саввыч.

— А куда? — спросил я.

— Так, блукать пойду. Человеку надобно продвижение, а не хата и не пшено! Тебе кашки не положить?

— Благодарю. Не уважаю пшено.

— Гляди сам! У соседа баба готовит мне. Куфарь обстоятельный — семь годов у господ служила.

Говорили еще долго о всяких далеких, протяжных для мысли вещах.

Мы съежились, заслушались и поснули, как провалились пропадом, изморившись за день жить.

Поснули, засопели — и сразу завоняло луком.

* * *

Ночь на дворе осиротела, и метель стихла: не для кого.

Тихо стояли в плетневой огороже под соломенной крышей одурелые коровы, и высапывал взад-вперед возгрю годовалый бычок, не догадываясь, как и что.

В мире было рано. Шли только первоначальные века.

На другой день я рано уехал дальше по существенным делам.

История иерея Прокопия Жабрина

Жил он в уездном обыкновенном советском городе, весьма смиренном. Здесь даже революции не было: стали сразу быть совучреждения, для коих мобилизовали по приказу чрез-рев-уштаба местных барышень, от 18 до 30 лет от роду, дав им по аршину ситца и по коробке бычков — для начала. Иерей Прокопий жил не спеша, всегда в одинаковой температуре, твердо, как некий столп и утверждение истины. Ибо истина и есть покой. Покой же наилучше обретается в супружестве, когда сатанинская густая сила, томящая душу демоном сомнения и движения, да исходит во чрево жены:

— Жена! Ты спасаешь мир от сатаны-разрушителя, знойного духа, мужа страсти и всякой свирепости. Да обретется для всякой живой души на земле жена, носительница мира и благоволения! Аминь!

Хорошо, во благомыслии жил иерей Прокопий. И вот единожды, как говорится в суете, рак крякнул: свою могущественную длань иерей Прокопий опустил на главу благоверной.

Была на дворе духота, мухи поедом ели, бога, говорят, нету — так бы и расшиб горшок какой-нибудь. А тут жена Анфиса ходит, сопит, из дому гонит: полы будет мыть, к празднику прибирать.

Прокопий, иерей, утром не наелся: пища пошла на оскудение, а день велик — деться некуда, сила в теле напирает.

И совершил Прокопий злодейство.

Жена Анфиса раз — в чрез-рев-уштаб:

— Мой поп Прокоп дерется и власть Советскую ругает (сука была баба!).

— Как так поп дерется? — спросил комиссар, товарищ Оковаленков. — Арестовать этого неестественного элемента! Дать предписание учеке!

И стал пребывать иерей Прокопий в затворничестве.

— За что, отец, присовокупились к нам? — спросил его купец Гнилосыров. — Вам тут быть немыслимое дело.

Иерей Прокопий прохаркнулся, прочистил свой чугунный бас:

— Го-го-го! Да все бабы, стервы, шут их дери!

И стала с этой поры Анфиса носить Прокопию обеды в учеку, — ходит, плачет.

— Товарищ комиссар, отпусти домой Прокопа Жабрина!

— Обождет, — отвечал товарищ Оковаленков, — элемент весьма контрреволюционный! Пускай поступит на службу Советской власти — смоет свой позор трудовым подвигом.

Обрадовалась Анфиса, а потом и Прокоп. Должность нашли сразу: в канцелярии чрезуфинтройки.

Прослужил иерей Прокопий месяца два-три: делов никаких нету, скука, дожди пошли на улице.

— Хоть бы живность какую увидеть, поговорить бы с кем, — думал Прокоп, — люди кругом все охальники…

Приучился Прокоп курить: чадит весь день. Сидел иерей на входящих и исходящих. Придет бумажка, полная тьмы и скудных слов. Долго мыслит над ней Прокопий, потом запишет и опять задумается.

И было три праздника подряд. Анфиса опять начала грызть попа. Тогда он придумал в единочасье: поймал у себя двух вошек и посадил их в пустую спичечную коробку:

— Живите себе на покое и впотьмах.

На другой день взял зверьков на службу. Раскрыл входящий и пустил их на белый лист пастись.

Сам пописывает, а глазами следит, как вошки бродят в поисках продовольствия, но тщетно.

Жить стало способней, и радостно одолевалось время бытия иерея.

Но судьба стремительна, и еще неодолимы для человека тяжкие стопы ее!

Через полгода скончался иерей Прокопий Жабрин, журналист чрезуфинтройки. Страшна и таинственна была смерть его: от частого курения образовался в горле иерея слой сажи.

И надо же было привезти одному старому знакомому Прокопия, мужичку из дальней деревни, корчажку самогонки, весьма крепкой. Давно не выпивал Прокопий: взял и дернул. Самогон вдруг вспыхнул в нелуженом горле — и загорелась сажа от махорки.

Для иерея наступил час светопреставления, и он скончался, занявшись огнем внутри.

Не от лютых скорбей, не плавающим и путешествующим и не от прочего, а от деревенского жидкого топлива погиб Прокопий Жабрин.

* * *

Когда донесли об этом его высшему начальству — товарищу Оковаленкову — тот остановился подписывать бумаги и сказал в размышлении:

— Жалостно как-то, черт его дери! Евтюшкин, выпиши его бабе пуд проса!

Луговые мастера

Небольшая у нас река, а для лугов ядовитая. И название у ней малое — Лесная Скважинка. Скважинкой она прозвана за то, что омута в ней большие: старики сказывали, что меряли рыбаки глубину деревом — так дерево ушло под воду, а дна не коснулось, а в дереве том высота большая была — саженей пять.

Народ у нас до сей поры рослый. Лугов — обилие, скота бывало много и харчи мясные — каждое воскресенье.

Только теперь пошло иное. На лугах сладкие травы пропадать начали, а полезла разная непитательная кислота, которая впору одним волам.

Лесная Скважинка каждую весну долго воду на пойме держит — в иной год только к июню обсыхают луга. Да и в себя речка наша воду начала плохо принимать: хода у ней засорены. Пройдет ливень — и долго мокреют луга, а бывало — враз обсохнут. А где впадины на лугах — там теперь вечные болота стоят. От них зараза и растет по всей долине, и вся трава перерождается.

Село наше по-казенному называется Красное Гвардейское, а по-старинному Гожево.

* * *

Жил у нас один мужик в прозвище Жмых, а по документу Отжошкин.

В старые годы он сильно запивал.

Бывало — купит четверть казенной, наденет полушубок, тулуп, шапку, валенки и идет в сарай. А время стоит летнее.

— Куда ты, Жмых? — спросит сосед.

— На Москву подаюсь, — скажет Жмых в полном разуме.

В сарае он залезал в телегу, выпивал стакан водки и тогда думал, что поехал на Москву. Что он едет, а не сидит в сарае на телеге — Жмых думал твердо. И даже разговаривал с встречными мужиками:

— Ну што, Степан? Живешь еще? Жена, сваха моя, цела?

А тот, встречный Степан, будто бы отвечает Жмыху:

— Цела, Жмых! Двойню родила! Отбою нету от ребят!

— Ну ничего, Степан, рожай, старайся, воздуху на всех хватит, — отвечал Жмых и как бы ехал дальше.

Повстречав еще кой-кого, Жмых выпивал снова стакан, а потом засыпал. Просыпался он недалеко от Москвы.

Тут он встречал, будто бы, старинного знакомого, к тому же еврея:

— Ну как, Яков Якович! Все тряпки скупаешь, дерьмом кормишься?

— По малости, господин! Жмых, по малости! Что-то давно не видно вас, соскучились!

— Ага, ты соскучился! Ну, давай выпьем!

И так, Жмых, — встречая, беседуя и выпивая, — доезжал до Москвы, не выходя из сарая. Из Москвы он сейчас же возвращался обратно — дела ему там не было — и снова дорогу ему переступали всякие знакомые, которых он угощал.

Когда в четверти оставалось на донышке Жмых допивал молча один и говорил:

— Приехали! Слава тебе, господи, уцелел! Мавра, — кричал он жене, — встречай гостя, — и вылезал из телеги, в которой сидел уже четвертый день. После этого Жмых не пил с полгода, потом снова ехал в Москву.

Вот какой у нас Жмых: мужик, что надо, но мощного разума человек!

* * *

Позже, в революцию, он совсем остепенился:

— Сурьезное, — говорит, — время настало! Ходил на фронте красноармейцем, Ленина видал и всякие другие чудеса, только не все подробно рассказывал:

— Не твое дело, — говорит.

Воротился Жмых чинным мужиком.

— Будя, — говорит. — Пора деревню истребить!

— Как так, за што такое? — спрашивают его мужики. — Аль новое распоряжение такое вышло?

— Оно самотеком понятно, — говорил Жмых. — Нагота чертова! Беднота ползучая! Што у нас есть? — Солома, плетень да навоз! А сказано, что бедность — болезнь и непорядок, а не норма!..

— Ну и што ж? — спрашивали мужики — А как же иначе? Дюже ты умен стал!

Но Жмых имел голову и стал делать в своей избе особую машину, мешая бабьему хозяйству. Машина та должна работать песком — кружиться без останову и без добавки песка, которого требовалось одно ведро. Делал он ее с полгода, а может и больше.

— Ну, как, Жмых? — спрашивали мужики в окно. — Закрутилась машина? Покажь тогда!

— Уйди, бродяга! — отвечал истомленный Жмых. — Это тебе не пахота — тут техническое дело!

Наконец, Жмых сдался.

— Што ж, аль песок слаб? — спрашивали соседи.

— Нет — в песке большая сила, — говорил Жмых, — только ума во мне не хватает: учен дешево и рожден не по медицине!

— Вот оно што! — говорили соседи и уважительно глядели на Жмыха.

— А вы думали што? — уставлялся на них Жмых. — Эх вы, мелкие собственники!

* * *

Тогда Жмых взялся за мочливые луга.

И действительно — пора. Избыток народа из нашего села каждый год уходил на шахты, а скот уменьшался, потому что кормов не хватало. Где было сладкое разнотравие — одна жесткая осока пошла. Болото загоняло наше Гожево в гроб.

То и взяло Жмыха за сердце.

Поехал он в город, привез оттуда устав мелиоративного товарищества и сказал обществу, что нужно канавы по лугу копать, а саму Лесную Скважинку чистить сквозь.

Мужики поломались, но потом учредили из самих себя мелиоративное товарищество. Назвали товарищество «Альфа и Омега», как указано было в примере при уставе.

Но никто не знал, что такое Альфа и Омега!

— И так тяжко придется — дернину рыть и по пузо копаться, — говорили мужики, — а тут Альфия. А может она слово какое законное, а мы вникнуть не можем и зря отвечать придется!

Поехал опять Жмых — слова те узнавать. Узнал: «Начало и Конец» — оказались.

— А чему начало и чему конец — неизвестно? — сказали гожевцы, но устав подписали и начали рыть землю: как раз работа в поле перемежилась.

Тяжела оказалась земля на лугах: как земля та сделалась, так и стояла непаханая.

Жмых командовал, но и сам копался в реке, таская карчу и разное ветхое дерево.

Приезжал раз техник, мерял болота и дал Жмыху план.

Два лета бились гожевцы над болотами и над Лесной Скважинкой. Пятьсот десятин покрыли канавками, да речку прочистили на десять верст.

И, правда, что и техник говорил, луга осохли.

Там, где вплавь на ладье едва перебирались, на телегах поехали — и грунт, ничего себе, держал.

На третий год все луга вспахали. Лошадей измаяли вконец: дернина тугая, вся корневищами трав сплелась, в четыре лошади однолемешный плужок едва волокли.

На четвертый год весь укос с болот собрали и кислых трав стало меньше.

Жмых торопил всю деревню — и ни капли не старел ни от труда, ни от времени. Что значит польза и интерес для человека!

* * *

На пятый год травой-тимофеевкой засеяли всю долину, чтобы кислоту всю в почве истребить.

— Мудер мужик! — говорили гожевцы на Жмыха. — Всю Гожевку на корм теперь поставил!

— Знамо, не холуй! — благородно отзывался Жмых. Продали гожевцы тимофеевку — двести рублей десятина дала.

— Вот это да! — говорили мужики. — Вот это не кроха, а пища!

— Скоты вы! — говорил Жмых. — То ли нам надо? То ли Советская власть желает? Надобно, чтоб роскошная пища в каждой кишке прела!..

— А как же то станется, Жмых? И так добро из земли прет! — отвечали посытевшие от болотного добра гожевцы.

— В недра надобно углубиться! — отвечал Жмых. — Там добро погуще! Может, под нами железо есть, аль еще какой минерал! Будя землю корябать — века зря проходят!.. Пора промысел попрочней затевать!

— В нутро, это действительно, — ответил Ёрмил, один такой мужик. — Снаружи завсегда одна шелуха!

— Ну ясно: пух и прыщи! — подтвердил Жмых. — А прочное довольствие в нутре находится!

— Да будя, едрена мать, языки чесать! — с резоном выразился Шугаев, ходивший в председателях. — Нам теперча сепараторы надо завести, а то продукт сбывать нельзя, а тут сухостойным делом займаются: как бы поскорей в нутро забраться! Вот ляжешь в могилу — тогда там и очутишься!..

* * *

Лесная Скважинка сипела в русле, и пахучие пространства говорили о прелести сущей жизни.

Бучило

I. О ранней поре и возмужалости

Жил некоим образом человек — Евдок, Евдоким, фамилию имел Абабуренко, а по-уличному Баклажанов.

Учил его в училище поп креститься: на лоб, на грудь, на правое плечо, на левое — не выучил. Евдок тянул за ним по-своему: а лоб, а печенки…

— Как называется пресвятая дева Мария?

— Огородница.

— Богородица, чучел! Нету в тебе уму и духу. Вырастешь, будешь музавером, абдул-гамидом.

— А ну, считай с начала, по порядку, — говорила учительница Евдокиму, — клади по пальцам.

И Евдоким считал, не спеша и в размышлении:

— Однова, в другорядь, середа, четверхъ… ешшо однова и три кряду…

— Садись, дурь, — говорила учительница, — слушай, как другие будут отвечать.

А Евдок ждет не дождется, когда пустят домой. Он горевал по своей маме и боялся, как бы без него не случился дома пожар — не выскочат: жара, ветер, сушь. Уж гудок прогудел — двенадцать часов. Отец домой пришел обедать, на огороде у Степанихи трава большая растет и лопухи. Ребята ловят птиц, уж скоро, должно быть, будет вечер и комары.

В училище стояло ведро — пить. Каждый день учат закону божьему, потом приходит Аполлинария Николаевна, учительница, и пишет палочки на доске, а Евдок за ней карябает грифелем у себя хворостины. Потом спрашивает и велит читать вслух.

Евдок глядит в букварь и читает:

— Мо, ммо…

На переменах приходит Митрич — сторож, чтобы ребята не выбили окон и не бесчинствовали.

Как чуть кто заплачет от драки или тоски по матери, Митрич орет:

— Ипять! Займаться…

И вот прошло много дней. Издох в училище на дворе Волчок. Отец Евдокима купил на толпе другой самовар. Родился у Евдока Саня — маленький брат. Покатал его Евдок на тележке одно лето — на Петровки он умер от живота.

Тоньше и шибче билось сердце у Евдока, и он уходил летними вечерами в поле и тосковал — о далеком лесе, об одной звезде, о дальних деревенских пустых дорогах. Как подрос Евдок, так вскоре попал в солдаты. Ходит по плацу, орудует винтовкой — лежит недвижимо, в душе пуд. Раз случилось с ним странное дело: семь дней на двор не ходил. Ляжет спать: бурчит в животе, и вода без толку переливается. Кругом нары, храп, пот, вонь, а внутри Евдокима прохладные вечерние деревенские дороги и ждущая ужинать мать.

Дать бы по скуле изобретателю сердца!

Осмелился Евдок и пошёл к доктору. Так, мол, и так-то.

— Што-о?.. — провыл доктор. Евдок опять:

— Осьмой день не нуждаюсь.

Уходя, Евдок взялся нечаянно на докторовском столе за карандаш.

— Возьмите себе его на память, Абабуренко, — сказал доктор.

Евдок погладил черную камилавку доктора.

— Пожалуйста, Абабуренко, возьмите и ее. Натевам и ручку. Она вам нравится?

Оказывается, доктор был мнительный человек: дверную ручку брал не иначе, как в перчатке. Кто у него в кабинете возьмет что в руки или пощупает, то ему доктор сейчас же и подарит на память: лампу, лист бумаги, клок ветоши, либо какой инструмент.

Странный, но сурьезный был человек.

Дня через два у Евдока рассосались кишки, и он оправился.

Так шла и шла жизнь Евдокима, рекой одинаковых дней, пока он не перекувырнулся и не изобрел настоящего бессмертного человека, который остался на земле навсегда и уже не расставался со своей матерью и породнил звезду с соломой, плетнем и ночной порожней дорогой меж тихих деревень.

Об этом еще будет длинная повесть, это будет скоро у всех людей на глазах.

II. Странствие

Была революция, было передвижение людей по земле, была веселая работа. Был комиссаром Абабуренко, кормил отряды в голодных селах, думал, воевал и странствовал. Как великое странствие и осуществление сокровенной души в мире осталась у него революция. Реквизировал животность и мертвый продукт и писал бумаги:

«Предлагаю уплатить моему отряду жалованье за четыре месяца вперед.

Комиссар-командир, член партии большевиков Евдоким Абабуренко. Угрожаю захватом города и привлечением его жителей, обывателей и прочих к революционной ответственности по революционной совести. Комиссар Абабуренко. № 7143268».

Прогремело имя Абабуренко в кулацких степях — и стихло. Все прошло, как потопло в бучиле татарской осохшей реки.

Странником остался Евдоким и стал портным. Живет в городке одном и имеет душевного друга, Елпидифора Мамашина, который был бас и дурак.

Вошли мы раз с Елпидифором в хату к Евдокиму (дело до него было — не особо существенное, впрочем) — тишина, темнота и жуть.

— Где тут портной живет, сделать из штанов галифе?

— Стой, — закричал Елпидифор, — я сообразил: живые люди воняют.

Понюхали: дух стоял чистый, и вдруг, действительно, понесло махоркой и жженой бородой.

— Вот он — портной, вылазь.

Заскрипела спальная снасть, и невидимое тощее тело сморкнулось и забурчало. Для света и вежливости я спокойно закурил.

— Здорово, Евдоким. Раскачивайся!

— Здравия желаю, граждане, — как кувалдой гвазданул Евдоким, портной. В чистом воздухе, тишине и тьме хранился такой голос! Как огурец зимой в кадке.

Зажгли коптильный светильник. Скамейка, стол, вода в ведре и спящий глубоко и непробудно щегол под потолком в тепле. Евдоким надел для сурьезности и пропорциональности своей профессии очки и привязал их веревочкой к ушам — приспособление самодельное. Евдоким теперь постарел, стал угрюм, покоен, похожий на деда, на сон и хлеб — коричневый, ласковый, тепловатый, как хлебное мякушко. Из сапожной кожи был человек, если царапнуть ему щеку — рубец останется. Но в желтых глазах его было ехидство и суета — Евдоким был сатана-мужик, разбойник, певец и ходил женишком. Засиделым девкам в воскресенье лимонад покупал. Не женился, будто бы потому, что подходящей ласковой бабы не подыскал, и впоследствии купил щегла.

— Так, говоришь, тебе две галифы изделать?

— Да, желательно бы.

— Так-так… Одна галихва выйдет, а на другую ма-терьялу подкупай, — задумчиво сказал Евдоким и поглядел через очки.

— А стоимость какову скажете?

— Да что ж с вас — один алимон, чаю попить.

— Прекрасно, прекрасно, — сказал Елпидифор (отчасти бывший интеллигентом). — До свидания!

— Прощевайте. Посветить вам, может?

— Не надобно, не утруждайтесь, мы так.

И мы полезли к старинному монастырю на гору. Чудесно тут держались дома — на сваях и каменьях. Из города лилась сюда нечисть, и если наверху кто оправлялся — в окно Евдокиму брызги летели. Непрочное и пагубное стояло тут жилье, опасное местопребывание. Ни подойти, ни подъехать. Весной и в дожди Евдоким и его соседи становились туземцами и о них писали в газетах, но они их не читали. В старое время, бывало, полицейские гнали отсюда все народонаселение, как подходила весна. Но никто не уходил — лезли на крышу, тащили туда детишек, поросят, петуха, самовар — и сидели. А когда ночью поднималась вода и уплывали невозвратимо табуретки, зах-лебывался телок, то и на крыше начинали орать жители.

А с бугра утром махал городовой:

— Я ж тебе говорил, упреждал, — чуни пожалел — постись теперь, угодник чортов.

А на третий день, чуть просохло — и городовой жителю в бок.

Бывали дела.

На другой же день Елпидифор купил свои штаны на базаре — клеймо на них было. Он к Евдоку — хотел ему чхнуть разок, а Евдок уж в деревню ушел. Тем дело и кончилось.

Ехал Евдок в деревню и похохатывал: дела твои, господи.

Приехал в деревню, продал хату своей бабки и купил лошадь. Поехал на Дон купать ее и утопил.

— Эх ты, животное существо, — сказал Евдок и пошел куда ему надобно было.

Пожив в деревне неделю-другую, съел все и пошел побираться. Ходил по всей округе и тосковал. Начиналась осень, ветер выл в проволоках, обдутые стояли древние курганы и шел с мешочком картошек Евдок. Стар стал, некому любить и жалеть. Кажется, чем-то легким придавлено горе к земле, и когда-нибудь все заплачут и прижмутся друг к другу. Это будет, когда наступит потоп, засуха, или лютая хворь, или из сибирской тайги тучею выйдет восставший зверь. Одно горе делает сердце человеку.

Стал странником, красноармейцем и нищим Евдок и многое понял и полюбил грустным чувством.

В глухой деревне Волошине, в овраге, приютила Евдока одна старушка:

— Живи, старичок, у нас картохи есть, теперь ходить не по нашей одеже, не объешь небось, поставь палочку в уголок.

Пожил Евдок у старушки до весны. Стонали оба всю зиму по нóчам от голода, холода и старого, запекшегося горя. Занудилась душа у. Евдока. Выглянет в окно — снег, бучило, кладбище на бугре, кончается тихий день. Куда тут пойдешь, когда кругом бесконечность.

Прогремела весенняя вода по оврагу, подсохли дороги, вылезли воробьи на деревенскую улицу. Стал собираться Евдок.

— Ничего тебе не надобно? — спросила старушка.

— Ничего, — сказал Евдок.

— Ну, иди с богом.

— Прощай, Лукерья. И Евдок тронулся.

Ветер был тихий и тонкий, как нежная сердечная музыка. На плешивом кургане, обмытом водами и воздухом, Евдок вздохнул, поглядел на дальнюю кайму лесов, на все живое, грустное и далекое, потом спустился и попил водички из потока.

Дни опять начались сначала.

III. Смертоубийство

Абабуренко Евдоким стал по отчеству именоваться Соломоновичем. Соломоновичем он стал теперь не потому, что роду был иудейского, а потому, что считался нищим, не помнящим родства, сиротой и безотцовщиной. Кроме всего прочего, он одно лето, под самую революцию, местонаходился в услужении у еврея, скупщика костей-тряпок, Соломона Луперденя.

Однако дело это прошлое. Соломона теперь нет — помер, должно быть. Девятнадцать человек детей его рассеялись по поверхности земли неприметным образом.

Ханночка — супруга Соломона, красивая милая женщина, умерла с голоду два года назад, когда город их заняли казаки. А кто говорил, что ей забили кол в матку два офицера-охальника, и оттого, будто бы, она скончалась.

Теперь это дело прошлое. Лучше давайте убережем живых, а о мертвых будем плакать в одиночку по ночам.

Над складом Соломона давно уже висела красная вывеска.

Р.С.Ф.С.Р.
БАЗИСНЫЕ СКЛАДЫ КОСТЕОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
И ВАТНО-БУМАЖНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ГУБЕРНСКОГО МАСШТАБА
Изобразил живописец Пупков.

Соломон же орудовал без вывески безо всякой — и так знали. И так жилось терпимо — туго от суеты и работы в конторе и сладко и прохладно дома, в небольших осьми комнатах, пропахших женой плодоносной.

Давно это было — до революции. Теперь уж и Абабуренко старик. Но не только старик, а также оратор, гармонист, охотник до зверей, мудрец, измышляющий благо роду человеческому, и в общей суммарное, как говорил сам Евдоким Абабуренко, из него получался вроде как большевик, член Российской Коммунистической Партии, в скобках — большевиков. Любил определять так свою личность Абабуренко — полностью, не спеша и вразумительно для всех малосведущих. Внушительной личностью был Абабуренко, веский человек.

Жизнь прошла — как ветер прошумел: и холодно, и вьюжно было, и тепло, и ласково, и благосклонно — всего достаточно бывало. Замечательно хорошо. В рассудке неслись высочайшими, почти незримыми облаками ласковые лица, милые дарящие руки Ханны Яковны, ясные, любящие глаза Дарьюшки — жены ненареченной, ибо не пришлось войти в брак Евдокиму Соломоновичу — брехать здоров был.

Рассудительно оглядывал Евдоким Соломонович жизнь со всех четырех сторон и всюду усматривал одну благовидность. Все неблаговидное сокрушается рукой живого человека.

Евдоким Соломонович сам поджигал усадебную постройку у князя Барятинского и жалел, что упустил самого старика — кишки бы выпростал наружу, до того лют был, язва, до мужиков. Жил, как хворь, на отощалых мужицких телесах. Теперь заграницу взять бы в колья. Вышла бы потеха и потешение. Слыхал кое-что о загранице Евдоким Соломонович, даром что грамоте недоучился, когда мальчишкой был.

Полюбил почему-то на старости лет Евдоким Соломонович сахарин. Вошел во вкус.

Теперь посиживает на огороде караульщиком — скукота душевная. Это только дереву или какому другому растению подобает всю жизнь находиться на едином месте и не скучать. Человек же — существо двигающееся и даже плавающее, поэтому ему на одном месте скучно, грусть берет и жутко.

Нечего делать — варит целый день картошку Евдоким Соломонович, посыпает ее сахарином, ест без особой охоты. Затем, полежав на брюхе, опять подвешивает котелок — и так, в неугомонной еде и рассуждении, проходят летние дни и звездоносные ночи с мертвым месяцем.

Страдал Евдоким Соломонович водобоязнью (и еще изжогой) и потому не купался, хотя река была в версте. Вшей расплодил, по причине нечистоплотности, в большом количестве, и привык к ним так, что особой тревоги от них не ощущал.

Теперь дело к осени. Мошкара убыла. Повылезли волки — старые и молодняк. Любил Евдоким Соломонович по-волчьи выть. Есть играют на мандолине, есть на жалейке, а он искусно весьма завывал, так что волки приходили к нему и лезли на землянку: страхота, шутти-што!

Уйдут волки — скука, и Евдоким Соломонович повоет опять. Так ночь, — в страхе и вое, в человечьем и волчьем, — проходила короче.

А ночи все длиннее и холоднее. По утрам прозрачен и звонок воздух. Поздно дымятся избы — некуда спешить завтракать, мертвые лежат поля. Незачем вставать рано — кончились все работы, одну картошку копают.

И однажды, не бугор сверзся в реку, умер Евдоким Соломонович.

Лег спать, было еще не поздно. Ночью встал оправиться, вылез из землянки — месяц стоит над белым осиянным пустым полем, задернутым ледяною росою. Глухо было и безлюдно, человек не помнит про человека. Далеко колотушечник, старик, спрохвала постукивает и лес на верхах бружжит.

Сел к чему-то Евдоким Соломонович на землю и чует, что голова его куда-то закатывается, и мочи никакой в теле нету, и душа больше не тревожит.

Вскочил Евдоким, хотел заплакать и что-нибудь сказать, но не чуя грунта, ударился оземь так, что в животе ни к чему забурчало.

Месяц потух, на его удивление, на его глазах. Звезды пронеслись шумной рекой, и земля продавилась под ним вниз, как дно в бучиле татарской засохшей реки; и колотушечник, старик, сразу смолк на деревне, как будто и не постукивал либо сходу заснул.

Иван Жох

[текст отсутствует]

Песчаная учительница

1

Двадцатилетняя Мария Нарышкина родом из глухого, забросанного песками городка Астраханской губернии. Это был молодой здоровый человек, похожий на юношу, с сильными мускулами и твердыми ногами.

Всем этим добром Мария Никифоровна была обязана не только родителям, но и тому, что ни война, ни революция ее почти не коснулись. Ее глухая пустынная родина осталась в стороне от маршевых дорог красных и белых армий, а сознание расцвело в эпоху, когда социализм уже затвердел.

Отец-учитель не разъяснял девочке событий, жалея ее детство, боясь нанести глубокие незаживающие рубцы ее некрепкому растущему сердцу.

Мария видела волнующиеся от легчайшего ветра песчаные степи прикаспийского края, караваны верблюдов, уходящих в Персию, загорелых купцов, охрипших от песчаной пудры, и дома в восторженном исступлении читала географические книжки отца. Пустыня была ее родиной, а география — поэзией.

Шестнадцати лет отец свез ее в Астрахань на педагогические курсы, где знали и ценили отца.

И Мария Никифоровна стала курсисткой.

Прошло четыре года — самых неописуемых в жизни человека, когда лопаются почки в молодой груди и распускается женственность, сознание и рождается идея жизни. Странно, что никто никогда не помогает в этом возрасте молодому человеку одолеть мучающие его тревоги; никто не поддержит тонкого ствола, который треплет ветер сомнений и трясет землетрясение роста. Когда-нибудь молодость не будет беззащитной.

Была, конечно, у Марии и любовь, и жажда самоубийства, — эта горькая влага орошает всякую растущую жизнь.

Но все минуло. Настал конец ученья. Собрали девушек в зал, вышел завгубоно и разъяснил нетерпеливым существам великое значение их будущей терпеливой деятельности. Девушки слушали и улыбались, неясно сознавая речь. В их годы человек шумит внутри и внешний мир сильно искажается, потому что на него глядят блестящими глазами.

Марию Никифоровну назначили учительницей в дальний район — село Хошутово, на границе с мертвой среднеазиатской пустыней.

2

Тоскливое, медленное чувство охватило путешественницу — Марию Никифоровну, когда она очутилась среди безлюдных песков на пути в Хошутово.

В тихий июльский полдень открылся перед нею пустынный ландшафт.

Солнце исходило зноем с высоты жуткого неба, и раскаленные барханы издали казались пылающими кострами, среди которых саваном белела корка солонца. А во время

внезапной пустынной бури солнце меркло от густой желтоватой лёссовой пыли и ветер с шипением гнал потоки стонущего песка. Чем сильнее становится ветер, тем гуще дымятся верхушки барханов, воздух наполняется песком и становится непрозрачным.

Среди дня, при безоблачном небе, нельзя определить положение солнца, а яркий день кажется мрачной лунной ночью.

Первый раз видела Мария Никифоровна настоящую бурю в глубине пустыни.

К вечеру буря кончилась. Пустыня приняла прежний вид: безбрежное море дымящихся на верхушках барханов, сухое томящее пространство, за которым чудилась влажная, молодая, неутомимая земля, наполненная звоном жизни.

В Хошутово Нарышкина приехала на третий день к вечеру.

Она увидела селение в несколько десятков дворов, каменную земскую школу и редкий кустарник — шелюгу у глубоких колодцев. Колодцы на ее родине были самыми драгоценными сооружениями, из них сочилась жизнь в пустыне, и на устройство их требовалось много труда и ума.

Хошутово было почти совсем занесено песком. На улицах лежали целые сугробы мельчайшего беловатого песка, надутого с плоскогорий Памира. Песок подходил к подоконникам домов, лежал буграми на дворах и точил дыхание людей. Всюду стояли лопаты, и каждый день крестьяне работали, очищая усадьбы от песчаных заносов.

Мария Никифоровна увидела тяжкий и почти ненужный труд, — потому что расчищенные места снова заваливались песком, — молчаливую бедность и смиренное отчаяние. Усталый голодный крестьянин много раз лютовал, дико работал, но силы пустыни его сломили, и он пал духом, ожидая либо чьей-то чудесной помощи, либо переселения на мокрые северные земли.

Мария Никифоровна поселилась в комнате при школе. Сторож-старик, очумевший от молчания и одиночества, обрадовался ей, как вернувшейся дочке, и хлопотал, не жалея здоровья, над устройством ее жилья.

3

Оборудовав кое-как школу, выписав самое необходимое из округа, Мария Никифоровна через два месяца начала ученье.

Ребята ходили неисправно. Придут то пять человек, то все двадцать.

Наступила ранняя зима, такая же злобная в этой пустыне, как лето. Застонали страшные снежные бураны, перемешанные с колким, жалящим песком, захлопали ставни в селе, и люди окончательно замолчали. Крестьяне заскорбели от нищеты.

Ребятам не во что было ни одеться, ни обуться. Часто школа совсем пустовала. Хлеб в селе подходил к концу, и дети на глазах Марии Никифоровны худели и теряли интерес к сказкам.

К Новому году из двадцати учеников двое умерли, и их закопали в песчаные зыбкие могилы.

Крепкая, веселая, мужественная натура Нарышкиной начала теряться и потухать.

Долгие вечера, целые эпохи пустых дней сидела Мария Никифоровна и думала, что ей делать в этом селе, обреченном на вымирание. Было ясно: нельзя учить голодных и больных детей.

Крестьяне на школу глядели равнодушно, она им была не нужна в их положении. Крестьяне пойдут куда угодно за тем, кто им поможет одолеть пески, а школа стояла в стороне от этого местного крестьянского дела.

И Мария Никифоровна догадалась: в школе надо сделать главным предметом обучение борьбе с песками, обучение искусству превращать пустыню в живую землю.

Тогда она созвала крестьян в школу и рассказала им про свое намерение. Крестьяне ей не поверили, но сказали, что дело это славное.

Мария Никифоровна написала большое заявление в окружной отдел народного

образования, собрала подписи крестьян и поехала в округ.

В округе к ней отнеслись сочувственно, но кое с чем не согласились. Особого преподавателя по песчаной науке ей не дали, а дали книги и посоветовали самой преподавать песчаное дело.

А за помощью следует обращаться к участковому агроному.

Мария Никифоровна рассмеялась:

— Агроном жил где-то за полтораста верст и никогда не бывал в Хошутове.

Ей улыбнулись и пожали руку в знак конца разговора и прощания.

4

Прошло два года. С большим трудом, к концу первого лета, удалось Марии Никифоровне убедить крестьян устраивать каждый год добровольные общественные работы — месяц весной и месяц осенью.

И уже через год Хошутова было не узнать. Шелюговые посадки защитными полосами зеленели вокруг орошаемых огородов, длинными лентами окружили Хошутово со стороны ветров пустыни и зауютили неприветливые усадьбы.

Около школы Мария Никифоровна задумала устроить сосновый питомник, чтобы перейти уже к решительной борьбе с пустыней.

У нее было много друзей в селе, особенно двое — Никита Гавкин и Ермолай Кобозев, — настоящие пророки новой веры в пустыне.

Мария Никифоровна вычитала, что посевы, заключенные меж полосами сосновых насаждений, дают удвоенные и утроенные урожаи, потому что дерево бережет снежную влагу и хранит растение от истощения горячим ветром. Даже шелюговые посадки увеличили намного урожай трав, а сосна — дерево попрочней.

Хошутово извека страдало от недостатка топлива. Топили почти одними смрадными кизяками и коровьими лепешками.

Теперь шелюга дала жителям топливо. Крестьяне не имели никакого побочного заработка и страдали от вечного безденежья.

Та же шелюга дала жителям прут, из которого они научились делать корзины, ящички, а особо искусные — даже стулья, столы и прочую мебель. Это дало деревне в первую зиму две тысячи рублей приработка.

Поселенцы в Хошутове стали жить спокойнее и сытее, а пустыня помалости зеленела и становилась приветливей.

Школа Марии Никифоровны всегда была полна не только детьми, но и взрослыми, которые слушали чтение учительницы про мудрость жить в песчаной степи.

Мария Никифоровна пополнела, несмотря на заботы, и еще больше заневестилась лицом.

5

На третий год жизни Марии Никифоровны в Хошутове, когда стоял август, когда вся степь выгорела и зеленели только сосновые и шелюговые посадки, случилась беда.

В Хошутове старики знали, что в этом году должны близ села пройти кочевники со своими стадами: через каждые пятнадцать лет они проходили здесь по своему кочевому кольцу в пустыне. Эти пятнадцать лет хошутовская степь паровала, и вот кочевники завершили свой круг и должны явиться здесь снова, чтобы подобрать то, что отдохнувшая степь вымогла из себя.

Но кочевники почему-то запоздали: они должны быть поближе к весне, когда еще была кое-какая растительность.

— Все равно придут, — говорили старики. — Беда будет.

Мария Никифоровна не все понимала и ждала. Степь давно умерла — птицы улетели,

черепахи спрятались в норы, мелкие животные ушли на север, к естественным водоемам. 25 августа в Хошутово прибежал колодезник с дальней шелюговой посадки и начал обегать хаты, постукивая в ставни:

— Кочуй прискакали!..

Безветренная в этот час степь дымилась на горизонте: то скакали тысячи коней кочевников и топтались их стада.

Через трое суток ничего не осталось ни от шелюги, ни от сосны — все обглодали, вытоптали и истребили кони и стада кочевников. Вода пропала: кочевники ночью пригоняли животных к колодцам села и выбирали воду начисто.

Хошутово замерло, поселенцы лепились друг к другу и молчали.

Мария Никифоровна заметалась от этой первой, настоящей в ее жизни печали и с молодой злобой пошла к вождю кочевников.

Вождь выслушал ее молча и вежливо, потом сказал:

— Травы мало, людей и скота много: нечего делать, барышня. Если в Хошутове будет больше людей, чем кочевников, они нас прогонят в степь на смерть, и это будет так же справедливо, как сейчас. Мы не злы, и вы не злы, но мало травы. Кто-нибудь умирает и ругается.

— Все равно вы негодяй! — сказала Нарышкина. — Мы работали три года, а вы стравили посадки в трое суток… Я буду жаловаться на вас советской власти, и вас будут судить…

— Степь наша, барышня. Зачем пришли русские? Кто голоден и ест траву родины, тот не преступник.

Мария Никифоровна втайне подумала, что вождь умен, и в ту же ночь уехала в округ с подробным докладом.

В округе ее выслушал завокроно и ответил:

— Знаете что, Мария Никифоровна, пожалуй, теперь в Хошутове обойдутся и без вас.

— Это как же? — изумилась Мария Никифоровна и нечаянно подумала об умном вожде кочевников, не сравнимом с этим начальником.

— А так: население уже обучилось бороться с песками и, когда уйдут кочевники, начнет шелюгу сажать снова. А вы не согласились бы перевестись в Сафуту?

— Что это за Сафута? — спросила Мария Никифоровна.

— Сафута — тоже село, — ответил завокроно, — только там селятся не русские переселенцы, а кочевники, переходящие на оседлость. С каждым годом их становится все больше. В Сафуте пески были задернелые и не действовали, а мы боимся вот чего — пески растопчутся, двинутся на Сафуту, население обеднеет и снова станет кочевать…

— А при чем тут я? — спросила Нарышкина. — Что я вам, укротительница кочевников, что ли?

— Послушайте меня, Мария Никифоровна, — сказал заведующий и встал перед ней. — Если бы вы, Мария Никифоровна, поехали в Сафуту и обучили бы осевших там кочевников культуре песков, тогда Сафута привлекла бы к себе и остальных кочевников, а те, кто уже поселился там, не разбежались бы. Вы понимаете меня теперь, Мария Никифоровна?.. Посадки же русских поселенцев истреблялись бы все реже и реже… Кстати, мы давно не можем найти кандидатку в Сафуту: глушь, даль — все отказываются. Как вы на это смотрите, Мария Никифоровна?..

Мария Никифоровна задумалась:

«Неужели молодость придется похоронить в песчаной пустыне среди диких кочевников и умереть в шелюговом кустарнике, считая это полумертвое деревцо в пустыне лучшим для себя памятником и высшей славой жизни?..»

А где же ее муж и спутник?..

Потом Мария Никифоровна второй раз вспомнила умного спокойного вождя кочевников, сложную и глубокую жизнь племен пустыни, поняла всю безысходную судьбу двух народов, зажатых в барханы песков, и сказала удовлетворенно:

— Ладно. Я согласна… Постараюсь приехать к вам через пятьдесят лет старушкой… Приеду не по песку, а по лесной дороге. Будьте здоровы — дожидайтесь!

Завокроно в удивленье подошел к ней.

— Вы, Мария Никифоровна, могли бы заведовать целым народом, а не школой. Я очень рад, мне жалко как-то вас и почему-то стыдно… Но пустыня — будущий мир, бояться вам нечего, а люди будут благородны, когда в пустыне вырастет дерево…

Желаю вам всякого благополучия.

Рассказ о потухшей лампе Ильича

1

Моя фамилия Дерьменко. Идет она от барского самоуправства: будто бы предки мои в давнее время с голоду ели однажды барские тухлые харчи — дерьмо, оттуда и пошло Дерьменко.

Наше село Рогачевка от города шестьдесят верст; расположение имеет вкось по реке Тамлыку, что втекает в другую речку Усмань.

По преданию говорят, что Тамлык, иначе сказать Тимур-лык, по-татарски значит маленький сын Тимура. А Тимур, как исторически известно, был предводитель татар, кои в старые времена здесь скакали по степям и пользовались их сладкими травами для своих коней. А Усмань у татар значит красавица. И вот будто бы Тимур влюбился раз в степную красавицу гречанского роду, родил от нее сына Тимурлыка и ускакал бить балканцев. Гречанка от горя иссохла и умерла вместе с сыном-ребенком; вернувшийся Тимур так затосковал по своей скончавшейся любимой семье, что велел войску своему и пленным горстями насыпать два памятных кургана, а сам Тимур носил и сыпал землю мечом.

И до сей поры у нас есть два жутких холма — один побольше, другой поменьше. Уже давно стерлась тоска в сердце Тимура, а курганы все стоят, и их не стерли ни ветер, ни вода.

Вот что значит сердце человека!

Когда я гляжу на эти курганы, у меня начинается тоска, — и я чувствую в себе добросовестность.

* * *

Вот на этом знаменитом месте стоит наша Рогачевка — небогатое село.

От помещика Снегирева остался у нас сад в пятнадцать десятин — хороший сад, и дерева не старые. А как стало им пользоваться общество, вижу — гибнет сад: ни окопки, ни обмазки, никакого хозяйственного ухажерства, — плод еще зеленый, а уж ребятишки все вдрызг обломали, оборвали и поносом изошли.

А зимой зайцы кору лущат, — еще год, другой — и усохнет сад и пропадут чудеса его плодородия.

Думал я сильно, за всех, и враз схватила меня догадка:

— Надобно крепкую, мудрую артель — и взять у общества сад. А мужики подходящие есть.

И еще было у меня мечтание — построить у нас на Рогачевке электростанцию, и чтобы при ней была мельница с просорушкой и обойкой. Это было бы очень способно для крестьян. У нас стоят семь ветрянок — все у кулаков; берут по четыре фунта с пуда, да еще когда ветер, а в летнее время ветры жидкие, — иной раз с голоду насидишься, хоть и есть зерно. Да и электрический свет даст селу интересное увлечение.

Сам я проходил в красноармейцах курсы электротехники сильных токов, а брат мой тоже любитель этих делов и знаток своему разуму. А до службы в войске я пять лет трубил линейным монтером на городской электрической станции, оттуда у меня и пошел интерес ко

всяким механизмам и таинственности, с той же поры скучно мне на деревне и напрасной кажется бедность ее.

Собрал я артель, вышел на сходе и говорю мужикам:

— От барского сада нету нам прибытка, кроме как ребятишки по картузу зелени нарвут. А сад ведь, граждане, гибнет — то ведомо всем. Отдайте нам сад, — говорю. — Только пять лет мы вам ничего платить не будем, а зато сад приведем в показательный порядок и электрическую станцию вам построим с линией и вводами на сто дворов, а дальше сами тяните (я уже подсчитал про себя, сколько даст сад и сколько стоит станция). При станции же оборудуем мельницу с камнем на девять четвертей, просорушку и обойку для пеклеванной муки. И все это добро передадим, кому общество укажет, а лучше кредитному товариществу — на правильное пользование. А по изжитии пяти годов и сад вам в целости представим, либо аренду будем должее держать, — это, — говорю, — как вам угодно будет.

А меня влекла не только полезность дела и свое пропитание, но и интерес к жизни — советское строительство.

Тут пошел гам и обсуждение предложения.

— Брось, — говорят, — Ефимыч, не твоего ума это дело. Погорим от твоего электричества…

— Фролка, а каково твое обеспечение, где залоги возьмешь? Аль обчество дуриком отдаст тебе сад?

— Набрался газу в городе, умней всех стал!..

— Не трожь напрасно: Фрол — городской парень, он и ране был по разуму ходовитый…

— Жрал сто лет дерьмо, на яблошные харчи хочешь…

— Знаем мы этих изобретателев — землю липистричеством мазать хотят, дожжу пущать…

— Оно любопытно, только ни хрена не выйдет: тут иностранец нужон…

Вышел здесь председатель сельсовета, мужик здравый и в зрелых летах:

— Тиш-ша! Пулеметы, гуси-лебеди! Девки, брось зерна грызть! Кузьма, отставь от себя брехню и агитацию… Граждане, садом нам не владать все едино, не к рукам он нам, а Фролка на глазах будет, — ежели што, враз водворим на его усадебное место… Рыска я не вижу, а посулы Фрелкины — не обида…

Обломались к вечеру мужики — сдали нашей артели сад на пять лет. Все буквально в протоколе отметили, и расписались мы всей артелью казенным почерком с фигурами. Один из артели нашей, Прошка Кузнецов, сумел лебедя вывести. Даже председатель сельсовета, который видел сзади, как Прошка старался, сказал ему:

— Да будет тебе, Прокофий, мудрить на официальной бумаге, ты не шуточное дело делаешь и собрание задерживаешь…

2

Осенью было дело. Грузно нам пришлось зимовать: харчей мало, артельщики — люди без избытку, одежи нет, тот же Прошка зимой и летом ходил в железных калошах, которые сам сделал, — в холодное время у него, говорят, пот на ногах мерз. Однако с весны до самых плодов не посидели — суетливое дело сад.

Прошла завязь, а потом плод, еще хуже стало — лезет вся деревня к нам. Сколько тут скандалов, сраму было, день и ночь не очнешься. Да ведь не ребятишки донимали: сурьезные мужики ломились за яблоком.

Захватишь и говоришь:

— Да ты бы попросил, Фома, я бы тебе дарма насыпал.

— Да я и не лез, — говорит, — я бадик сломить зашел. Нужон твой сад, хозяин нашелся! Выгоним скоро обратно: обчество говорит, урожай хорош, — Фролку долой с нашего имущества!

А раз захватили милиционера и секретаря Совета с двумя битыми мешками: что тут делать будешь? Хотел я усовестить — куда тебе!

— Мы, — говорят, — не себе, а детдому.

— Так чего же, — спрашиваю, — нам сперва не заявили, предписания не дали — ведь мы организация.

— Молчи, — отвечают, — мы знаем, что делаем, не суйся в административные мероприятия!

Тогда Прошка (который и захватил их), слова не говоря, хрясь ладонью милиционеру в ухо, ляп железной калошей секретарю в спину. И так и далее. Однако дело это прошло молчком: вреда эти власти нам впоследствии не сделали.

Подговорились мы с одним городским армянином сбывать ему фрукт, и стали водиться у нас деньги.

Вышел сезон — подсчитали, свели в срезек баланец, ан три тысячи с лишком чистого дохода.

И хлебом мы запаслись на целый год, и прикупились кое-чем для себя и для сада, а три тысячи остатку.

Сильный был фрукт, да еще червь попортил.

* * *

Надобно договор до дела доводить. Поехали мы с братом и Прошкой в город — двигатель покупать. Походили, поспросили, — дорого.

— Зато машины, — говорят, — на букву ять.

— Нет, — отвечаем, — дорого. И при чем тут твоя царская буква?

— Букву не лай, — говорит сиделец, — она довоенного качества!

Наконец довел нас до дела один гражданин из Дома крестьянина. Пришли мы с ним к одному частнику: видим мельница на дворе стучит. Входим — идет шведская машина. Отсечка — мягкость и чистота, газ — без дыма, тянет восьмерики плавно, бесшумно, шутя, вся блестит и влечет, как кровная лошадь. Танец, а не работа, шут ее дери! Я понимаю это, я сам электромеханик.

Долго мы вращались около двигателя.

— Сколько машина стоит, — спрашиваем, — со всей гарнитурой — чохом (как раз и постав мельничный тут же, рушка, обойка, бочки для нефти и весь инструмент).

— Пять тысяч, — говорит нам хозяин.

Дней пять мы ходили — испытывали постав, разбирали машину и торговались.

Сошлись на трех с половиной тысячах. Ведь машина сорок сил, да причиндалу сколько.

А денег у нас три тысячи двести. Поговорили с хозяином — согласился обождать триста рублей.

Тогда мы вошли во владение машиной и мельницей, пошли в сельскохозяйственный банк и заложили все благоприобретенное за две с половиной тысячи. На эти деньги мы окончательно расплатились за двигатель и купили в тресте динамо, два маленьких электромотора для молотьбы, приборы, щиты, провода, лампы и прочее.

И начали мы возить имущество в Рогачевку. Сопровождал Прошка — ездил и ужасал встречных мужиков.

— Прокоп Палыч, нюжли ж взаправду светить и молотить оно будет?.. А я так думаю, не двинется оно — все же мертвый минерал…

— А ты пойди — тронь, — отвечал Прошка, показывая на какой-нибудь изолятор на возу. — Тронь, Матвей, пальцем! Да не бойся — тебе приятно станет…

— Да ну тебя к шуту — изувечит еще…

— Ага, а говоришь, мертвый минерал: это энергетик, тайная живность…

Кредитное товарищество дало нам амбар под станцию — туда и свезли все. Начали мы орудовать с братом и Прошкой. Привезли цемент и начали класть фундаменты под двигатель

и динамо.

Утром поедим в саду печеных яблок с молоком — и до вечера на электростроительство. От народу в амбаре работать было нельзя: каждый указывает и советует, но и помогали иногда.

Собрался раз в кредитном сход о налоге, исчерпали повестку дня, я вышел и говорю:

— Трудно, граждане, втроем станцию — завет Ильича и основу социализма — строить. Нужна ваша помощь. Свезите нам из лесничества столбы, ошкурите их и вкопайте вдоль по улице, как мы укажем. Затем я полагаю, что бесплатно следует провести электричество только безлошадным и неимущим, по списку комитета взаимопомощи, а остальным по десять рублей с хаты, если идет линия по их улице.

Мне говорят:

— Правильно, Фрол Ефимыч, — устроим! Видим твои старания, от забот борода облупилась!..

Тогда дело наше пошло спорее: мы с братом установку делаем, а мужики под руководительством Прошки столбы вкапывают, линию тянут и вводы в хаты втыкают по особому списку, а богатых проходят мимо: если хочешь свету-силы, вноси десять рублей.

Прошка сидит на столбу и верховодит:

— Кузька, глянь, как столб твой стоит, — переставь вкрутую, это тебе не бадик!

— Егорка, давай голую магистраль, сними валенки, чего ноги паришь!

— Петруха, неси харчей из дома, скажи: Прошка требует.

— Эх вы, жлоборатория, да разве так тянут провод — это вожжи, где же тут напряжение пойдет? Его ветер сдует. Тяни втугачку, сопля, жми до пупка — технически трудись!

Вечером мужики наблюдают:

— До чего ж ходовит Прошка — огнем горит: глянь, с версту уже протянули. Ты скажи, и не обидчив! И сам смеется — и все ребята грохочут…

Когда у Прошки затекали руки и ноги, он слезал со столба и выплясывал из себя тут же всю усталость. Тогда все бросали работу и сбегались к нему. Прошка, поплясав и поорав, сразу смолкал и уставлялся своими белыми глазами на толпу:

— По местам, электромеханики, аль инженера не видали?

Довольные «электромеханики» расходились на работу.

По вечерам мы задумчиво отдыхали. Машины уже собраны и блестят, по соломенному селу ходит влажный осенний ветер, а Прокофий греет ужин.

* * *

Наконец настал день пятое ноября. Мы сделали деревянную звезду с лампами, через улицу протянули гирляндой тридцать ламп, а самая улица освещалась десятью фонарями на версту.

Кроме того, на площади против станции поставили две молотилки с электромоторами и подвезли хлеба к ним.

Ночью втихомолку мы попробовали станцию: впрягли в двигатель всё — и динамо, и постав, и рушку, и обойку. Двигатель пошел мерно и без натуги. Улица засияла огнями, звезда в разноцветных фонарях светила с крыши дома кредитного товарищества на десять верст через село в степь, в ста хатах тоже загорелись лампы, — мужики в смятенье проснулись, заплакали дети, бабы их начали кутать и выносить на улицу, но в ту осеннюю ночь на улице тоже горел электрический свет.

По селу началась горячка. Народ бежал к станции, радуясь и тревожась, угрожая и удивляясь. Всех охватило смутное чувство, и сон в селе пропал.

А предприятие наше было на полном ходу и жутко гудело таинственной силой.

Прошка стоял у распределительного щита и следил за приборами, мы с братом мотались от двигателя к мельнице, от мельницы к молотилкам, устраняя неполадки, слушая

ход и дыхание механизмов.

Над селом плыло великое зарево, за околицей гремели чьи-то убегающие телеги по заквоклой обмерзшей земле.

Был третий час ночи.

Тогда я крикнул человеку на щит:

— Прокофий, запри нефть, включай реостат, вырубай село, кредитное и улицу!

И Прошка ответил:

— Есть, механик, — вырубай ток!

Свет погас всюду, и сразу все ослепли от вновь нагрянувшей страшной ночи.

Полуодетый народ стоял в полном молчании: он ошалел и поник.

— Прокофий, переведи ремень на холостой шкив, пусти двигатель, затем прекрати нефть, открой все краны и продуй машину!

— Есть, продуй машину! — ответил Прошка. Он, должно быть, матросом был: очень уж ловок и тактичен. Машина пошла ходко, а затем засвистела дикими голосами во все открытые отверстия.

— Прокофий, заулючь установку, конец работе.

— Есть, заулючь механизмы, работу прекратить!

Стало торжественно, и мы пошли к себе домой, в сад отдыхать.

Но мы не уснули, а разволновались и просидели до света в разговорах по механике.

3

Наступил день открытия станции. Наладить праздник взялась сельская ячейка большевиков. К тому же открытие совпало с днем Октябрьской революции.

Наше дело малое: мы вновь проверили машины.

Ячейка вела дело лихо: разослала всем соседним селам и городу особое трогательное приглашение.

Было сухо — народу съехалось, как на обношение мощей в старое время. Приехала вся большая власть и простые крестьяне.

В зале кредитного товарищества назначено было торжественное заседание. Прошка ввернул туда пять ламп по шестьсот свечей, чтобы свет бил до слепоты.

Уже завечерело, мы стоим на станции наготове и греем двигатель паяльной лампой. Вдруг приходит за мной предуика товарищ Кирсанов.

— Пожалуйте, — говорит, — Фрол Ефимыч, в залу.

— Сейчас, — говорю, а сам задержался.

— Прокофий, — обращаюсь, — Семен (это мой брат), глядите, ежели што — стыд и срам: кувалдой запущу! Я скоро вернусь. Пускай машину — вруби одно кредитное, я выключатель там выключил, — как увидишь нагрузку на амперметре — глаз не своди! — так моментально включай все и пускай на полный ход предприятие целиком. Ты, Семен, следи за молотилками, мельницей и всем прочим, поставь надежных мужиков.

Прихожу в зал кредитного: чувствуется торжественность, тишина, а народу, как ржи в мешке. За красным столом — власть и два наших мужика, а сбоку оркестр.

Прохожу сквозь ущелье стульев и иду прямо в президиум: мне машет оттуда предуика. Сажусь. Начинается вечер его речью. На столе горит пока что керосиновая лампа — для пущего противоречия!

Умно говорил предуика:

— Лампа Ильича сейчас, — говорит, — вспыхнет и будет светить советскому селу века, как вечная память о великом вожде. Мотор, — говорит, — есть смычка города с деревней: чем больше металла в деревне, тем больше в ней социализма. Наконец, — указывает на меня, — строитель электрификации Фрол Ефимыч, есть тоже смычка: глядите, он родился крестьянином, работал в городе и принес оттуда в вашу деревню новую волю и новое знание… Объявляю Рогачевскую сельскую электрическую станцию имени Ильича

открытой!

Я еле успел подбежать к выключателю и дал свет. Свет упал в темную залу, как ливень: три тысячи свечей пожертвовал сюда Прошка. Все зажмурились и нагнулись — как будто лилась горячая вода.

Оркестр заиграл «Интернационал», все встали.

Я подошел к окну.

Пятиконечная звезда, уличные фонари, лента через дорогу, хаты — все сияло.

Народ бросился глядеть наружу.

Дальше говорил предсельсовета, потом секретарь укома, а затем вышел председатель нашего кредитного товарищества:

— Товарищи! Что мы здесь обнаружили? Мы обнаружили лампу Ильича, т. е. обожаемого товарища Ленина. Он, как известно здесь всем, учил, что керосиновая лампа зажигает пожары, делает духоту в избе и вредит здоровью, а нам нужна физкультура… Что мы видим? Мы видим лампу Ильича, но не видим тут дорогого Ильича, не видим великого мудреца, который повел на вечную смычку двух апогеев революции — рабочего и крестьянина… И я говорю: смерть империализму и интервенции, смерть всякому псу, какой посмеет переступить наши великие рубежи… Пусть явится в эту залу Чемберлен, либо Лой-Жорж, он увидит, что значит завет Ильича, и он зарыдает от своего хамства… И я говорю: помни завет вечного Ленина.

Тут председатель кредитного заплакал, сел и вынул кисет.

Еще говорил, всем на удивление, наш мужик, Федор Фадеев:

— Граждане, сказано в писании: вначале было слово. А кто его слыхал, и еще чуднее, кто его сказал? Нет, граждане, сначала был свет, потому что терлись друг о друга куски голой земли и высекалось пламя… Граждане, ведь мы слышали сейчас задушевные слова наших вождей и видим, что действительно электричество есть чистота и доброе дело…

Поговорив еще с час, Федор сбился и сел, и весь вечер не мог очнуться от своей речи.

Остальную ночь я пробыл на станции. На дворе в драку молотили хлеб и дивились маленькой напористой машине — электромотору.

Всю ночь зарево пропускало над собой тучи, и темная долина Тамлыка была впервые освещена от сотворения мира.

4

Так прошел счастливый год. Станция везла уже не сто, а триста дворов. Мельница не управлялась молоть хлеб, и кооперация, которая владела всем предприятием, здорово наживалась. Ветряки заглохли — весь помол отобрала мельница на станции: она брала дешевле, от налогов была свободна и работала без задержки, а кооперативный приказчик был обходительный человек и приучил мужиков.

А мне не раз уже говорил председатель кредитного, что мельники с ветряков собираются сжечь станцию, но я думал, что они не посмеют.

В сельсовете подсчитали, что одна наша мельница, не считая пользы от освещения, молотьбы, рушки и обойки, сберегла мужикам за год шесть тысяч пудов хлеба — это то, что мужик переплатил бы мельникам-кулакам, если бы не было нашей мельницы. Да еще заработок весь пошел не кулаку, а кооперации, — это тоже прибыток.

Оказывается, действительно в правление кредитного приходили два сельских мужика и говорили, что один мельник, владелец самого большого ветряка, подвыпивши, обещал сжечь все паровое заведение в августе — перед обработкой нового урожая. Я посоветовал кредитному застраховать предприятие, повесить в нем огнетушители и нанять ночного сторожа, а на кулака донести власти. Не знаю, сделало ли это кредитное товарищество.

Только раз, когда я спал — дело было в августе, работы в саду много, за день уморишься здорово, — будит меня Прошка:

— Ефимыч, вставай, в Рогачевке полыхает что-то свечой, должно станция, хаты так не

горят — это нефть…

От сада до села была верста. Добежали мы до станции, видим — уже нет постройки, все машины в огне и по двигателю зелеными струями текут расплавленные медные части.

Теперь стоит в Рогачевке линия, висят фонари на улицах, а лампочки в хатах засижены мухами до потускнения стекла.

Прошка ездит на тракторе, а я думаю опять уйти в город и поступить там на электростанцию линейным монтажистом.

Брат осел в деревне окончательно и разводит кур плимутроков.

Хотя на что нужны куры кровному электромеханику?

Родоначальники нации, или Беспокойные происшествия

I

Город, что он такое!

Шли-шли люди, великие тыщи шли по немаловажному делу, а потом уморились, стали на горе — реки текут тихие, вечереет в степи; опустились на землю люди, положили сумки и заснули, как птицы — всею стаей.

Поднялись и забыли куда шли: сном изошла тревога, которая вела их по дорогам земли.

Встали, как родились — ничего никому неведомо. И силу телес люди направили в тщету своего ублаготворения. Животами оправились и размножились, как моль.

Иван Копчиков — мужик сдобный и мордой миловидный — переменился. Высокий вышел, худощавый парень, с терпеливыми стоячими глазами. Пушиться стало лицо и полосоваться бичами дум.

Шел Иван по улице и думал о городах — больших и малых.

Играла музыка в высоком доме. Становился Иван, и сердце в нем остановилось.

— Кто это так плачет и тоскует там так хорошо? У кого голос такой? Если звезды заговорят, то у них только будут такие слова.

Песнь — это теснота душ.

А такой песни Иван еще не слыхал. И ему захотелось сделать такое, чего никогда не было. Самому пропеть такую песнь, чтобы люди побросали все дела свои, всех жен своих и все имущество и сбежались слушать, и так заслушались бы, что есть, лишь, размножаться и серчать позабыли бы.

Постоял-постоял Иван и пошел дальше. Потемнело уже. Огни по улицам зажглись, и свет их не давал копоти.

Люди толклись кругом, гнала их вперед и назад некая могучая сила.

Повозки неслись по мостовой, а один толстый большой человек сидел на корточках у дома, где должен быть завалинок, и ел землянику-ягоду, и крякал и чмокал от ублаготворения.

Иван постучал в дверь соседнего не очень большого, но благовидного дома. Отворила женщина, молодая и благоухащая травами.

— Вы что, дорогой мой?

— Переночевать можно?

— Переночевать?.. Вам негде ночевать? Я не знаю… Вот папа скоро придет… Вы подождите. Входите сюда.

Иван вошел. Сел на мягкую скамейку. Кругом — мебель и неизвестные вещи, которые не нужны человеку.

Женщина оказалась девушкой и села читать книжку. Иван спросил ее:

— Ты што читаешь?

— Стихотворение Лермонтова. Вы их читали?

— Нет, — ответил Иван. — Дай-ка я погляжу. Иван полистал и прочел:

В небе ходят без следа

Облаков неуловимых волокнистые стада.

Иван встал на ноги и начал читать. Потом сел, поглядел на девушку заплаканными глазами и отдал книжку.

* * *

Пришел отец этой девушки. Похож на мужика и в сапогах.

— Эт што за жлоборатория?! Тебе чего?..

— Нам на ночевку, — сказал Иван.

— На ночевку вам? Што тут, ночлежный дом, што ль? — Откуда сам?

— Суржинские мы…

Подошла к отцу сама барышня.

— Пускай, пап, остается. Он хороший.

— А если што пропадет, ты отвечать будешь? Дыня-голова, обалдела што ль! Вшей тут плодить!

Наконец-таки отец умилостивился:

— Ну, пущай в передней ляжет и глаза мне не мозолит.

Ночь нашла тучей — тихой и прочной тьмой. Иван лежал на попонке и дремал. И тихо из комнаты забубнил голос хозяина, как будто закапала вода.

Иван прислушался. Отец девушки читал. Тикали часы, и капали слова:

«Всякая цивилизация есть последствие целомудрия, хотя бы и неполного. Целомудрие же есть сохранение человеком той внутренней могучей телесной силы, которая идет на производство потомства, обращение этой силы на труд, на изобретение, на создание в человеке способности улучшать то, что есть, или строить то чего не было.

Цивилизация есть нищета по отношению к женщине, но тяжкий груз мысли и звездоносная жажда работать и изобретать то, чего не было и не может в природе быть.

Свирепость природы, ее крушение, засухи, потопы, нашествие микробов, невидимые явления в электросфере — приучили человека к работе, бою, передвижениям по поверхности земли и войнам между собою.

Когда кончились войны и ослабела борьба с землей за пищу, то человек возвращался в дом к женщине, но уже он был не тем, каким ушел. Он делается более целомудренным, и хоть и живет с женой, но меньше спит с ней, и глубже пашет. Прочнее и выше строит дома, чаще задумывается, острее видит, искуснее изобретает и приспособляет свои орудия и свой скот к работе.

Но все цивилизации земного шара сделаны людьми только немножко целомудренными.

Теперь наступило время совершенно целомудренного человека, и он создаст великую цивилизацию, он обретает землю и все остальные звезды, он соединит с собою и сделает человеком все видимое и невидимое, он, наконец, время, вечность превратит в силу и переживет и землю и само время.

Для этого, — для прививки человеку целомудрия и развития, отмычки в нем таланта изобретения — я основал науку антропотехнику[1].

Основатели новой цивилизации, работники коммунизма, борцы с капитализмом и со стихиями вселенной, объединяйтесь вместе, и перед борьбой, перед зноем великой страды — испейте из живого родника вечной силы и юности — целомудрия.

Иначе вы не победите!

Силою целомудрия перестройте и усильте сначала себя, чтобы перестроить затем мир»…

[1] Значит, искусство строить человека: антропос — по-гречески — человек. — (Прим, автора).

* * *

«Прощай, невеста и милый друг!

Пусть сократятся твои дороги по земле и душа наполнится легчайшим газом радости.

Не вовремя ты родилась. Для тебя время рождения никогда не придет.

Ты из членов того человечества, которое не рождается, а остается за краями материнской утробы.

Ты — тощее семя, которое не оплодотворяется и не разбухает человеком.

Нечаянно твое гиблое начальное семячко слепилось с другим таким же обреченным семячком — и вылепился человек, который не бывает, а если бывает, то слепит глаза людям чудом — и погибает без вести, как велюр, уткнувшись в гору. В черноте и великой немости стоят звезды на небе, как большие неморгающие очи, плачут светом и путь свой оставляют серебряным руном».

Иван слушал, не понимая. Сердце его шевелилось, и сам он шел странником по городам, по странам, по заросшим садами звездам, по томительном смертным пустыням.

Над городом, над полями, над деревнями, над всею преющей землей шла немая бездыханная ночь, как было спокон веков.

Далеко по земле ехал мужик Кондратий из Мармыжей в Суржу.

— Н-но, ошметок, тяни, не удручай — потягивай, не скучай! Ехал Кондратий пустыми ветряными полями и разговаривал:

— Мне нужен хлеб… А кто его даст? Намолотил, вон, три копны. Душа также надобна. Как ее изготовишь, когда неведомо творение?.. А люди живут, что? Пузо стерегут, да баб мнут… Нет тебе никакого направления, либо што чего… Нет тебе нигде ни дьявола!..

II

Тянулась тщедушная жизнь, как деревенские щи. Живешь-живешь, а жизнью все не налопаешься. Плохо жить без любви, как без мяса обедать.

Появилось в теле у Ивана Копчикова как бы жжение и чесотка, — сна нету, есть не охота. Жара в животе до горла. Хочется как бы пасть волку разорвать, либо яму руками выкопать в глубину до земного жара.

Иван уже знал, что в могиле тепло, а в глубоких землянках рыбаки живут и зимой у самого льда.

Бесится в тесном теле комками горячая крутая кровь, а работы подходящей нету. Думы все Иван передумал, дела произвел, хату отцу починил, плетни оправил, баклажаны сполол — все, как следует быть.

Сидит Иван вечерами и ночами на завалинке. Сверчки поют, в пруде басом кто-то не спеша попевает и попевает, как запертый бык.

Радость внутри сердца Ивана кто-то держит на тонкой веревочке и не пущает наружу.

А Иван совсем ошалел, Мартын же иногда давал ему направление.

— Тебе-б к бабе пора, — говорил Мартын Ипполитыч — сапожник сосед, мудрое в селе лицо, — а то мощой так и будешь.

И шел раз Иван по просеке в лесу.

Ночная муть налезла на всю землю. В воздухе было невидимо и запахло хлебной коркой.

И идут сзади вслед торопкие и легчайшие чьи-то ноги.

Иван обождал.

Подошла, не взглянула и прошла Наташа, суржинская незавидная девка.

И видел и не видел ее ранее Иван — не помнил. В голове, в волосах и в июле ее была какая-то милость и жалость. Голос ее должен быть ласковый и медленный. Скажет — и между словами пройдет дума, и эту думу слышишь, как слово.

И в Ивановом сердце сорвалась с веревочки радость и выплыла наружу слезами.

Наташа ушла, и Иван пошел.

На деревне — тишина. Из сердца Ивана повыползли тихие комарики — и точат, и жгут тело, и сна не дают.

* * *

Шли дни, как пряжу баба наматывала. Живешь, как на печке сидишь, и поглядываешь на бабу — длинен день, когда душа велика. Бесконечна жизнь, когда скорбь, как сор по просу, по душе разрастается.

Простоволосые ходили мужики. Чадом пошла по деревне некая болезнь. Тоскуют и скорбят, как парни в мобилизацию, все мужики.

Баб кличут уважительными именами:

— Феклуша, — дескать, — Варьюшка, Афросиньюшка, Аксинь Захаровна.

Благолепное наступило время.

Тихо ласкали по деревне люди друг друга, но от этих ласк не было ни детей, ни истомы, а только радость — и жарко работалось.

Посиживал Иван с Наташей и говорил ей, что от них по деревне мор любовный пошел: завелась у Ивана в июле от Наташи как бы блоха какая, выпрыгнула прочь и заразила всех мужиков и баб.

Здесь вошь любви, но она невидима. Пускай прыгает она по всему белому свету, и будет светопреставление.

Приезжал доктор из волости, освидетельствовал самых благородных мужиков и определил:

III

Пустынножительством стала земля. Свирепело и дулось жаром солнце, будто забеременело новым огнем неимоверной силы.

А по полям только шершавый терпеливый жухляк трепыхался, да змеи в горячем песке клали длинные пропадающие следы. Змея она не похожа ни на одного зверя, она сама по себе, немая и жуткая тварь. Змея не любит ничего, кроме солнца, песка и безлюдья.

Как в печке, сгорели посевы и с ними — жизнь. Тела мужиков обтощали, — даже худощавым плоскушкам еды не хватало.

Ни тучки, ни облака, ни ветра. Один белый огонь цельный день, а по ночам медленнотекучие оглядывающиеся звезды.

Были необходимы ветры, но воздух поредел от тишины.

И вот уже в августе трое суток то наступала, то отступала и дробилась зноем тяжкая туча. Разнесло ее во все небо.

— Не к добру, — говорили старики, — из такой не вода, а камни полетят.

Вышел в поле Иван и ждал. Но в поле ничего не оказалось. Птица, зверь и всякое насекомое исчезло и утаилось.

Насела туча, темнее подземных недр. Но ни капли, ни звука из нее.

* * *

Ждал до вечера Иван — не шелохнется туча. Всю ночь не спал, все слушал, как камни вниз полетят. Ничего не было, и утром так же стояла туча.

И только в полдень ослепила небо и землю сплошная белая молния, зажгла Суржу и травы и леса окрест. Вдарил такой гром, что люди попадали и завыли, и звери прибежали из леса к избам мужиков, а змеи торцом пошли в глубь нор и выпустили сразу весь яд свой.

И полетели вслед за молнией на землю глыбы льда и крушили все живое и раздробили в куски мертвое.

Упал Иван шибче льдины в лог и ткнулся в пещеру, где рыли песок в более благопристойное время.

За ледобоем вдарил сверху тугой водяной столб, заготовляя влагу впрок.

И синее пламя молний остановилось в небе, только содрогалось, как куски рассеченной хворостиной змеи.

Пошла вода из туч — аж дышать нечем. Воет и гнетет свистящий и секущий ливень.

И за каждым громовым ударом — новым свирепеющим вихрем несется вода, и как стальным сверлам разворачивает леса и землю и почву пускает в овраги бурыми потоками…

К вечеру стих мало-помалу водяной ураган.

Стало холодно. Внизу по оврагу еще неслась вода. А по откосу, где был в пещере Иван, только топь и вывороченная, разрушенная земля.

Выбрался Иван наружу и глянул. Не было ни Суржи, ни леса, ни полей. Чернели глыбы разодранной земли, и шипела вода по низинам.

* * *

Задумался Иван:

— Град и ливень рухнули вниз, когда засияли молнии. До того туча шла мертвой.

И пошел Иван прямо к Власу Константинычу — волостному доктору, тому самому, который заразу любви обследовал.

Влас Константиныч любил книги. Жил без жены и существовал лишь для питания природы.

Влас Констатиныч любил всех суржинских. Пришел к нему Иван и говорит:

— Дождь от молнии пошел, а не от тучи.

— Как тебе сказать, — ответил доктор, — от электричества.

— А электричество самому сделать можно?

— Можно…

И доктор показал Ивану баночку на окне, из которой шла вонь.

— Дайте ее мне совсем, — попросил Иван.

— Что ж. Возьми. Это штука дешевая. А зачем она тебе?

— А так, поглядеть. Я принесу ее скоро.

— Ну-ну. Бери, бери.

Иван ушел к рыбакам на Дон, ибо Суржу со всеми домами пожгла молния и задолбил ледобой.

Иван понял одно, что электричество собирает в воздухе влагу всякую и скучивает ее в тучи.

— А когда бывает засуха, значит можно, все ж таки наскрести влагу электричеством и обмочишь ею корни?

Когда просохла земля, Иван стал добиваться, как сделать влагу электричеством. Жил он в землянке у Еремы старика, посвятевшего от одиночества и от природы, и ел подлещиков, голавлей, сомов и картошку.

Зной водворился опять. Все повысохло. Запылала и заныла земля. На всякие штуки пробовал банку Иван — ничего не выходит.

И только когда догадался он проволочку от винтика на баночке прикрепить к корням травы,

— тогда дело вышло. Тогда трава зазеленела и ожила, а кругом стлалась одна мертвая гарь.

Иван поковырял землю, добрался до корешков, и пощупал — сыровато.

— Надо жить теперь не спроста, — решил Иван, сердечно радуясь от любопытства к природе.

IV

Вдрызг в чернозем сбита и перемешана старая Суржа и пожжена. Только кирпичи от печек остались, да одна курица в норь какую-то каменную забилась и теперь отживела и ходит беспутная. Никакой живой души: льдины с неба покололи все мужиковские головы.

Но через десять дён обнаружился еще Кондратий — мужичок неработящий и бродяга,

— бывал он раньше на шахтах, а теперь жил при брате скотом.

— Я, — говорит, — буду управителем русской нации. И пахать тебе не буду.

И вот теперь Кондратий обнаружился: в печке просидел и вылез невредимым. Поглядел-поглядел он на курицу:

— Что ты голову мне морочишь, скорбь на земле разводишь? Кабы б две хоть, а то одна! Ай ты нужней всех?

Поймал, защемил за шею и оторвал ей курью башку.

— Тварь натуральная, тебе и буря не брала!.. — И переменился душой Кондратий: — Брешешь! Человека не закопаешь: тыщи лет великие жили!

И стал жилище себе обделывать из разных кусков и оборок расшибленной Суржи. Получилась некая хата.

Пришла одна суржинская девка из города. Вдарилась оземь:

— Родные мои, матушки!.. Не схотели жить, мои милые!.. — И пошла — и пошла.

Подошел к ней Кондратий:

— Не вой, девка! Видишь — народонаселения никакого нету… Стало быть, я тебе буду супругом.

И обнял ее в зачет будущего — для началу.

Через некоторую продолжительность явился в Суржу с Дона и Иван Копчиков. Принялись они втроем за вторую хату.

Иван работал, как колдун, — и построил сразу еще две хаты.

У девки уже к зиме живот распух.

— Нация опять размножится, — говорил ублаготворенный Кондратий.

— Надо другую родить, — сказал Иван, — какой не было на свете. Старая нация не нужна…

Иван задумался о новой нации, которая выйдет из девкиного живота:

— Надо сделать новую Суржу — старая только людей томила и хлебом не кормила.

Так порешили Иван и Кондрат.

— Благолепие будет, — сказал Кондрат и почесал свою мудрую башку, якобы родоначальник нации.

V

По дороге, выспавшись в ближней деревне, шел человек.

Кто знает, кем он был?

Бывают такие раскольники, бывают рыбаки с верхнего Дона, бывает прочий похожий народ.

Пешеход был не мужик, а, пожалуй, парень. Он поспешал, сбивался с такта и чесал сырые худые руки.

В овраге стоял пруд, человек сполз туда по глинистому склону и попил водицы. Это было ни к чему — в такую погоду, в сырость, в такое прохладное октябрьское время не пьется даже бегуну. А путник пил много, со вкусом и жадностью, будто утолял не желудок, а смазывал и охлаждал перегретое сердце.

Очнувшись, человек зашагал сызнова — глядел он, как напуганный.

Прошло часа два; пешеход, одолевая великие грязи, выбился из сил и ждал какую-нибудь нечаянную деревушку на своей осенней дороге.

Началась равнина, овраги перемежились и исчезли, запутавшись в своей глуши и заброшенности.

Но шло время, а никакого сельца на дороге не случалось. Тогда парень сел на обдутый ветрами бугорок и вздохнул. Видимо, это был хороший, молчаливый человек, и у него была терпеливая душа.

По-прежнему пространство было безлюдно, но туман уползал в вышину, обнажались поздние поля с безжизненными остьями подсолнухов и понемногу наливался светом скромный день.

Парень посмотрел на камешек, кинутый во впадину, и подумал с сожалением об его одиночестве и вечной прикованности к этому невеселому месту. Тотчас же он встал и опять пошел, сожалея об участи разных безымянных вещей в грязных полях.

Скоро местность снизилась и обнаружилось небольшое село — дворов пятнадцать.

Пеший человек подошел к первой хате и постучал. Никто ему не ответил. Тогда он самовольно вошел внутрь помещения.

* * *

В хате сидел нестарый крестьянин, бороды и усов у него не росло, лицо было ущемлено трудом или подвигом. Этого человек как будто сам только вошел в это жилье и не мог двинуться от усталости, оттого он и не ответил на стук вошедшего.

Парень, — суржинский житель, Безотцовского уезда, — вгляделся в лицо нахмуренного сидельца и сказал:

— Фома, нюжли возвратился?

Человек поднял голову, засиял хитрыми, умными глазами и ответил:

— Садись, Иван! Воротился, нигде нет благочестия — тело наружи, а душа внутри. Да и шут ее знает — кто ее щупал — душу свою…

— Што ж, хорошо на Афоне? — спросил тот, что вошел, а звали его по-прежнему — Иван Копчиков.

— Конечно, там земля разнообразней, а человек — стервец, — разъяснил Фома.

— Что ж теперь делать думаешь, Фома?

— Так чохом не скажешь! Погляжу пока, шесть лет ушло зря, теперь бегом надо жить. А ты куда уходишь, Ваня?

— В Америку. А сейчас иду в Ригу на морской пароход.

— Далече. Стало быть, дело какое имеешь знаменитое?

— А то как же!

— Стало быть, дело твое сурьезное?

— А то как же! Бедовать иду, всего лишился!

— Видать, туго задумал ты свое дело?

— Знамо, не слабо. Без харчей иду, придорожным приработком кормлюсь!

— Дело твое крупное, Ванюха…

Пустая хата пахла не по-людски. Мутные окна глядели равнодушно и разуверяли человека: оставайся, не ходи никуда, живи молча в укромном месте!

Иван и Фома разулись, развесили мокрые портянки и закурили, уставившись на стол рассеянными глазами.

— Что ж дует! Вань, захлобысни дверь! — попросил Фома. Устроив это, Иван спросил:

— Небось, тепло теперь в Афонском монастыре! Небось, спокойно живется там. Чего сбеждал из монахов?

— Оставь, Иван, мне нужна была истина, а не чужеродные харчи. Я хотел с Афона в Месопотамию уйти, говорят, там есть остатки рая, а потом передумал. Года ушли, уж ничего не нужно стало. Только вспомнишь детей и так-то жалко станет. Помнишь трое детей умерло у меня в одно лето?.. Уж двадцать годов прошло, небось, кость да волос остались в могиле… Ох жутко мне чего-то, Иван!.. Оставайся ночевать, может дорога к утру заквокнет…

— И то останусь, Фома. Этак до Риги не дойдешь!

— Вари картохи! Жрать с горя тянет…

Уснувши спозаранок, Фома и Иван проснулись ночью.

Огня в хате не было, за окном стояла нерушимая и безысходная тишина. Как будто и поля проснулись, но был час ночи, до утра далеко, — и они лежали и скучали, как люди.

Почуяв, что Иван не спит, Фома спросил:

— Из Америк-то думаешь воротиться?

— Затем и иду, чтобы вернуться…

— Едва ли: дюже далеко!

— Ничего, обучусь нужному делу и ворочусь!

— Мудрому делу скоро не обучишься!

— Это верно, дело мое богатое, скоро не ухватишь!

— Насчет чего же дело твое?

— Пыточный ты человек, Фома. Был на Афоне и в иностранных державах, рай искал, а насущного ничего не узнал.

— Это истинно, кому что!

— Мужикам одно нужно — достаток! В иной год у нас ржи, хоть топи ей, а все небогато живем и туго идем на поправку! В этом году рожь с цен сошла, а и урожая никакого не было: все градом искрошило.

— А чего ж ты задумал?

— Слыхал про розовое масло? — сказал тогда Копчиков.

— Слыхал — гречанки тела мажут им для прелести!

— Это што! Это для духовитости. Из розового масла знаменитые лекарства делают — человек не стареет, кровь ободряют, волос выращивают — я по книжкам изучал. Я ее с собой несу. В Америке половина земли розами засажена — по тыще рублей в год чистого прибытка десятина дает! Вот где, Фома, мужицкое счастье!..

Иван говорил зажмурившись, в избытке благородного чувства. Открыв глаза, он заметил, что в окне посерело; тогда он слез с печки и стал собираться в Америку, не стравливая зря времени.

— Куда ты? — спросил Фома.

— Пора уходить, мне еще далече идти. Отдохнул и в ход, а то я томиться начинаю, когда задерживаюсь!

— Рано еще, наварим кулешу, поешь и пойдешь.

— Нет, пойду, день и так короток!

— Ну, как хочешь. Ты, стало быть, в Америке хочешь разузнать, как розовое масло делается?..

— Догадался? А ты думал я свечки там делать буду? Наша земля сотворена для розы! На нашем черноземе только розе и расти! Ты погляди, Фома, благоухание какое будет — все болезни пропадут!..

— Да, дело твое лепное! Ну, ступай, чудотворец, поглядим-подышим, — много тогда рассады, должно, потребуется! Скорей только ворочайся и в морях не утопни!..

А Иван уже посчитал, сколько это денег будет, если каждая десятина по тысяче рублей чистого прибытку даст.

Эта надежда на будущее счастье и шевелила его ноги по грязным полям его родины, гоня в далекую Америку.

Иван был уверен, что, действительно, нежное масло душных и пьяных роз способно построить вечные здания в древних балках его родины, и в этих зданиях поселятся довольные, счастливые мужики со своими многочисленными семействами.

Лунные изыскания (Лунная бомба)

1. Проект Крейцкопфа

Сын шахтера, инженер Петер Крейцкопф, в столице своей страны был в первый раз.

Вихрь автомобилей и грохот надземных железных дорог приводил его в восторг. Город, должно быть, населен почти одними механиками! Но заводов не было видно, — Крейцкопф сидел на лавочке центрального парка, а заводы стояли на болотах окраин, на полях сброса канализационных вод, за аэродромами мировых воздушных путей.

Крейцкопф был молод и совсем не имел денег; он поссорился с администрацией копей, желавшей добывать деньги из одного сжатого воздуха, посвоевольничал в своей копи, был отдан под суд, уволен и приехал в столицу.

Поезд пришел рано, но этот странный город был уже бодр: он никогда не просыпался, потому что и не ложился спать. Его жизнью было равномерно-ускоренное движение. Город не имел никакой связи с природой: это был бетонно-металлический оазис, замкнутый в себе, совершенно изолированный и одинокий в пучине мира.

Роскошный театр из смуглого матового камня привлек взор Крейцкопфа. Театр был так велик, что мог бы быть стоянкой воздушных кораблей.

Горе раскололо сердце Петеру Крейцкопфу: его молодая, когда-то влюбленная в него жена Эрна осталась в Карбоморте, угольном городе, откуда Петер приехал. Петер предостерегал ее: «Не стоит расходиться, Эрна. Мы жили с тобой семь лет. Дальше будет легче. Я поеду в центр и приступлю к постройке „лунной бомбы“, — мне дадут денег, наверное, дадут».

Но Эрне надоели обещания, надоел угольный туман копей, узкая жизнь Карбоморта и одинаковые рожи бессменного технического персонала, особенно две личности друзей Петера — узких специалистов, сознательно считавших себя атомами человеческого знания. Самый частый разговор, слышанный Эрной, это слова сослуживца Мерца: «Мы живем для того, чтобы знать».

— А того и не знаете, — ответила тогда Эрна, — что люди живут не для того, чтобы знать…

Петер понимал и Эрну, и своих друзей, а его-то они не особенно понимали. Аристократка, дочь крупного углепромышленника, получившая образование в Сорбонне, Эрна ненавидела друзей Петера — мастеров, электромонтеров и изобретателей, просиживавших в ее гостиной с Петером в ненужных спорах до полуночи.

Крейцкопф знал, что у него мало общего с Эрной: он, полусамоучка, инженер по призванию, — и она, овладевшая последними «цветами культуры», ему недоступными.

И Эрна ушла от него в свой круг людей.

Крейцкопф тосковал, он не знал, что ему делать одному среди множества людей.

* * *

От всеобщей занятости, электрических реклам, запаха отработанных газов и рева бушевавших машин тоска Крейцкопфа удесятерилась. Он вспомнил прошедшие годы своей жизни, полные труда, доверия к людям, технического творчества и преданности любимой жене. И вот все истреблено неясными стихиями: люди обманули и предали, его труд был не нужен для них, жена полюбила другого и возненавидела его, творчество привело его к одиночеству и нищете.

— Неужели нет спасения? Смерть? Нет, пусть меня раздавит неодолимое, — или я одолею все видимое и невидимое!

Крейцкопф встал, утерся грязным платком и пошел в Научно-технический Комитет Республики. Он не верил в пользу зеленых письменных столов, знал иронию, спрятанную в ящиках канцелярий, и глухое невежество профессоров. Но податься было некуда.

Его принял председатель Комитета, инженер-путеец. Крейцкопф изложил свое предложение, иллюстрируя его графическими материалами.

Предложение касалось «лунной бомбы» — некоего транспортного орудия, способного перемещаться во всякой газовой среде, в атмосфере и вне атмосферы. Металлический шар, начиненный полезным грузом, укреплялся на диске, стационарно установленном на земле.

Шар укреплялся на периферии диска; сам диск имел либо горизонтальное земной поверхности положение, либо наклонное, либо вертикальное, — в зависимости от того, куда посылался снаряд: на земную станцию или на другую планету.

Диску давалось достаточное для достижения снарядом со станции назначения вращение; по достижении диском необходимого числа оборотов, в нужном положении диска, соответствовавшем направлению линии полета, шар автоматом отцеплялся от диска и улетал по касательной к диску. Все совершалось по формуле центробежной силы, включив в нее коэффициент сопротивления среды.

Безопасный спуск снаряда на землю (или на другую планету) обеспечивался автоматами на самом снаряде: при приближении к твердой поверхности замыкался в автомате ток и сжигалось некоторое количество взрывчатого вещества в том же направлении, что и полет, — отдачей достигалось торможение полета, и падение превращалось в плавный безопасный спуск. Взлет снаряда также был безопасен и плавен, так как скорость кидающего диска начиналась с нуля.

Крейцкопф предложил пустить первый снаряд по такому пути, чтобы он описал кривую вокруг Луны, близ ее поверхности, и снова вернулся на Землю. В «лунной бомбе» будут установлены все необходимые аппараты, автоматически запечатлевающие в межпланетном пространстве, близ Луны, температуру, силу тяготения, общее состояние среды, строение электромагнитной сферы; наконец, киноаппараты воспримут через особые микроскопы все, что несется мимо снаряда. Конечно, в конструкции всех этих аппаратов должно быть принято во внимание мчащееся состояние «лунной бомбы».

Крейцкопф руководился тайной мыслью: народонаселения на земле много, — в давке, в тесноте, у иссыхающих питательных жил земли проходят дни неповторимой жизни. Крейцкопф надеялся открыть на соседних планетах новые девственные источники питания для земной жизни, провести от этих источников рукава на земной шар и ими рассосать зло, тягость и тесноту человеческой жизни. И, когда откроются безмерные недра чужого звездного дара, человек будет больше нуждаться в человеке…

— Урожай у нас ожидается хороший, — выслушав его, в раздумье сказал председатель Комитета, — промышленность налажена, идет новое строительство… Да, пожалуй, денег просить можно. Сколько у вас требуется по смете? Шестьсот тысяч? Хорошо. Только необходимо весь вопрос поставить перед Пленумом Комитета, добиться положительного заключения Пленума и тогда уже войти с представлением в правительство… Пленум Комитета у нас соберется… сегодня вторник… в пятницу. Я лично сторонник вашего предложения. В расчетах, насколько я уловил, нет ошибки. Так вы в пятницу свободны?

— Я в вашем распоряжении, — ответил Крейцкопф.

— Хорошо. Значит, до пятницы. Будьте здоровы.

— До свиданья.

Крейцкопф ушел. Он не ожидал такого внимательного отношения. Да, но что делать до пятницы, три дня, и где взять еды?

Город неизменно бунтовал жизнью и делом. Был полдень и знойное лето. Крейцкопф купил дешевую газету. Начал с объявлений.«…Требуется инженер… в отъезд… в отъезд…» Нет ничего нужного. Вот: «Требуется конструктор… генераторов…» Не знает детально Крейцкопф этой отрасли. Еще: «Нужен временно шофер для испытания автомобильных моторов новых конструкций на динамику…»

Это идет: Крейцкопф имел два автомобиля (подарки жены в первый год их жизни), ездить умел отлично и любил это занятие.

Крейцкопфа приняли и дали жалованье, к его удивлению, большее, чем он получал в копях. Предложили прийти в среду с утра на работу в гараж.

Вечер и ночь Крейцкопф просидел в парке на одном месте. Думы о прошлом терзали его.

2. Трагедия на шоссе

Утром Крейцкопф пошел на окраину города, в гараж, на место новой службы. Гараж был открыт, но не было заведующего. Разгоралось утро. Крейцкопф курил и боролся со сном.

Наконец пришел заведующий, и Крейцкопфу дали машину: с виду похожа на тип девяностосильных «испаносуиза», но было в ней что-то иное: диаметр колес увеличен и радиатор — полукруглый. Мотор был запломбирован. В отдельном ящике, тоже на пломбе, стояли все нужные саморегистрирующие приборы.

Крейцкопф выехал. Машина шла мягко и тянула бешено, несмотря на неразогретый мотор. Вместо пассажиров был положен мертвый груз.

Крейцкопфу дали задание сделать сегодня до обеда триста километров по счетчику и возвратиться после этой дистанции.

Шоссе лежало пустым. Крейцкопф воткнул четвертую скорость, дал газ до отказа и полетел кирпичом. Таксометр показывал сто четыре километра. Но мотор разогревался и усиливал тягу. Сто восемнадцать километров… Мимо несся ветер в это тихое утро. Кругом распласталась природа. Вдалеке дымились трубы крематория.

Успокоенный, забывший горе своего сердца, Крейцкопф набирал скорость. Сто сорок три километра… Дорога безлюдна, мертво наше прошлое, а навстречу — ветер, путь и восходящая стрелка измерителя скорости.

Вдруг показалась корова. Крейцкопф срулил мимо без тормоза. Дальше шел небольшой поворот, машину немного занесло от скорости. Крейцкопф выключил конус и в метре от машины заметил курчавую головку ребенка…

Крейцкопф рванул налево руль и повел ручным тормозом до отказа. Машина затряслась, запылила вывернутая мостовая, но ребенка ударило правым фонарем, и голова его рассеклась по черепным швам. Густая кровь залила его рубашечку, неповрежденные глаза полуприкрылись длинными ресницами, и пухлые алые губы сложились бантиком, который теперь никогда не развяжется.

Крейцкопф оледенел от рвущего тело страдания, он крикнул, выпрыгнул из автомобиля и припал к трупу ребенка, терзаясь и борясь с обступившей его темнотой отчаяния. Кругом было молчаливо, мотор потух, и город вдали ровно шумел.

Крейцкопф встал, поднял на руки ребенка и положил его в атомобиль. Это был мальчик, на фуражке его было написано «Океан». Кровь запеклась и остановилась. Мальчику было лет пять.

Крейцкопф тронул машину и тихо поехал, ища глазами мать, обходя выбоинки, чтобы не трясти трупик. Но не было никого. И Крейцкопф погнал, сбросив фуражку, резко подкидывая стрелку таксометра, — и слезы текли по его лицу, смешанные с пылью, грязными струями. Он рыдал, налегая грудью на руль. Трупик ребенка свалился с сиденья на пол и там шевелился от тряски, словно в конвульсиях.

Крейцкопф свернул на проселок и скоро остановил машину. У межевого столба была яма. Он слез с трупиком и положил его в готовую могилу. Личико ребенка уже сморщилось, не совсем прикрытые глаза побелели и закатились. Крейцкопф набрал воды из радиатора и обмыл его начисто, потом тихо поцеловал в чистые губы, и горячие слезы снова омыли его лицо.

— Я тебя не забуду никогда, милый, теплый ты мой… — шептал Крейцкопф, и горе горело в нем жгучим костром. Он отрезал пучок светлых волос и взял их себе вместе с шапочкой «Океан», потом засыпал могилу при помощи автомобильного инструмента. Засыпав яму, он затосковал по мальчику так, что захотел его откопать.

— Я искуплю тебя, милый, — прошептал он и пошел к машине. — Что Эрна! Тут будет теперь моя вечная нежность!

Крейцкопф заметил местность могилы и поехал. Он ехал медленно, прижимая рукой к рулю круглую шапочку «Океан» с прядью тонких русых волос.

Вернувшись в гараж. Крейцкопф взял аванс под жалованье и ушел в город. Он купил

вечернюю газету, желая найти имя мальчика, и нашел его: «Родители умоляют… ушел из дому в шесть часов утра… звать Гога… четыре с половиной года, русый, очень ласковый, фуражечка с надписью „Океан“… свекловичное хозяйство Ромпа… директору Фемм…»

— Гога Фемм, — шептал Крейцкопф. — Но что же мне делать, ведь мать его умрет, если я сообщу, что он раздавлен!..

* * *

Пришла пятница. Крейцкопф защищал в Центральном Научно-Техническом Комитете свой проект и защитил его. Он спорил и бился отчаянно, и мертвый мальчик стоял в его памяти.

Проект получил визу Комитета и пошел в правительство. Не раньше чем через месяц станет известным результат.

Крейцкопф по-прежнему обкатывал машины, убивая вечера в кино и в бесцельных шатаниях по кипящим улицам.

Раз он получил письмо от Эрны, каким-то путем узнавшей его адрес: «Петер, я вышла замуж за инженера Нимта. Мы с мужем уезжаем до Нового года в Брюссель. Хотела бы иногда тебя видеть, как друга. Прошлого не изгладишь сразу. Мы будем в столице с 20-го по 25 августа. Жить будем в „Майоне“. Я слышала, ты не очень счастлив, служишь шофером. С твоего разрешения, я могу попросить мужа устранить препятствия, мешающие твоей карьере. Ведь ты чрезвычайно одаренный человек, я это знаю. Отвечай мне в Карбоморт. Эрна».

Крейцкопф ничего, конечно, ей не ответил.

Шли недели. Крейцкопфа ценили на новой службе, и раз он участвовал на официальных гонках, где выиграл второй приз.

Наконец его вызвал Комитет. От правительства пришел ответ: деньги по смете будут отпущены в два года равными долями, к работам можно приступать, все результаты исследования межпланетного пути и Луны поступают в собственность правительства.

3. Катастрофа при постройке

Крейцкопф ликовал. Он съездил на могилу мальчика, где увидел, что холм порос лебедой, что поле глухо… что сердце его обрастает салом забвения. Дорогой он плакал и рвал сухие колосья. Однако, не имея никого из близких, не зная друга, он дал телеграмму в Брюссель: «Эрна, бомба будет брошена через два года, строю».

Эрна ответила: «Радуюсь, жму крепко руку».

Всю жизнь не видел Крейцкопф такой удачи. И не мог сдержать себя: он пел в своей комнате странным голосом путаные песни и ходил в пивную с шоферами.

Началась постройка. На плацдарме, открытом всему небу, бутили фундамент под электромотор в сто двадцать тысяч лошадиных сил, под трансмиссионное устройство и под опорный подшипник — подпятник кидающего диска. Одновременно велось ответвление от ближайшей магистрали высокого напряжения для питания электродвигателя и ставился трансформатор.

Крейцкопф был вне себя от энергии, кипевшей в нем, как в паровозе. Он бы построил всю систему сооружений для развития в «лунной бомбе» летной живой силы в полгода, но план финансирования был растянут на два года.

Самый снаряд строился Машиностроительным Трестом Монте-Монд, и его должны были закончить через пять месяцев.

Но черный случай шел вслед Крейцкопфу: при взрывных работах в котловане опорного подшипника сорок рабочих, из них пять лучших в стране специалистов, были убиты электрическим током, как констатировала особо назначенная комиссия. Но тока жизнеопасного напряжения на месте работ не было. Это точно установила техническая

экспертиза. Однако сорок трупов были обернуты в грубый холст и отвезены к семьям на пяти грузовиках.

Работа остановилась. Крейцкопф молчал и не предпринимал никаких шагов снова наладить постройку. В нем физически явственно разрушалось сердце. Он нечаянно умертвил рабочих. Крейцкопф раньше пробовал свой метод в копях, правда, в отсутствие людей, — и горные породы превращались в тонкий прах.

Метод состоял в том, что в материю, подлежавшую превращению из минералов в пыль, направлялись электромагнитные волны таких периодов и такой длины, что они совпадали с естественным колебанием электронов атомов материи. Эти искусственные волны раскачивали, усиливали электронный пульс атомов, и атом разрывался, частью превращаясь в неизвестный, неощутимый газ, частью в легкую пудру.

Зная (теоретически точно) безвредность электромагнитных волн такой структуры для человека, Крейцкопф, ничего не говоря, пустил в действие свой аппарат в направлении котлована. И он посеял смерть среди людей.

Странно, что следователь не обнаружил в Крейцкопфе преступника: его томящееся сердце было видно на его лице и в его глазах.

Работы возобновились, но шли тихо, и Крейцкопф не торопил производителей работ. Но скоро снова вышла заминка, где Крейцкопф был ни при чем: в финансовой части работ обнаружились крупные хищения, кассир и начальник части скрылись. Крейцкопфа обвинили в административной халатности и даже, по какому-то грязному доносу, в соучастии.

Крейцкопф не защищался. Работы приостановили. Правительство назначило Особую техническую комиссию для пересмотра всего проекта, а Крейцкопф был судим и приговорен к одиночному заключению на год.

4. Изобретатель в тюрьме

Очутившись в камере, Крейцкопф опомнился. Долгие недели он лежал на койке и думал. Лето догорало, падал лист, Эрна была в Брюсселе, Гога Фемм в могиле, те сорок тоже — прах. Впереди одна мертвая мечта — лунный полет.

Крейцкопф заболел какой-то кишечной болезнью. Его перевели в тюремную больницу. Неслышно, в туфлях, по опавшим листьям, ступала осень в природе.

Выздоравливая, Крейцкопф гулял по коридору на третьем этаже больницы. Коридор кончался открытым окном в тихий парк; там пели поздние птицы.

Крейцкопф подошел к раскрытому окну и долго рассматривал тающий сумеречный воздух и агонию растительного мира, потом сразу, без разбега, кинулся в окно. Его арестантская фуражка слетела с головы, а халат накрыл и его и часового, на которого упал Крейцкопф. Вонзившись в неожиданное мягкое тело, Крейцкопф захлебнулся своей кровью, хлынувшей из треснувших легких, но понял, что остался жив. Часовой лежал под ним мертвый, с ногами, упертыми в собственную голову, сломанный пополам в седалище.

Крейцкопфа осудили вновь за побег, за убийство часового и приговорили к восьми годам, по совокупности с прежним преступлением. Крейцкопф не мог доказать, что он искал не вольной жизни, а тесной могилы.

Время стало мутным и неистощимым: шли дни, как годы, шли недели, медленно, как поколения. Крейцкопф был обречен. Он выработал искусство не думать, не чувствовать, не считать времени, не надеяться, почти не жить: стало легче на одну нитку.

Ассоциация инженеров его страны запросила правительство о возможности досрочного освобождения Крейцкопфа для продолжения постройки «лунной бомбы». Правительство предложило подождать заключения Особой технической комиссии по пересмотру проекта в целом.

Лег снег. Крейцкопф разлагал в себе мозг, мертвел и дичал. Особая комиссия закончила свои работы: проект верен, и если бомба не встретит на пути к Луне блуждающих метеоритов, снаряд способен достичь лунной периферии и возвратиться; предвидеть же все

случайности межпланетного пути абсолютно невозможно. Особая комиссия позволила себе вынести мнение о Крейцкопфе как о человеке исключительного технического творческого дара и огромных познаний.

Правительство согласилось освободить Крейцкопфа под поручительство Ассоциации инженеров. Страна удовлетворилась решением правительства. Все считали, что в Крейцкопфе редкий гений соединен со страшным антисоциальным существом, убийцей и темным бродягой, но что все же дать ему кончить «лунную бомбу» следует. Общественным мнением руководило не сострадание, а любопытство.

Крейцкопфа выпустили. Он долго приспособлялся и трудно вспоминал когда-то привычное.

Работы возобновились. Крейцкопф вел теперь узкотехническую, конструкторскую работу. Главным инженером было другое лицо инженер-электрик Нимт, второй муж Эрны. Нимт вошел в доверие правительства и Ассоциации инженеров и теперь делал карьеру на модном деле Крейцкопфа.

Крейцкопф не имел способности правильно и с тактом относиться к окружающим вещам. Он отнесся ко всем переменам равнодушно: его интересовало только дело лунных изысканий, и он вел свою работу ровно, усердно и автоматически. В нем развилась сонливость, и он все неслужебные часы спал дома один. Одиночество после тюрьмы стало его страстью, и он тяготился людьми на службе и не бывал в городе. Нимт вел себя с ним корректно, но оставался чужим и неясным.

Эрны на постройке не было ни разу: Нимт и она жили в городе.

5. В столице металлургии

Снаряд был наконец готов. Долго не удавалась совершенно точная установка метательного диска: диск должны были установить под некоторым углом к геометрической поверхности земного шара, и этот угол нужно было соблюсти с предельной тщательностью: угол наклона диска определял путь полета «лунной бомбы».

Весной работы были приостановлены на пять месяцев: надо было дожидаться нового бюджетного года и второй половины кредитов, ибо средства этого года были исчерпаны.

Нимт уехал с Эрной за границу, в Киссинген. Крейцкопф получил отпуск на все время до возобновления работ с сохранением содержания.

Он поехал на знаменитые электрометаллургические заводы в Стуасепте. Его интересовали опыты этих заводов по извлечению глубоких железных руд в предгорьях Алдагана.

Правление заводов дало Крейцкопфу рекомендательное письмо к главному инженеру на Алдаган, и он отправился. Ехать нужно было четыре тысячи километров. Крейцкопф поехал по железной дороге. Поезд вел не паровоз, а газовоз, сменивший собой недолго поживший тепловоз.

Газовоз представлял собою газовый двигатель на колесах. Все нижнее ходовое устройство было как у паровоза, но в цилиндрах работал не пар, а сжатый воздух: передача энергии газогенераторного двигателя к ведущим колесам была пневматическая. Газовоз был самый дешевый транспортный двигатель; он работал на газе каменного угля, дров, торфа, соломы, сланца, бурых и малогорючих углей и на всех тлеющих отбросах, из которых только можно выгнать силовой газ.

Газовоз возил с собою на прицепке два вагона-аккумулятора, где в сильно сжатом состоянии помещался газ, которым питался двигатель газовоза. Через каждые триста — четыреста километров стояли маленькие газовые заводы, которые производили газ из местного подножного дешевого топлива. С этих заводов забирали газ газовозы, как раньше паровозы забирали воду из водонапорных баков водокачек.

Против паровоза газовоз вез дешевле в четыре раза.

Крейцкопфа заинтересовали эти быстро вошедшие в транспорт машины, и он с

радостью наблюдал из окна, как бодро и мощно берут газовозы крутые подъемы без всякой потери скорости.

Уже год минул с тех пор, как Крейцкопф приехал в первый раз в столицу. Стояло новое лето. Зной гудел в полевых пространствах, — тяжелый труд сельского хозяина упорно боролся с ним за влажность трав, за сытость больших городов, а также за лунный полет.

Крейцкопф заметно поседел, состарился и потерял детский интерес к ненужным вещам. Он чувствовал, что идет на убыль, — еще осталось немного лет, и скроется от него жизнь как редчайшее событие.

Крейцкопф хотел бы друга, задушевного негромкого разговора и простой теплоты, невнятно говорящей о родственности и сочувствии людей друг к другу. Но он жил в сумрачном сне, его уважали и его чуждались. Его считали необыкновенным — и в гениальности и в преступлении, а Крейцкопф был обычным и простым человеком. Ему были чужды и ненавистны отвлеченности и холодные вершины. Он любил горячее действие, а не вышнее созерцание.

На вторые сутки поезд вошел в страну страшных подъемов и уклонов: это были предгорья великой Алдаганской системы, поднявшейся из глубины тропического моря и исчезавшей в ледяных пучинах Арктического океана.

Станция Стуасепт — и в километре от нее столица металлургии: директория железорудной промышленности, горная академия, правление электрометаллургических заводов и гидроэлектрическая силовая установка в миллион киловатт.

Крейцкопф сразу поехал на место работ по извлечению глубоких руд. Администрация работ встретила его просто и задушевно: горные инженеры имели перед собой первоклассного техника другой области практики, и только.

Известно, что добывание железной руды с трехсотметровой глубины не может экономически оправдываться, здесь же опытным путем хотели доказать иное. Электромагниты, питаемые током в сотни тысяч лошадиных сил от гидравлической установки, были направлены полюсами в подземные районы залегания железных руд.

Гигантские массивы руды с завыванием и грохотом, похожим на громы землетрясения, прорывали оболочку земли и вылетали на дневную поверхность, стремясь к полюсу электромагнита. В момент разрыва рудой последнего почвенного покрова особым автоматом в электромагните прерывался ток и сам электромагнит отводился в сторону. И глыбы руды вырывались из недр с горячим ветром, накаленные трением о встречные породы, и, взлетев на сотню метров, падали на материнскую землю, слегка зарываясь.

Лебедка-самоход поднимала куски руды щипцовым ковшом, окунала в пруд для охлаждения и подвозила к конвейеру. Конвейер подавал руду к домнам.

Несмотря на огромную силу, нужную, чтобы вырвать руду из недр электромагнитом, сила эта тратилась лишь несколько мгновений, и потом электромагниты питались током, добытым из энергии падающей подпертой воды. Поэтому глубокая руда обходилась не дороже мелко залегающей руды, добываемой обычным способом. И было что-то чудовищное и неестественное в том, что из-под земли вылетал металл, скрежеща и тоскуя на пути.

Вечером Крейцкопф обедал у производителя работ по магнитной добыче руды, инженера Скорба. Пожилой спокойный человек, один из конструкторов мощных добывающих электромагнитов, Скорб имел тихий нрав и лютую работоспособность. Скорб был одинокий: его семья — жена и две дочери утонули в весеннем паводке горной реки двадцать лет назад. Скорб потом отомстил этой реке: он построил на ней регуляционные сооружения, сделавшие невозможными никакие паводки. И с тех пор Скорб живет один, если не считать тысячу электриков, слесарей, монтеров и горнорабочих, сплошных друзей Скорба.

Переночевав у Скорба, Крейцкопф уехал в столицу.

Снова зачихал газовоз и забормотали колеса. Пышное лето плыло в вечном сиянии солнца.

6. Полет «Лунной бомбы»

Приехав домой, на мертвую постройку, Крейцкопф не знал, чем ему заняться: до начала работ оставалось не менее четырех месяцев. И он нечаянно занялся чтением: купил раз книжку в палатке у древней стены, пришел домой, зажег свет, открыл книгу, а там значилось:

Я — родня траве, и зверю,
И сгорающей звезде;
Твоему дыханью верю
И вечерней высоте…

Дальше шли скучные слова, а потом опять:

Я не мудрый, а влюбленный,
Не надеюсь, а — молю.
Я теперь за все прощенный,
Я не знаю, а люблю.

Очарование смутной мысли, мысли, смешанной с горячим и скорбным чувством, охватило всего Крейцкопфа. И он читал и читал, пока комната стала желтой от зари и электричества. Он подкупил днем еще десятка полтора книг, заинтересовываясь лишь их названиями; это были: «Путешествие в смрадном газе» Бурбара, «Голубые дороги» Вогулова, «Зенитное время» Шотта, «Антропоморфная революция» Зага-Заггера, «Лунный огонь» Феррента, «Антисексус» Беркмана, «Всегда ли была и будет история и что она такое наконец в самом деле?» — философия Горгонда, — и несколько других.

Крейцкопфа поразил книжный мир. Он никогда не имел времени для чтения. И он мыл и промывал свой мозг, затесненный страданием, однообразным трудом и глухою тоскою. Он увидел совсем новых людей мрачных, горячих, подвижных, ревущих страстью и восторгом, гибнущих в просторе мысли, торжествующих на квадратном метре в каменной нише в стене, ищущих праведную землю и находящих пустыню, бредущих по песку и набредающих на воду, уходящих в страны изуверов, меняющих тепло дома на ветер ночного пути…

Люди шли перед Крейцкопфом не как масса, а как странники, нищие, как бродяги, бредущие с завязанными глазами. Крейцкопф неожиданно отметил: литература не знает счастья, а самое счастье, где оно есть, лишь предсказывает близкую беду и землетрясение души.

В стране Крейцкопфа уже собирали урожай. Горела солома в топках локомобилей в полях и молотила хлеб. Падал лист с деревьев, и его жевали козы. Глотали ягоды змеи, и на деревьях от них трепетали птицы. Множество детей народилось от урожая, и появились хорошие писатели. Строились фабрики тонких сукон, и заготовлялись на зиму впрок фрукты и овощи.

Настал новый бюджетный год. Управлению Строительства Лунного Полета отпустили вторую половину сметной стоимости работ.

Крейцкопф, Нимт и пятьсот строителей занялись делом.

Недели за неделями шли в истощающем труде, — труде, где требовалась необычайная точность и где от каждой нитки гаечной резьбы зависело завоевание Луны.

Кидающий диск был закончен. «Лунная бомба» давно готова. Электродвигатель, передачу и все измерители и автоматы установили. Осталось оборудовать самый снаряд всеми приборами наблюдения и фиксации.

Это пошло быстро. Строительное Управление было ликвидировано и заменено Научным Бюро Лунных Изысканий. Во главе его стал известный астрофизик, академик

Лесюрен, а Нимт остался его заместителем по технической части. Крейцкопф значился по-прежнему конструктором.

Временем отлета Бюро установило 19–20 марта, точная астрономическая полночь. В это время Луна находилась в наивыгоднейшем для прицела положении. В полночь на 20 марта автомат отцепит снаряд от вращающегося диска, и «лунная бомба» улетит по направлению к нашему спутнику, а через восемьдесят один час возвратится вновь на Землю и сядет близ города Коро-Коротанга.

Газеты в погоне за сенсацией писали о полете такие подробности, что и Лесюрен и Нимт сначала усердно помещали поправки информационных сообщений печати, а потом бросили: газеты-де вовсе не созданы для новостей и точной информации, они — привычка людей, некое курево утомленного мозга.

* * *

На место отправления «лунной бомбы» съезжался «весь свет». Правительство не хотело лишних затрат и ограничилось постройкой огромного цирка вокруг сооружения.

Крейцкопф задумался. Истекало 10 марта: день полета близок. Если прибавить в «бомбу» аппараты для производства кислорода и поглощения углекислоты, то можно лететь и человеку; ведь и полет будет длиться всего восемьдесят один час.

Крейцкопф написал заявление в Научное Бюро Лунных Изысканий о своем желании лететь к Луне в «бомбе» и подробно изложил пользу от такого дополнения «бомбы» живым человеком.

Бюро переслало заявление Крейцкопфа правительству; то отказало. Крейцкопф написал второе заявление: «Правительством не был куплен у меня патент на изобретение „лунной бомбы“, детали конструкции до сих пор известны только мне, Крейцкопфу, я не даю согласия на пуск моего изобретения в действие, да без меня практически его и не сумеют как следует пустить в ход: я, Крейцкопф, отказываюсь также от всякого денежного вознаграждения, я заменяю свое вознаграждение возможностью лететь в „бомбе“».

По существовавшим патентным законам этой страны Крейцкопф был совершенно прав. Он создал безвыходное положение для правительства, и оно разрешило ему сесть в «лунную бомбу».

Известие о полете Крейцкопфа в «лунной бомбе» поразило общество. Но потом решили: эффектный жест самоубийцы. 19 марта в восемь часов вечера Крейцкопф сел в «бомбу». Посадка его и укупорка всего снаряда были исполнены в мастерских, после чего снаряд сразу был подан на диск. Этим действием Крейцкопф отвел от себя внимание публики. В десять часов весь цирк, вплоть до последних амфитеатров, был полон.

Было пышное освещение, музыка, продавали воды, квас и мороженое, дежурили таксомоторы, — обычное окружение редкого события.

За три минуты до точной полуночи диску дали обороты. Электродвигатель ревел, пять гигантских вентиляторов прогоняли сквозь гудящий, греющийся мотор целые облака холодного воздуха, — и воздух вылетал оттуда сухим, жестким и раскаленным, как смерч пустыни. Масло в аппаратах охлаждалось ледяными струями из центробежных насосов, и все же едкий дым стоял вокруг диска и всего сооружения: подшипники грелись сверх меры, масло горело во льду.

Диск, несмотря на точную установку и совершенный монтаж, грохотал, как канонада и извержение вулкана: так велико было число его оборотов. Периферия диска дымилась — она горела от трения о воздух.

Нимт холодел от ужаса: малейший отказ ничтожного автомата в этот миг повлечет неслыханную катастрофу: диск работает в окружении сотен тысяч живых зрителей…

Измеритель показывал уже нужное для полета число оборотов: 946 000 в минуту. До отрыва снаряда от диска оставалось полсекунды. Астрономические часы автоматически на двадцати четырех часах замкнут ток, управляющий автоматом на диске. Этот автомат

освободит от диска «бомбу», и она полетит за счет живой силы, накопленной ею в бытность на диске.

Нимт закрепил регулятор числа оборотов: необходимая вычисленная скорость дана.

Сразу засияли на плацдарме солнечные прожекторы: сигнал, что «бомба» улетела. Момента отлета никто не заметил. Начальная скорость полета снаряда была непостижимо велика, и этот разлом природы техническим гением человека не поддается чувству.

Диск продолжал вращаться по инерции, уже разомкнутый Нимтом от ведущей муфты. Только через четыре часа удалось его остановить, применив всю силу мертвой хватки магнитных тормозов.

Из зрителей оглохло около пятнадцати тысяч человек, еще у десяти тысяч произошли какие-то нервные контузии: никто не ожидал увидеть в форме технического сооружения дикую страстную стихию, ревущую, как светопреставление.

7. Вести из межпланетного пространства

На «лунной бомбе» было установлено радио особой конструкции. По этому радио должны были получаться от Крейцкопфа ежечасные, примерно (Крейцкопф не мог иметь часов), сообщения, и по волне же этого радиоаппарата можно с Земли определять межпланетное положение «бомбы».

Всю информацию от Крейцкопфа получало Бюро Лунных Изысканий в лице Лесюрена, и им же лично производились все расчеты по положению «бомбы» и осуществлялась вся слежка за ней.

Журналисты зарабатывали на экстренных выпусках и превращали деньги в пиво. Однако в первый же день после отлета одна газета дала статью о Крейцкопфе — «В поисках могилы», где обрекались на гибель и «лунная бомба» и Крейцкопф.

Вот сообщения Крейцкопфа из межпланетного пространства по порядку:

«1. Нечего сообщить. Приборы показывают угольно-черное небо. Звезды неимоверной силы света. Было слабое трение снаряда обо что-то: приборы не обнаружили причину. Чувствую свободу. Читаю случайно взятую книгу „Барский двор“ Андрея Новикова, интересное сочинение».

«2. Мимо „лунной бомбы“ прошло много синего пламени. Причин не имею. Температура не повысилась».

«3. Полет продолжается. Никакого движения, конечно, не чувствую. Приборы, аппараты, автоматы исправны. Передайте привет Скорбу на Алдаган».

«4. На мою „бомбу“ падает Луна. Мелкий болид пронесся параллельно снаряду в одном направлении. „Лунная бомба“ его обогнала».

«5. „Бомба“ идет резкими толчками. Странные силы скручивают ее путь, бросают по ухабам и заставляют сильно нагреваться, хотя кругом должен быть эфир».

«6. Толчки усиливаются. Я чувствую движение. Приборы звенят от тряски. Ландшафт вселенной похож на картины давно умершего художника Чюрлёниса, — в космическом океане кричат звезды».

«7. Качка продолжается. Звезды физически гремят, несясь по своим путям. Конечно, их движение вызывает раздражение электромагнитной среды, а мой универсальный радиоприемник превращает волны в песни. Передайте, что я у источников земной поэзии: кое-кто догадывался на Земле о звездных симфониях, и, волнуясь, писал стихи. Скажите, что звездная песня существует физически. Еще передайте: здесь симфония, а не какофония. Поднимите возможно больше людей на межпланетных бомбах на небо, — здесь страшно, тревожно и все понятно. Изобретите приемники для этого звездного звона».

«8. Полет спокоен, тряски нет. Половина пространства занята фиолетовыми лучами, льющимися, как влага. Что это, не знаю».

«9. Я обнаружил кругом электромагнитный океан».

«10. Нет никакой надежды на возвращение на Землю, лечу в синей заре. Приборы

фиксируют напряжение среды в восемьсот тысяч вольт».

«11. Луна надвигается. Напряжение два миллиона вольт. Мрак».

«12. Пучина электричества. Приборы расстроились. Фантастические события. Солнце ревет, и малые кометы на бегу визжат: вы ничего не видите и не слышите через слюду атмосферы».

«13. Тучи метеоров. По блеску — это металл, по электромагнитным влияниям — тоже. На больших метеорах горят свечи или фонари, горят мерцающим светом. Здесь я ничего не видел дрожащего».

«14. Среда электромагнитных волн, где я нахожусь, имеет свойство возбуждать во мне мощные, неудержимые бесконтрольные мысли. Я не могу справиться с этим нашептыванием. Я не владею больше своими мозгами, хотя сопротивляюсь до густого пота. Но не могу думать, что хочу и о чем хочу, я думаю постоянно о незнакомом мне, я вспоминаю события, разрывы туч, лопающееся солнце, — все я вспоминаю, как бывшее и верное, но ничего этого не было со мной. Я думаю о двух явственных субъектах, ожидающих меня на суровом бугре, где два гнилых столба, а на них замерзшее молоко. И мне постоянно хочется пить и экономить свои консервы. Я ем по рыбке, а съесть хочу акулу. Постараюсь победить эти мысли, рождающиеся из электричества и вонзающиеся в мой мозг, как вши в спящее тело».

«15. Только что вернулся с отвесных гор, где видел мир мумий, лежащий в небрежной траве… (Сигналы не поняты. — Примечание академика Лесюрена.) Все ясно: Луна в ста километрах. Влияние ее на мозг ужасающее, — я думаю не сам, а индуктируемый Луной. Предыдущего не считайте здравым. Я лежу бледным телом: Луна непрерывно питает меня накаленным добела интеллектом. Мне кажется, мыслит и снаряд, и радио бормочет внятно само собой».

«16. Луна проходит мимо в сорока километрах: пустыня, мертвый минерал и платиновый сумрак. Движусь мимо медленно, не более пятидесяти километров в час по глазомеру».

«17. Луна имеет сотни скважин. Из скважин выходит редкий зеленый или голубой газ… Я уже овладел собой и привык».

«18. Из некоторых лунных скважин газ выходит вихрем: стихия это или разум живого существа?.. Разум, наверное; Луна — сплошной и чудовищный мозг».

«19. Не могу добиться причин газовых извержений: я, кажется, открою люк своей бомбы и выпрыгну, мне будет легче. Я слепну во тьме снаряда, мне надоело видеть разверстую вселенную только в глазки приборов».

«20. Иду в газовых тучах лунных извержений. Тысячелетия прошли с момента моего отрыва от земного шара. Живы ли те, кому я сигнализирую эти слова, слышите ли вы меня?.. (С момента отлета Крейцкопфа прошло девятнадцать часов. — Примечание акад. Лесюрена.)»

«21. Луна подо мной. Моя „бомба“ снижается. Скважины Луны излучают газ. Я не слышу больше звездного хода».

«22. Скажите же, скажите всем, что люди очень ошибаются. Мир не совпадает с их знанием. Видите или нет вы катастрофу на Млечном Пути: там шумит поперечный синий поток. Это не туманность и не звездное скопление…»

«23. „Бомба“ снижается. Я открываю люк, чтобы найти исход себе. Прощайте».

Антисексус

От переводчика

Ниже нами приводится текст рекламной брошюры, изданной в Нью-Йорке на 8

европейских языках «Международным промышленным обозрением» (Internationale Industriale Revu).

Нельзя отказать в незаурядном литературно-рекламном даровании составителю этой брошюры, как нельзя отказать этому деловому сочинению в империалистическом цинизме, корректной порнографии и чудовищной пошлости, вызывающей своими размерами даже грусть. Однако есть что-то в стиле этой брошюры, что роднит ее с духом Анатоля Франса, если позволено нам будет здесь произнести это великое и честное имя. Это, отчасти, и дало нам смелость опубликовать это неслыханное произведение.

Нет лучшего документа для характеристики эпохи живого загнивания буржуазии и ее полной моральной атрофии, чем нижеприводимый. Ничего подобного не приходилось читать даже нам — искушенным профессиональным читателям.

Ожидая всего от современных заправил капитализма, бюрократии, фашизма и военщины, давших свои отзывы рекламируемому прибору, мы все же не ожидали у них полного отсутствия ума и чувства элементарного такта.

Конечно, т. Шкловский, тонко сыронизировавший посредством формального метода надо всей этой ахинеей, из этого правила исключается.

Оказывается, не права физиология («мозг разлагается одним из последних органов»), а права русско-большевистская поговорка: разум отнимается первым — у того, кого хочет казнить История.

Именно так: поэтому и смердит на все земное пространство от этого демонстрируемого англо-евро-американского сочинения, от этого сектора империализма.

Поэтому лучшая контр-«антисексуальная» агитация — напечатание этого любопытного документа, ибо у людей задвигается выражение на лицах, а на лицах засияет розовый смех — лучший друг души и желудка и худший враг всего этого индустриально-морально-физиологического удушающего безумия.

АНТИСЕКСУС
Патентованные аппараты
Беркман, Шотлуа и Сн, Лтд.

Главное Правление: Берлин, Лондон, Женева, Вашингтон.

Генеральные агентства: Лондон, Париж, Копенгаген, Брюссель, Нью-Йорк, Варшава, Будапешт, Багдад, Пекин, Сингапур, Шанхай, Гонконг, Мельбурн, Чикаго, Франкфурт н/Одере и н/Майне, Токио, Лиссабон, Севилья, Рим, Афины, Монтевидео, Константинополь, Ангора, Калькутта, Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айрес, Мекка, Каир, Вифлием, Александрия, Бангкок, Дамаск, уполномоченные на всех пассажирских судах Гамбург-Америка линия, а также на воздушных линиях Дерулюфт и Люфт-Ганза

Милостивые Государи и Государыни!

Столь различны эпохи, столь различны местоположения стран, столь различны культуры, где работает наша мировая фирма. Однако, спрос на наши патентованные изделия имеется всюду — от Арктики до Антарктики, включая и эти последние, не исключая, однако, и диких стран меж тропиками Рака и Козерога. Страсти человечества господствуют над временами, пространствами, климатами и экономикой. Распространение нашей фирмой изделий металлообрабатывающей промышленности для удовлетворения этих страстей есть дело космического порядка — и по линии метафизики и по линии морали. В высшей степени симптоматично то, что, вопреки общепринятому мнению, кривая годового сбыта наших изделий, при равных условиях экономики и числа населения, в северных широтах не разнится от таковой же кривой сбыта в широтах южных — в тропиках.

Отсюда позвольте заключить, что физиология человека почти абсолютно одинакова и стоит вне зависимости от пространств, времен, рас, уровня культур, наличия книгопечатания

или отсутствия такового, безобразия расы или прелести таковой и прочих привходящих обстоятельств.

Отсюда очевидно, что полное наличие удовлетворения обуславливает наличие потребности. Мир сам по себе стремится лишь к потреблению, а не производству, мир не производит даже желания наслаждения, когда нет возможности получить это последнее. Имея уже мировой опыт сбыта своих изделий, неустанно совершенствуя конструкцию выпускаемых аппаратов, расширяя сеть заводов (число их достигло — к 1/I/1926 — 224), неусыпно заботясь об индивидуальных оттенках потребления и приспособляя к этим оттенкам конструкции своих аппаратов, мы решили включить в свой экспорт рынок Советского Союза, полагая, что емкость его достаточна, чтобы оправдать наши организационные расходы, неминуемо связанные с необходимыми приспособлениями к особенностям этого нового рынка, ибо без учета всех конкретностей данной обстановки нет коммерческого успеха. Виднейшими моральными авторитетами мира наша деятельность признана не подлежащей никакому сомнению, напротив, достойной государственного поощрения и частной благотворительной поддержки, чем фирма не преминула своевременно воспользоваться и будет пользоваться впредь. Шеф фирмы г. Беркман уже включен в кандидаты на получение премии имени Нобеля и в истекшем году получил honoris causa почетное звание д-ра этических и эстетических наук от Парижской Академии. Не задерживая Вашего дорогого стоющего внимания, разрешите поделиться, в самых общих чертах, теми принципами, кои положены в основу деятельности нашей мировой и единственной фирмы ее учредителями.

Сдавленные эпохой войн сексуальные силы человечества неудержимо расцвели в послевоенное время. Это отчасти способствовало загрузке наших заводов и финансовому благополучию фирмы. Неурегулированность половой жизни человечества, чреватость бедствиями, как последствие этой неурегулированности, — вот предмет мучительного душевного беспокойства учредителей нашей фирмы и истинная причина нашей положительной деятельности. Общеизвестна также связь сексуального чувства с нравственностью.

Общепризнана святость древнейшего института брака, вытекающая из непреложности супружеской любви и вечности общего спального ложа, таящего в себе высшие положительные наслаждения и, как следствие, душевное умиротворение. В браке истина заменена покоем. Во всяком случае — ни один философ мира не докажет, что лучше. Человечество же высшей истиной признало покой. Объектом же индустриальной и коммерческой деятельности может быть лишь человечество, а философы таким объектом не могут быть.

Исходя из этого, наша фирма заявила патенты во всех цивилизованных странах на электромагнитный аппарат Antisexus, долженствующий урегулировать сферу пола, и вместе с ней и благодаря этому, — высшую функцию человека — дух его, так сказать, притаившееся божество, которое нужно, наконец, сделать явным и общеупотребительным, как одно из рядовых благ цивилизации. Неурегулированный пол есть неурегулированная душа — нерентабельная, страдающая и плодящая страдания, что в век всеобщей научной организации труда, в век форда и радио, в век Лиги наций, Резерфорда и проектируемого межпланетного сообщения посредством живой силы, вложенной в так наз. «Кирпич» Крейцкопфа, — не может быть терпимо. Прогресс идет ломаной линией, т. е. отдельные точки его бессильно отстают от других точек. Наша фирма призвана уравнять линию прогресса, наша фирма призвана уничтожить сексуальную дикость человека и призвать его натуру к высшей культуре покоя и к ровному, спокойному и плановому темпу развития.

В век социально-экономических кризисов, когда материально затруднен брак, в век алиментов, когда почти невозможно деторождение, когда женщина стала вновь лишь призраком поэтов, благодаря нищете мужчин, мы призваны решить мировую проблему пола и души человека. Из грубой стихии наша фирма превратила половое чувство в благородный механизм и дала миру нравственное поведение. Мы устранили элемент пола из человеческих

отношений и освободили дорогу чистой душевной дружбе.

Учитывая, однако, высокоценный момент наслаждения, обязательно присущий соприкосновению полов, мы придали нашему аппарату конструкцию, позволяющую этого достигнуть, по крайней мере, в тройной степени против прекраснейшей из женщин, если ее длительно использует только что освобожденный заключенный после 10-ти лет строгой изоляции. Таково наше сравнение, таков эквивалент качества наших патентованных аппаратов.

Далее, особый регулятор позволяет достигать наслаждения любой длительности — от нескольких секунд до нескольких суток, будет свободное время у уважаемого потребителя. Особая план-шайба позволяет регулировать в объемных единицах расход семени, и этим достигать оптимальной степени душевного равновесия, т. е. не допускать излишнего истощения организма и понижения тонуса жизнедеятельности. Наш лозунг — душевная и физиологическая судьба нашего покупателя, совершающего половое отправление, вся должна находиться в его руках, положенных на соответствующие регуляторы. И мы этого достигли. Кроме того, глубокие старики, выпавшие из сексуального чувства, вновь приобщаются к нему нашими приборами. Мы работаем для всех возрастов и для всех народов.

Мы уже 8 лет выпускаем лишь три типа наших аппаратов для мужчин и три типа для женщин. Рынок, по-видимому, не требует большего разнообразия, благодаря широким вариациям, которые допускает устройство каждого типа, в соответствии с индивидуальными особенностями потребителя. Идя навстречу нашему новому покупателю — оригинальному обитателю советских стран, мы допустили особые льготы, как то: членам профсоюзов по коллективным спискам скидка до 20 % с прейскурантной стоимости и рассрочка до 1 года. Цены наших аппаратов на 1926 г. следующие:

1. Тип BSS 00042 для индивидуального потребления, без стерилизатора — 20 длр.
2. Тип BSS 001843 для потребления ограниченной группой лиц (напр., для мужской части семьи), со стерилизатором — 40 длр.
3. Тип BSS 000000401 для потребления неограниченной массой лиц (ставится в общественных уборных, ж.-д. вагонах, рабочих бараках, на митингах, в театрах, на улицах, в учреждениях и т. п.), с автоматом-стерилизатором — 100 длр.

Цены указаны без скидки, без упаковки, Франко-база. Для женщин идут те же три типа прибора, тех же назначений, лишь с удорожанием на 15 % против указанных цен. Еще раз подчеркивая недосягаемость, по нравственной высоте, наших принципов деятельности, почтительно указывая на необходимость организации Вам в себе самой существенной Вашей части — души, стоя на страже Ваших экономических интересов, оберегая таковые от покушений половых стихий, смеем предложить Вам, произведя необходимые одновременные капитальные затраты, раз навсегда вычеркнуть статью расходов по половому удовлетворению из расходной части Вашего бюджета и тем самым стать на путь финансового и морального преуспеяния.

В ожидании Ваших любезных заказов и запросов,
пребываем к Вам с совершенным почтением
Генеральный Агент для Сов. стран Яков Габсбург.

Отзывы об аппаратах «Antisexus» знаменитых людей

Война — всемирная страсть человечества. Она не пребудет, пока не пребудет жизнь на земле, что бы ни говорили усталые люди и их мечтатели-политики. Война — мужество: она пребудет, пока мужественна и поступательна жизнь.

Аппараты гг. Беркмана, Шотлуа и сына последнего сыграют, я уверен, в ближайшую же войну великую роль, когда ими будут обслужены тысячи молодых людей, скопленных на фронте.

Уже в истекшую войну военачальники считались с духом войск. Вынужденное целомудрие порождает излишнюю нервность. Нервное же войско есть поражение. Нам нужны армии людей с душевным равновесием, способных к десятилетиям войны. Вышеназванные аппараты призваны помочь военачальникам в их тяжелой работе на пути к победе.

Гинденбург

Гг. Беркман, Шотлуа и Сн открыли новую блестящую эру в нравственном служении человечеству. Нет сомнения, исторический оптимум есть всеобъемлющее регулирование вселенной мозгом человека, — регулирование, которое должно предстать перед нами в виде трансформатора, превращающего стихии в закономерные автоматы. В свое время, когда мне было 25 лет и я только женился, уже предо мною стояла эта задача, задача регламентации брачной физиологии в точную форму, но моя мысль, отвлеченная занятиями по механике, не сосредоточилась тогда на этом. Сожалею об этом. Может быть; я отказался бы тогда от организации предприятий по фабрикации автомобилей и пошел бы по пути фабрикации приборов, автоматизирующих и нормализирующих нравственность, что более соответствует моему душевному строю.

Но гг. Беркман, Шотлуа и Сн предугадали мою юношескую мысль и широко ее осуществили на пользу общества. Душевно рад этому.

Желаю новой промышленности, так блестяще организованной гг. Беркманом, Шотлуа и Сн, мирового процветания, желаю расширений сбыта благотворной продукции этой удивительной фирмы, распространив продукцию через скотоводов для всего животного населения планеты, а не только для людей, число коих роковым образом будет ограничиваться работой аппаратов этой же фирмы. Таковым мероприятием укрепится активная часть баланса фирмы, а с нею укрепится и моральная устойчивость мира.

Генри Форд

Из анализа себестоимости аппаратов под названием «Антисексус» мы усмотрели его излишнюю дороговизну. Я поручил Калькуляционному Бюро пересчитать эту стоимость применительно к нашему сырью и оборудованию и выяснить возможность ее снижения. Мне доложили, что понижение возможно на 30 % (пока). С будущего года мы ставим производство Антисексусов на своем заводе в Детройте.

Кроме того, мы позволим себе допускать рассрочку платежа до 5-ти лет, чем покупаемость аппаратов сделаем абсолютной для каждого гражданина. Этим навсегда и сразу будет ликвидирована проституция, а также все безработные приобретут эти аппараты.

От молодых же рабочих мы отнимем необходимость жениться, чем стабилизируем их бюджет, а это последнее позволит нам обойтись без дальнейших повышений зарплаты, столь тормозящих дальнейший прогресс технического усовершенствования наших заводов.

Форд-сын (Иезекииль)

Лучше в железку сливать семя, если не хочешь превратить его в древо мудрости, чем в беззащитное тело человека, созданное для дружбы, мысли и святости.

Ганди

Приборы гг. Беркмана, Шотлуа и Сн облегчают метрополии управление страстными расами колоний и снижают число бессмысленных бунтов, направленных против цивилизации и имеющих в своей причине, как теперь можно установить, лишь одно неудовлетворенное половое чувство молодых людей. Очень серьезно также облегчилось командирование в колонии первоклассных администраторов, так как их женам не грозит, обычное прежде, изнасилование. Независимо от того, и жены администраторов, снабженные аппаратурой фирмы, не пойдут навстречу изнасилованию.

Чемберлен

Я против Антисексуса. Тут не учтена интимность, живое общение человеческих душ, — общение, которое всегда налицо при слиянии полов, даже когда женщина — товар. Это общение имеет независимую ценность от полового акта, это то мгновенное чувство дружбы и милой симпатии, чувство растаявшего одиночества, которое не может дать антисексуальный механизм. Я за фактическую близость людей, за их дыхание рот в рот, за пару глаз, глядящие в упор в другие глаза, за ощущение души при половом грубейшем акте, за обогащение ее за счет другой встретившейся души. Я поэтому против Антисексуса. Я за живое, мучающееся, смешное, зашедшее в тупик человеческое существо, растратой тощих жизненных соков покупающее себе миг братства с иным вторичным существом. И еще потому я против всей этой механики, что я всегда стоял и буду стоять за конкретное, жалкое, смешное, но живое — и обещающее стать могущественным.

Чарли Чаплин

Примечание фирмы

Принимая во внимание протест Ч. Чаплина, не избегая печатания отрицательных отзывов, фирма доводит до всеобщего сведения, что она уже поручила лучшим своим инженерам изыскать рациональную конструкцию нового Антисексуса, действующего не только на половую сферу, но и на высшие нервные центры одновременно, дабы механически создать те бесценные моменты ощущения общности с космосом и дружбы высшего смысла ко всему живому, о которых так исчерпывающе пожалел г. Чаплин.

Фирма полагает, что это ощущение общности жизни ей удастся создать не в виде отвлеченного чувства, а в виде милого конкретного образа женщины или мужчины, соответственно полу потребителя, — образа наиболее близкого, наиболее желанного нервно-психическому строю потребителя. Однако, фирма не надеется на широкое распространение аппаратов этого типа, ибо известно, что любовь, — а в отзыве г. Чаплина речь идет, очевидно, об истинной, хотя и преходящей, любви, любовь не есть свойство, общее всем людям, и расчеты на нее, мы полагаем, не могут коммерчески рентироваться. Любовь, как установила современная наука, есть психопатическое состояние, свойственное организмам с задатками нервного вырождения, а не здоровым деловым людям. Но мы работаем не только для всех возрастов и всех народов, но также и для всех органических структур во всем их разнообразии, ибо фирма преследует цели нравственного благоустройства мира прежде всего.

По поручению фирмы,
г. Беркман

Сделав половой акт единоличным, вытеснив из него вторую живую половину, сделав половое отправление общедоступным, без всяких препятствий, — мы на прямой дороге к целомудрию, к господству омолаживающего принципа — использование выделений желез внутренней секреции в пределах самого организма.

Проф. Штейнах

При употреблении Антисексуса переживаешь молодость и после крепко спишь. Я не спал так хорошо за последние 25 лет. В моем организме открылись какие-то замершие было источники юности. Я очень благодарен фабрикантам Антисексуса. Моя дочь предложила мне основать институт Перманентной Юности имени гг. Беркмана, Шотлуа и сына его. Я дал согласие и деньги на это счастливое дело.

Морган

Мы потеряли с введением антисексуальных аппаратов известный комплекс красивых и мощных движений, сопутствующих божественной страсти. Об этом надо пожалеть. Но мы приобрели известный половой комфорт, определенную экономию времени, равновесие

здорового организма и независимость от женских капризов. Это надо приветствовать… Кроме того, я думаю, современное кино скомпенсирует утраченный комплекс половых движений, очистив их от привкуса бессознательного и зверско-стихийного, заменив их легким преодолением пространств могучим и девственным телом.

Дуг Фербенкс

Будущее принадлежит цивилизации, а не культуре: будущее завоюет душевно-мертвый, интеллектуально-пессимистический человек. В пошлой плоскости истинной цивилизации немыслим брак — дух фаустовского стиля, — там мыслимо лишь механическое освобождение от избытка сырых органических сил, не могущих сублимироваться в дух. Автомат «Антисексус» еще раз ознаменовал ту эпоху, в которую мы входим — цивилизацию — мертвое, удобное здание, фундамент которого уперт в зеленые травы живой, погибшей культуры.

Освальд Шпенглер

Автомат «Антисексус» чрезвычайно необходим при долгих путешествиях и очень удобен в пользовании. Эти автоматы совершенно необходимо теперь включить непременными элементами в оборудование каждой экспедиции, мало-мальски научно снаряженной. Наличие автоматов — лишний плюс для обеспечения успеха экспедиции.

Свен Гедин

Когда я был в России, я слышал песенку:

Хорошо тому живется,
Кто с молочницей живет:
Только ступит на порог,
Как сметана и творог![2]

Теперь, когда ежедневно беднеет Европа, и еще далеко не богата Россия, когда на каждого не придется по жене-молочнице, нужна механическая «молочница». Ее и призван заменить механизм «Антисексус». Ежегодно на проституцию тратит человечество около пятисот миллиардов рублей, не считая косвенных затрат здоровья, потери колоссального времени, наличия целого международного общественно вредного класса проституток и проститутов и пр. и т. п.

На эти сбережения, которые в сумме дадут около триллиона рублей в год, можно купить молока, сметаны и творога для каждого, не обуславливая такое сытное питание необходимостью иметь жену-молочницу.

Да. Но экономию в триллион в год, общедоступное молочное питание сделал ведь Антисексус!

Поэтому он действительнее любой самой революционной экономической реформы.

Кейнс

Я не пишу, я обычно действую. Я рассматриваю антисексусы как необходимое вооружение каждого культурного человека, — вооружение, действительное и дома и на фронте. Наш король декретировал освобождение антисексусов от всякого налога и пошлины. Женщина, освобожденная от половых обязанностей и половых последствий, увеличит актив нашей страны. Для члена союза фашистов наличие антисексуса обязательно — его должен иметь каждый, — от римского нищего до нашего короля.

Муссолини

[2] Это можно опустить: две строчки. — (Прим. автора).

. . . .[3]

Женщины проходят, как прошли крестовые походы. Антисексус нас застает как неизбежная утренняя заря. Но видно всякому: дело в форме, в стиле автоматической эпохи, а совсем не в существе, которого нет. На свете ведь не хватает одного — существования. Сладостный срам делается государственным обычаем, оставаясь сладостью. Жить можно уже не так тускло, как в презервативе.

Виктор Шкловский

Примечание фирмы

Не имея возможности поместить все отзывы здесь, фирма предполагает издать три тома, специально посвященные оценке наших аппаратов мировыми светилами ума, чувства, поэзии, науки, добра, пользы, социал-демократизма, финансов, политики, коммунизма, техники и эстетизма. В ближайшем томе будут помещены оценочные рассуждения гг. Л. Авербаха, Землячки, Корнелия Зелинского, Сун-Цзи-Лин, Бачелиса, Гроссман-Рощина, Детердинга, С. Буданцева, Лоуренса Виндроуэра, Осинского, генерала По-лу-гуй, Тарасова-Родионова, проф. Вестингауза, Киршона и мн. др. уважаемых авторитетов.

Андрей Платонов,
переводчик с французского
1926 г.

Государственный житель

Пожилой человек любил транспорт наравне с кооперативами и перспективой будущего строительства. Утром он закусывал вчерашней мелочью и выходил наблюдать и наслаждаться. Сначала он посещал вокзал, преимущественно товарные платформы прибытия грузов, и там был рад накоплению товаров. Паровоз, сопя гущей своих мирных сил, медленно осаживал вагоны, полные общественных веществ: бутылей с серной кислотой, бугров веревок, учрежденской клади и необозначенных мешков с чем-то полезным. Пожилой человек, по имени Петр Евсеевич Веретенников, был доволен, что их город снабжается, и шел на платформу отправления посмотреть, уходят ли оттуда поезда в даль Республики, где люди работают и ожидают грузов. Поезда уходили со сжатыми рессорами, — столько везли они необходимой тяжести. Это тоже удовлетворяло Петра Евсеевича, — тамошние люди, которым назначались товары, будут обеспечены.

Невдалеке от станции строился поселок жилищ. Петр Евсеевич ежедневно следил за ростом сооружений, потому что в теплоте их крова приютятся тысячи трудящихся семейств и в мире после их поселения станет честней и счастливей. Покидал строительство Петр Евсеевич уже растроганным человеком — от вида труда и материала. Все это заготовленное добро посредством усердия товарищеского труда вскоре обратится в прочный уют от вреда осенней и зимней погоды, чтобы самое содержание государства, в форме его населения, было цело и покойно.

На дальнейшем пути Петра Евсеевича находился небольшой, уже использованный сельской общественностью лес, лишь изредка обогащенный строевыми, хотя и ветшающими

[3] В машинописной копии здесь находился «отзыв» В. В. Маяковского, тщательно вымаранный А. Платоновым. Текст приводится по автографу:

Предлагается: то вещество, которое скопляется — оставляется в половой машине зря, — экономно собрать, построить фабрику в печь в ней лепешки, которые будет смачно жрать — тот, кто произвел сырье для изготовки этой лепешки. Таким образом экономия получится вдвойне: по Клайвсу выйдет ровно 2 триллиона в год. Человечество тогда получит: молоко, творог, сметану и лепешки — все взамен женской ножки.

Владимир Маяковский

соснами. В межевой канаве того малого леса спал землемер; он был еще не старый, но изжитый, видимо, ослабевший от землеустройства человек. Рот его отворился в изнеможении сна, и жизненный тревожный воздух смоляной сосны входил в глубину тела землемера и оздоровлял его там, чтобы тело вновь было способно к землеустройству пахарей хлеба. Человек отдыхал и наполнялся счастьем попутного покоя; его инструменты — теодолит и мерная лента — лежали в траве, их спешно обследовали муравьи и сухой паучок, проживающий от скупости всегда единолично. Петр Евсеевич нарвал травы среди ее канавного скопища, оформил ту траву в некую мякоть и подложил ее под спящую голову землеустроителя, осторожно побеспокоив его, чтоб получилось удобство. Землемер не проснулся, — он лишь простонал что-то, как жалобная сирота, и вновь опустился в сон. Но отдыхать на мягкой траве ему уже было лучше. Он глубже поспит и точнее измерит землю, — с этим чувством своего полезного участия Петр Евсеевич пошел к следующим делам.

Лес быстро прекращался, и земля из-под деревьев переходила в овражные ущербы и в еще несверстанную чересполосицу ржаных наделов. А за рожью жили простые деревни, и над ними — воздух из жуткого пространства, Петр Евсеевич считал и воздух благом, — оттуда поставлялось дыхание на всю площадь государства. Однако безветренные дни его беспокоили: крестьянам нечем молоть зерно, и над городом застаивается зараженный воздух, ухудшая санитарное условие. Но свое беспокойство Петр Евсеевич терпел не в качестве страдания, а в качестве заботливой нужды, занимающей своим смыслом всю душу и делающей поэтому неощутимой собственную тяжесть жизни. Сейчас Петр Евсеевич несколько волновался за паровоз, который с резкой задыхающейся отсечкой пара, доходившей до напряженных чувств Петра Евсеевича, взволакивал какие-то грубые грузы на подъем. Петр Евсеевич остановился и с сочувствием помощи вообразил мучение машины, гнетущей вперед и на гору косность осадистого веса.

— Лишь бы что не лопнуло на сцепках, — прошептал Петр Евсеевич, сжимая зубы меж зудящих десен. — И лишь бы огню хватило, — ведь он там воду жжет! Пусть потерпит, теперь недалеко осталось…

Паровоз со скрежетом бандажей пробуксовывал подъем, но не сдавался влипающему в рельсы составу. Вдруг паровоз тревожно и часто загудел, прося сквозного прохода: очевидно, был закрыт семафор; машинист боялся, что, остановившись, он затем не возьмет поезд в упор подъема.

«И что это делается, господи боже мой!» — горестно поник Петр Евсеевич и энергично отправился на вокзал — рассмотреть происшествие.

Паровоз дал три свистка, что означает остановку, а на вокзале Петр Евсеевич застал полное спокойствие. Он сел в зале третьего класса и начал мучиться: «Где же тут государство? — думал Петр Евсеевич. — Где же тут находится автоматический порядок?»

— Щепотко! — крикнул дежурный агент движения составителю поездов. — Пропускай пятьдесят первый на восьмую. Сделай механику и главному отметку, что нас транзитом забили. Ты растаскал там цистерны?

— Так точно! — ответил Щепотко. — Больше пока ничего не принимайте, — мне ставить некуда. Надо пятьдесят первый сработать.

«Теперь все вполне понятно, — успокоился Петр Евсеевич. — Государство тут есть, потому что здесь забота. Только надо населению сказать, чтоб оно тише существовало, иначе машины лопнут от его потребностей».

С удовлетворенным огорчением Петр Евсеевич покинул железнодорожный узел, чтобы посетить ближнюю деревню, под названием Козьма.

В той Козьме жило двадцать четыре двора. Дворы расположились по склонам действующего оврага и уже семьдесят лет терпели такое состояние. Кроме оврага, деревню мучила жажда, а от жажды люди ели плохо и не размножались как следует. В Козьме не было свежей и утоляющей воды, — имелся небольшой пруд среди деревни, внизу оврага, но у этого пруда плотина была насыпана из навоза, а вода поступала из-под жилья и с дворовых

хозяйственных мест. Весь навоз и мертвые остатки человеческой жизни смывались в ложбину пруда и там отстаивались в желто-коричневый вязкий суп, который не мог служить утоляющей влагой. Во время общегражданских заболеваний, а именно холеры, тифа или урожая редкого хлеба, потому что в здешней почве было мало тучного добра, — люди в Козьме ложились на теплые печи и там кончались, следя глазами за мухами и тараканами. В старину, говорят, в Козьме было до ста дворов, но теперь нет следов прошлой густоты населения. Растительные кущи покрыли обжитые места вымороченных усадеб, и под теми кущами нет ни гари, ни плешин от кирпича или извести. Петр Евсеевич уже рылся там, — он не верил, чтобы государство могло уменьшиться, он чувствовал размножающуюся силу порядка и социальности, он всюду наблюдал автоматический рост государственного счастья.

Крестьяне, проживающие в Козьме, уважали Петра Евсеевича за подачу им надежды и правильно полагали, что их нужду в питье должна знать вся Республика, а Петр Евсеевич в том их поддерживал:

— Питье тебе предоставят, — обещал он. — У нас же государство. Справедливость происходит автоматически, тем более питье! Что это — накожная болезнь, что ли? Это внутреннее дело, — каждому гражданину вода нужна наравне с разумом!

— Ну, еще бы! — подтверждали в Козьме. — Мы у советской власти по водяному делу на первой заметке стоим. Черед дойдет

— и напьемся! Аль мы не пили сроду? Как в город поедешь, так и пьешь.

— Совершенно верно, — определял Петр Евсеевич. — Да еще и то надо добавочно оценить, что при жажде жизнь идет суше и скупее, ее от томления больше чувствуешь.

— От нее без воды деться некуда, — соглашались крестьяне. — Живешь — будто головешку из костра проглотил.

— Это так лишь мнительно кажется, — объяснил Петр Евсеевич. — Многое покажется, когда человеку есть желание пить. Солнце тоже видится тебе и нам жарой и силой, а его паром из самовара можно зазастить и потушить — сразу на скатерти холод настанет. Это только тебе и нам так воображается в середине ума…

Петр Евсеевич себя и государство всегда называл на «вы», а население на «ты», не сознавая, в чем тут расчет, поскольку население постоянно существует при государстве и обеспечивается им необходимой жизнью.

Обычно в Козьме Петру Евсеевичу предлагали чего-нибудь поесть — не из доброты и обилия, а из чувства безопасности. Но Петр Евсеевич никогда не кушал чужой пищи: ведь хлеб растет на душевном наделе, и лишь на одну душу, а не на две, — так что есть Петру Евсеичу было не из чего. Солнце — оно тоже горит скупо и социально: более чем на одного трудящегося едока оно хлеба не нагревает, стало быть, вкушающих гостей в государстве быть не должно.

Среди лета деревня Козьма, как и все сельские местности, болела поносом, потому что поспевали ягоды в кустах и огородная зелень. Эти плоды доводили желудки до нервности, чему способствовала водяная гуща из пруда. В предупреждение этого общественного страдания козьминские комсомольцы ежегодно начинали рыть колодцы, но истощались мощью непроходимых песков и ложились на землю в тоске тщетного труда.

— Как это вы все делаете без увязки? — сам удручался и комсомольцев упрекал Петр Евсеевич. — Ведь тут грунт государственный, государство вам и колодезь даст — ждите автоматически, а пока пейте дожди! Ваше дело — пахота почвы в границах надела.

Покидал Козьму Петр Евсеевич с некоторой скорбью, что нет у граждан воды, но и со счастьем ожидания, что, стало быть, сюда должны двигаться государственные силы и он их увидит на пути. Кроме того, Петр Евсеевич любил для испытания ослабить свой душевный покой посредством и организации малого сомнения. Это малое сомнение в государстве Петр Евсеевич выносил с собой из Козьмы вследствие безводия деревни. Дома Петр Евсеевич вынимал старую карту Австро-Венгрии и долгое время рассматривал ее в спокойном созерцании; ему дорога была не Австро-Венгрия, а очерченное границами живое государство, некий огороженный и защищенный смысл гражданской жизни.

Под картиной севастопольского сражения, которая украшала теплое, устойчивое жилище Петра Евсеевича, висела популярная карта единого Советского Союза. Здесь Петр Евсеевич наблюдал уже более озабоченно: его беспокоила незыблемость линии границ. Но что такое граница? Это замерший фронт живого и верного войска, за спиною которого мирно вздыхает согбенный труд.

В труде есть смирение расточаемой жизни, но зато эта истраченная жизнь скопляется в виде государства — и его надо любить нераздельной любовью, потому что именно в государстве неприкосновенно хранится жизнь живущих и погибших людей. Здания, сады и железные дороги — что это иное, как не запечатленная надолго кратковременная трудовая жизнь? Поэтому Петр Евсеевич правильно полагал, что сочувствовать надо не преходящим гражданам, но их делу, затвердевшему в образе государства. Тем более необходимо было беречь всякий труд, обратившийся в общее тело государства.

«Нет ли птиц на просе? — с волнением вспоминал Петр Евсеевич. — Поклюют молодые зернышки, чем тогда кормиться населению?»

Петр Евсеевич поспешно удалялся на просяное поле и, действительно, заставал там питающихся птиц.

«И что же это делается, господи боже ты мой? Что ж тут цело будет, раз никакому добру покоя нет? Замучили меня эти стихии

— то дожди, то жажда, то воробьи, то поезда останавливаются! Как государство-то живет против этого? А люди еще обижаются на страну: разве они граждане? Они потомки орды!»

Согнав птиц с проса, Петр Евсеевич замечал под ногами ослабевшего червя, не сумевшего уйти вслед за влагой в глубину земли.

«Этот еще тоже существует — почву гложет! — сердился Петр Евсеевич. — Без него ведь никак в государстве не обойдешься!» — и Петр Евсеевич давил червя насмерть: пусть он теперь живет в вечности, а не в истории человечества, здесь и так тесно.

В начале ночи Петр Евсеевич возвращался на свою квартиру. Воробьи тоже теперь угомонились и жрать на просо не придут; а за ночь зернышки в колосьях более созреют и окрепнут — завтра их выклевать будет уже трудней. С этим успокоительным размышлением Петр Евсеевич подъедал крошки утреннего завтрака и преклонял голову ко сну, но заснуть никак не мог: ему начинало что-нибудь чудиться и представляться; он прислушивался — и слышал движение мышей в кооперативах, а сторожа сидят в чайных и следят за действием радио, не доверяя ему от радости; где-нибудь в редко посещаемой степи кулаки сейчас гонятся за селькором, и одинокий государственный человек падает без сил от ударов толстой силы, подобно тому, как от неуравновешенной бури замертво ложится на полях хлеб жизни.

Но память милосердна — Петр Евсеевич вспомнил, что близ Урала или в Сибири — он читал в газете — начат возведением мощный завод сложных молотилок, и на этом воспоминании Петр Евсеевич потерял сознание.

А утром мимо его окон проходили на работу старики-кровельщики, нес материал на плече стекольщик, и кооперативная телега везла говядину; Петр Евсеевич сидел, как бы пригорюнившись, но сам наслаждался тишиной государства и манерами трудящихся людей. Вон пошел в потребительскую пекарню смирный, молчаливый старичишка Терморезов; он ежедневно покупает себе на завтрак булочку, а затем уходит трудиться в сарай Копромсоюза, где изготовляются веревки из пеньки для нужд крестьянства.

Разутая девочка тянула за веревку козла — пастись на задних дворах: лицо козла, с бородкой и желтыми глазами, походило на дьявола, однако его допускали есть траву на территории, значит, козел был тоже важен.

«Пускай и козел будет, — думал Петр Евсеевич. — Его можно числить младшим бычком».

Дверь в жилище отворилась, и явился знакомый крестьянин — Леонид из Козьмы.

— Здравствуй, Петр Евсеевич, — сказал Леонид. — Вчерашний день тебе бы у нас обождать, а ты поспешил на квартиру…

Петр Евсеевич озадачился и почувствовал испуг.

— А что такое вышло? А? Деревня-то цела, на месте? Я видел, как один нищий окурок бросал, не спалил ли он имущество?..

— От окурка-то деревня вполне сохранилась… А — только что ты вышел — с другого конца два воза едут, а сзади экипаж, и в нем старик. Старик говорит: «Граждане, а не нужна ли вам глубокая вода?» Мы говорим: «Нужна, только достать ее у нас мочи нет». А старик сообщает: «Ладно, я — профессор от государства и вам достану воду из материнского пласта». Старик поночевал и уехал, а два техника с инструментом остались и начали почву щупать внутрь. Теперь мы, Петр Евсеевич, считай, будем с питьем. За это я тебе корчажку молока завез: если б не ты, мы либо рыли зря, либо не пивши сидели, а ты ходил и говорил: ждите движения государства, оно все предвидит. Так и вышло. Пей, Петр Евсеевич, за это наше молоко…

Петр Евсеевич сидел в разочаровании, он опять пропустил мимо себя живое государство и не заметил его чистого первоначального действия.

— Вот, — сказал он Леониду. — Вот оно приехало и выбыло. Из сухого места воду вам добудет, вот что значит оно!

— Кто же это такое? — тихо спросил Леонид.

— Кто! — отвлеченно произнес Петр Евсеевич. — Я сам не знаю кто, я только его обожаю в своем помышлении, потому что я и ты — лишь население. Теперь я все вижу, Леонид, и замру в надежде. Пускай птицы клюют просо, пускай сторожа в кооперативе на радио глядят, а мыши кушают добро, — государство внезапно грянет и туда, а нам надо жить и терпеть.

— Это верно, Петр Евсеевич, всегда до хорошего дотерпишься, когда ничего не трогаешь.

— Вот именно, Леонид! — согласился Петр Евсеевич. — Без государства ты бы молочка от коровы не пил.

— А куда ж оно делось бы? — озаботился Леонид.

— Кто же его знает куда! Может, и трава бы не росла.

— А что ж было бы?

— Почва, Леонид, главное дело — почва! А почва ведь и есть государственная территория, а территории тогда бы и не имелось! Где ж бы твоей траве поспеть было? В безвестном месте она не растет — ей требуется территория и землеустройство. В африканской Сахаре вон нету государства, и в Ледовитом океане нет, от этого там и не растет ничего: песок, жара да мертвые льды!

— Позор таким местам! — твердо ответил Леонид и сразу смолк, а потом добавил обыкновенным человеческим голосом: — Приходи к нам, Петр Евсеевич, без тебя нам кого-то не хватает.

— Были бы вы строгими гражданами, тогда бы вам всего хватило, — сказал Петр Евсеевич.

Леонид вспомнил, что воды в Козьме еще нет, и напился из ведра Петра Евсеевича в запас желудка.

После отъезда крестьянина Петр Евсеевич попробовал подаренного молока и пошел ходить среди города. Он щупал на ходу кирпич домов, гладил заборы, а то, что недостижимо ощущению, благодарно созерцал. Быть может, люди, что творили эти кирпичи и заборы, уже умерли от старости и от истощения труда, но зато от их тела остались кирпичи и доски — предметы, которые составляют сумму и вещество государства. Петр Евсеевич давно открыл для своей радости, что государство — полезное дело погибшего, а также живущего, но трудящегося населения; без произведения государства население умирало бы бессмысленно.

В конце пути Петр Евсеевич нечаянно зашел на вокзал, — он не особо доверял железной дороге, слыша оттуда тревожные гудки паровозов. И сразу же Петр Евсеевич возмутился: в зале третьего класса один мальчик топил печку казенными дровами, несмотря на лето.

— Ты что, гадина, топливо жгешь? — спросил Петр Евсеевич.

Мальчик не обиделся, он привык к своей жизни.

— Мне велели, — сказал он. — Я за это на станции ночую.

Петр Евсеевич не мог подумать, в чем тут дело, отчего летом требуется нагрев печей. Здесь сам мальчик помог Петру Евсеевичу рассеяться от недоразумения: на станции были залежи гнилых шпал. Чтобы их не вывозить, велено было сжечь в печках помещений, а тепло выпустить в двери.

— Дай мне, дядь, копейки две! — попросил после рассказа мальчик.

Просил он со стыдом, но без уважения к Петру Евсеевичу. Для Петра же Евсеевича дело было не в двух копейках, а в месте, которое занимал этот мальчик в государстве: необходим ли он? Такая мысль уже начинала мучить Петра Евсеевича. Мальчик неохотно сообщил ему, что в деревне у него живут мать и сестры-девки, а едят одну картошку. Мать ему сказала: «Поезжай куда-нибудь, может быть, ты себе жизнь где-нибудь найдешь. Что ж ты будешь с нами страдать, — я ведь тебя люблю». Она дала сыну кусок хлеба, который заняла на хуторах, а должно быть, врет — ходила побираться. Мальчик взял хлеб, вышел на разъезд и залез в пустой вагон. С тех пор он и ездит: был в Ленинграде, в Твери, в Москве и Торжке, а теперь — тут. Нигде ему не дают работы, говоря: в нем силы мало и без него много круглых сирот.

— Что ж ты будешь делать теперь? — спрашивал его Петр Евсеевич. — Тебе надо жить и ожидать, пока государство на тебя оглянется.

— Ждать нельзя, — ответил мальчик. — Скоро зима настанет, я боюсь тогда умереть. Летом и то помирают. Я в Лихославле видел, — один в ящик с сором лег спать и там умер.

— А к матери ты не хочешь ехать?

— Нет. Там есть нечего, сестер много, — они рябые, их мужики замуж не берут.

— Что ж им своевременно оспу не привили? Ведь фельдшера на казенный счет ее прививают?

— Не знаю, — сказал мальчик равнодушно.

— Ты вот не знаешь, — раздраженно заявил Петр Евсеевич, — а вот теперь о тебе заботься! Во всем виновато твое семейство: государство ведь бесплатно прививает оспу. Привили бы ее твоим сестрам, когда нужно было, и сестры бы замужем давно были, и тебе бы место дома нашлось! А раз вы не хотите жить по государству — вот и ходите по железным дорогам. Сами вы во всем виноваты — так пойди матери и скажи! Какие же я тебе две копейки после этого дам? Никогда не дам! Надо, гражданин, оспу вовремя прививать, чтоб потом не шататься по путям и не ездить бесплатно в поездах!

Мальчик молчал. Петр Евсеевич оставил его одного, не жалея больше виноватого.

Дома он нашел повестку: явиться завтрашний день на биржу труда для очередной перерегистрации, — там Петр Евсеевич состоял безработным по союзу совторгслужащих и любил туда являться, чувствуя себя служащим государству в этом учреждении.

Война

1

Ночной ветер ревел над поблекшей осенней природой. Он шевелил лужи и не давал остынуть грязи. Хорошее узкое шоссе вело на холм, а по сторонам дороги была та безлюдная унылая глушь, какая бывает в русском уезде. День еще не совсем кончился, но дикий ветер нагонял сон и тоску.

Поэтому в усадьбе на холме уже горел огонь — это оружие тепла и уюта против сырой тьмы, гонимой ветром с моря.

По шоссе проехал маленький автомобиль «Татра». В нем сидел одинокий человек. Он небрежно держал баранку руля левой рукой, а правой помахивал в такт своим рассуждениям.

Вероятно, он забывал ногой нажимать на газ машина шла тихо. Только поэтому она и не свалилась в сточную канаву, так как человек иногда и левую руку снимал с руля, резким жестом — обеими руками — подтверждая свою невидимую мысль.

Навстречу мотору росли освещенные окна большого особняка, а с половины холма виднелись сырые поля, фермы, трубы фабрик — целая страна, занятая сейчас скорбной непогодой.

Пассажир автомобиля въехал прямо в открытый гараж и повалил подножкой машины ведро с водой.

Потушив машину, человек пошел в дом и начал звонить. Ему никто не вышел отворять, потому что дверь была открыта, а звонок не действовал.

— Так-с! — сказал человек и догадался войти в незапертую дверь.

Большие комнаты жили пустыми, но все были сильно освещены. Назначение дома поэтому нельзя было определить: либо это зимнее помещение для обучения велосипедной езде, либо здесь жила семья, не оборудованная для жизни в таком солидном особняке.

Последняя дверь, в которую вошел приезжий, вела в жилую комнату. Она была меньше других и пахла человеком. Однако мебели и тут недоставало: только стол и стулья вокруг него. Зато за столом сидела хозяйка — молодая русая женщина, а на столе роскошная, даже ненужная пища. Так, обыкновенно, начинает кормить себя бедный человек после длинных годов плохого питания.

Женщина ждала приехавшего. Она даже не начинала есть эти яства, лишь слегка отщипывая от них. Она хотела дождаться мужа и с ним разделить наслаждение обильной еды. Это было хорошим чувством прежней бедности: каждый кусок делить пополам.

Женщина поднялась и притронулась к мокрому мужу.

— Сергей, я ждала тебя раньше! — сказала она.

— Да, а я приехал позже! — невнимательно ответил муж.

Налетевший дождь с ветром ударил по мрачному сплошному стеклу огромного окна.

— Что это? — съежилась женщина.

— Чистая вода! — разъяснил муж и проглотил что-то с тарелки.

— Хочешь омара? — предложила жена.

— Нет, дай-ка мне соленой капустки!

Женщина с печалью глядела на мужа — ей было скучно с этим молчаливым человеком, но она любила его и обречена на терпение. Она тихо спросила, чтобы рассеять себя:

— Что тебе сказали в министерстве?

— Ничего! — сообщил муж. — Женева провалилась: американцы отмели всякое равновесие в вооружении. Это ясно: равновесие выгодно слабому, а не сильному.

— Почему? — не поняла жена.

— Потому что Америка богаче нас и хочет быть сильней! И будет! Нам важно теперь качественно опередить ее…

Женщина ничего не понимала, но не настаивала в вопросах: она знала, что муж может тогда окончательно замолчать.

Дождь свирепел и метал потоки, преграждаемые окном. В такие минуты женщине делалось жалко раскинутых по всей земле людей и грустнее вспоминалась далекая родина — такая большая и такая беззащитная от своей величины.

— А как качественно, Сережа? Вооружиться качественно, да?

Муж улыбнулся. В нем проснулась жалость к жене от робкого тона ее вопроса.

— Качественно — это значит, что Англия должна производить не броненосцы и подводные лодки и даже не аэропланы — это слишком дорого, и Америка всегда опередит нас. У ней больше денег. Значит, количественно Америка нас задавит. А нам надо ввести в средства войны другие силы, более, так сказать, изящные и дешевые, но более едкие и разрушительные. Мы просто должны открыть новые боевые средства, сильнее старых по разрушительному качеству… Теперь тебе ясно, Машенька?

— Да, вполне ясно, Сережа! Но что же это будет?

— Что? Скажем, универсальный газ, который превращает с одинаковой скоростью и силой — и человека, и землю, и металл, и даже самый воздух — в некую пустоту, в то самое, чем полна вся вселенная — в эфир. Ну, этой силой еще может быть что теперь называют сверхэлектричеством. Это — как тебе сказать? — особые токи с очень высокой частотой пульса…

Женщина молчала. Мужу захотелось обнять ее, но он сдержался и продолжал:

— Помнишь, к нам приезжал профессор Файт? Вот он работает над сверхэлектричеством для военного министерства…

— Это рыжий потный старик? — спросила жена. — У, противный такой! Что же он сделал?

— Пока умеет камни колоть на расстоянии километра. Наверное, дальше пойдет…

Супруги расстались. Муж пошел в лабораторию, занимавшую весь нижний полуподвал, а женщина села к телефону говорить с лондонскими подругами. От усадьбы до Лондона — 22 километра по счетчику автомобиля.

Оборудование лаборатории указывало, что здесь может работать химик и электротехник. Тот, кого женщина наверху называла Сергеем, здесь превращался в инженера Серденко — имя никому не известное, даже специалистам.

Если раньше инженер делал открытие, то его находила слава. У Серденко происходило наоборот — с каждым новым изобретением его имя делалось все забвеннее и бесславнее. Ни один печатный листок никогда не упоминал про работы инженера Серденко, только холодные люди из военного министерства все более охотно подписывали ему ассигновки из секретных фондов. Да еще два-три высококвалифицированных эксперта, обреченных на вечное молчание, изредка давали заключения по изобретениям Серденко.

Душа Серденко состояла из мрачной безмолвной любви к жене и обожания России — бедной и роскошной ржаной страны. Именно воображение соломенных хат на ровном пространстве, обширном, как небо, успокаивало Серденко.

— Я вас еще увижу! — говорил он себе — и этой надеждой прогонял ночную усталость.

<…>[4]

Ему давали очень жесткие короткие сроки для исполнения заданий, поэтому он успевал их выполнять только за счет сокращения сна.

Нынче тоже Серденко не собирался спать. Пустынные залы лаборатории были населены дикими существами точных и дорогих аппаратов.

Серденко сел за огромный стол, взял газету и стал размышлять. Он верил, что можно доработаться до такого газа, который будет всеобщим разрушителем. Тогда Америка, с ее миллиардами, станет бессильной. История, с ее дорогой к трудовому коллективизму, превратится в фантазию. Наконец, все кипящее несметное безумное человечество можно сразу привести к одному знаменателю — и притом к такому, к какому захочет владелец или производитель универсального газа.

Серденко чувствовал напрягающийся восторг в своем сердце и меж исполнением обычных изобретений постоянно и неутомимо думал о своей главной цели.

Что такое тот отравляющий состав, который он испытывал месяц назад? Водные источники будут отравлены, люди начнут умирать от жажды, но ведь возможно и противоядие — обратно действующее вещество! И Серденко уже сам знает его состав.

Вот профессор Файт удовлетворительно может с земли размагничивать магнето у

[4] Далее следует вычеркнутый Платоновым из рукописи фрагмент.

Конечно, он ненавидел большевиков — до жаркой духоты в сердце. И эта ненависть имела причиной не потерю какого-либо имущества в России — его у Серденко не было, — а оскорбленное чувство за изувечение светлой и своеобразной славянской души. Эта душа — верил Серденко — никогда бы не пошла по тому пути, который уже заразила конченая Европа, а нашла бы…

аэропланов. Ну и что же — магнето у моторов можно оградить от действия размагничивающих волн!

Нет! Это бег с препятствиями, а не остановка перед идеалом! Серденко же думал о другом — о боевом средстве, которому нет противника, для которого не найдешь в природе противоядия в течение первых десяти лет. А за десять лет можно окончательно смирить мир.

Ветер на дворе превратился в вихрь и штурмовал беззащитную ночную землю.

Жена инженера спала наверху на узком диване.

Серденко сидел и мечтал, не касаясь приборов.

2

Утро выжило непогоду и украсило небо цветущим солнцем. Земля отвечала сияющему небу влажной блестящей зеленью и тишиной.

К первому завтраку приехал князь Маматов.

— Сергей Петрович! Ты, брат, похудел! Что, нездоров, что ли? Ты бы помощников взял — чего ты в одиночку стараешься, — так нынче никто не работает: старый прием! А то быстро выработаются самородные недра твоего таланта!

— Я здоров, Игнатий Капитонович! — ответил Серденко. — Но мне грустно жить на чужом острове! Я на равнину хочу, где весною сирень, а осенью антоновские яблоки!

Маматов ничего не высказал. Он отвернулся к столику с папиросами и, закуривая, думал, что теперь, дескать, вы все так говорите; а где вы раньше были, когда на фронте — за каждого убитого германца — приходилось платить тремя русскими трупами? Тогда, именно, — думал Маматов, — и была посеяна революция. А теперь ее сам черт не вытравит, разве только новый английский газ, открытый русским беглым инженером!

Маматов считал, что русская интеллигенция — с ее фантастической влюбленностью в духовные ценности, с презрением к технике и материальному богатству собственного отечества — очень виновата в нынешних бедствиях родины. Германия производила инженеров, а Россия поэтов — в результате: Октябрь 1917 года. Так уверял себя Маматов. Сам он ненавидел людей отвлеченного дела и уважал людей новейшего времени, вроде Форда, Стиннеса, Муссолини и даже Ленина. Полутатарин, он не любил славян, ищущих спасения не себе, а целому миру. Маматов был очень близко связан с английским министерством иностранных дел — исключительно благодаря своему практическому уму, энергии и полной беспринципности. Последним свойством он походил на англичан, которые, как известно, обладают лишь домашней нравственностью, а в мировой политике руководствуются правилом наибольшей классовой и национальной выгоды, хотя бы для этого требовалось умерщвлять целые народы. В свое время, будучи в Париже, Маматов встретил Серденко, которого он знал немного еще по Ледяному походу Корнилова. В Париже Серденко ездил шофером на такси. Маматов имел сведения о Серденко как о выдающемся, редкой талантливости, инженере. Так его расценивал когда-то штаб Врангеля и английский военный атташе в Симферополе Бен-Товер. Своей неприступностью Перекоп во многом обязан способностям Серденко, несмотря на то, что Серденко работал там не по своей специальности — химии, а как военный инженер.

Маматов снял Серденко с такси, увез в Лондон и поставил на его прямое дело — химию. Сначала военное министерство очень осторожно финансировало опыты Серденко, но потом, когда Серденко заставил в течение суток завять и осыпаться свежий июньский парк, военное министерство включило его в список посмертных секретных специалистов. Серденко не знал, что из этого списка вычеркивают только мертвых; живых же, если они пожелают переменить Англию на другую страну, косвенным образом превращают в трупы. Маматов эту историю знал и считал ее признаком мужественной государственной мудрости англичан.

— Сергей Петрович! — обернулся Маматов. — Я за тобой. Сегодня в китайском посольстве нас ждут два китайских военных инженера…

Из усадьбы выехали три человека: жена Серденко не хотела одна оставаться дома. «Паккард» Маматова тянул так, что шоссейный гравий свистел под колесами.

В Лондоне, на набережной автомобиль остановился: толпа небогатых людей шла поперек дороги.

— Чего хотят эти люди? — спросила жена Серденко.

Муж ей ответил:

— Сегодня в Америке казнены двое рабочих. Говорят, они были невинны люди протестуют!

— Протестуй тогда и ты! — искренно сказала жена. Увезенная из России девочкой, она не могла сердечно ненавидеть большевиков, как другие, потому что не помнила их зла.

Маматов ей ответил за себя и за ее мужа:

— Нас, Мария Альбертовна, не интересует все человечество — это слишком отвлеченно, — мы привязаны только к некоторым людям: в их число не входят эти невинно казненные! — И мужчины не встали с сидений. Только шофер и Мария Альбертовна вышли из машины и стояли на ногах.

Когда поехали, Мария Альбертовна подумала, что в ее муже талант съел человека: он не имел собственной воли и своих взглядов на жизнь, зато хорошо знал фокусы с веществами природы.

У китайского посольства Серденко и Маматов расстались с Марией Альбертовной: она поехала в цирк, а мужчины в посольство. Они немного опоздали — у китайского посла уже началось совещание. Присутствовало немного англичан, совершенно неизвестных даже Маматову.

Обсуждался вопрос об отчуждении Китайско-Восточной железной дороги в полную собственность пекинского правительства. Маматов знал, что нападение уже назначено — нынешнее совещание имело лишь формальные задачи, дабы не обойти китайского посла. Главный же смысл совещания состоял в приглашении специалистов химической войны на север Китая. Маматов подумал, что присутствующие англичане, вероятно, химики из министерства авиации или что-нибудь в этом роде.

Китайский посол освещал перед присутствующими совершенно неинтересные специальные детали: протяжение Китайско-Восточной железной дороги, ее экономическое значение для Северного Китая и прочее. Маматов не слушал и писал записку Серденко:

«С. П.! Учитесь делать политику — она делает современную жизнь. Китайский идол убеждает неповинных людей, чтобы они отняли у Советской России дорогу, а консерваторы решили ее отнять две недели назад — и она будет отнята. Англичане всегда стреляют по двум зайцам и обычно попадают в обоих. Вы понимаете? Англия — я не шучу! — нынче промышленно отсталая страна. Это страна паровых машин. Ей нужна свежая страна для развития современной электрической техники. Вместе с тем мировая экономика тяготеет к берегам Тихого океана. Обоим условиям удовлетворяет Китай. Этому мешают Советы. Они начнут отстаивать Китайско-Восточную железную дорогу. После Войкова и внутренних актов белых — Советы дальше не пойдут на мировую русский народ не потерпит унижения национального достоинства. Большевики это мастерски учитывают. И Россия влипнет в войну с Китаем. Тогда — Англия сумеет отрубить ей там руки, а может быть, и голову, потому что Польша, Эстония и прочие меж двух стульев сидеть не останутся. Поняли? А вас пригласили для специальной беседы с послом, чтобы потом подороже содрать с китайского правительства за ваши выдумки. Но это дело буду вести я».

Действительно, после совещания Серденко имел особую беседу с послом и его военным атташе в присутствии Маматова. По просьбе посла Серденко рассказал ему о своих последних работах в области отравляющих веществ, в том числе об универсальном газе — пангазе, способном погасить самый тайфун, а не только бедное тело человека. Серденко несколько увлекся по своей русской привычке — он рассказывал то, что еще сам не вполне обработал, а потом для китайцев этот пангаз — излишняя роскошь — его следует беречь для защиты британских островов. Маматов не одобрял поведения Серденко, но вежливо молчал.

Китайский атташе предложил Серденко вопрос:

— В каких источниках, инженер, ваш пангаз находит свою разрушительную силу?

Серденко придумал простое объяснение — самое понятное по его мнению:

— В разнообразии природы, господин атташе! Если вы сумеете открыть или сделать два совершенно инородных тела — во всех смыслах инородных, — то между ними пойдет настолько бурный процесс уравнивающего взаимодействия, что в прилегающей среде все подвергнется коренному изменению, то есть разрушению. Как видите, это не совсем газ в химическом понимании слова!

— Да, не совсем! — соглашался китаец, продолжая разжевывать быстрые слова Серденко.

Потом Серденко уехал, а Маматов остался. Инженер не вполне понимал, зачем, собственно, его привозил сюда Маматов, но не стал особо размышлять и поехал в цирк за Марией Альбертовной, которая — для его душевного спокойствия — всегда должна находиться близко.

3

Тайный совет короля заседал второй час. Унылое равнодушие его членов скрывало под собой тревогу.

Чемберлен говорил усталым голосом, убеждая зачем-то уже давно убежденных людей. Его почти не слушали.

— У меня, джентльмены, есть только два аргумента. Они, по-моему, вполне достаточны, — тихо докладывал Чемберлен. — Первый аргумент: без плацдарма на Тихом океане путь в будущее для Англии закрыт: именно поэтому этот путь открыт для Америки и Японии. Сюда же относится то соображение, что полная техническая реформа промышленности на английском острове невозможна. Паровая техника родилась у нас — она нам дала мировое политическое могущество и экономическое благоденствие; она стала фундаментом нашего национального господства; но в нее же ушли наши капиталы, под нее приспособлены наши колоссальные сооружения. История не может не претерпевать прогресса — другие силы природы появились в распоряжении инициативного человека: электричество и химия главным образом. Но мы уже не можем сломать и заново построить нашу страну. Мы можем только найти новый плацдарм для создания вполне современной промышленности, оставив за родными островами значение умственного, административного и организационного центра. Для лучшего уяснения моей мысли разрешите краткую иллюстрацию. Под самой столицей той самой бешеной страны, которая уже потеряла свое крестное имя России и ныне именуется сложным надуманным понятием. (Ллойд Джордж с места: «Вполне точным именем!») В этом я с вами не совсем согласен, уважаемый джентльмен… Под самой Москвой есть предприятия, которые по степени оборудования, по удельной стоимости продукции стоят гораздо выше английских, потому что они построены на пятьдесят — шестьдесят лет позже. Общеизвестны также факты электрификации России.

Плацдармом для приложения нашей национальной энергии может стать на Тихом океане только Китай. Другой страны, обеспечивающей наибольший успех английских промышленных усилий, нет. Остальные страны имеют меньше экономических, естественных и географических плюсов.

Второй аргумент тесно и органически связан с первым: Советы со своего Дальнего Востока могут разложить Китай так — что он станет абсолютно неусвояемым для внешней цивилизации и невосприимчивым к ней. Это наиболее опасное состояние.

Следовательно, для успешного разрешения моего первого положения необходимо начать со второго. Точно выражаясь, для приобщения Китая к английской индустриальной и финансовой цивилизации следует сначала ликвидировать русские Советы как международную силу.

Отчетливо разбираясь в конечных балансах мировой политики, Советы недостаточно

энергично защищали себя в событии с Войковым, чем затруднили консолидацию международных цивилизованных сил.

Вопрос же с отвоеванием Китайско-Восточной железной дороги Китаем с неизбежностью влечет за собой втягивание Советов в китайские дела. Это втягивание не может иметь другой формы, как только вооруженная защита Советами имущества дороги и своего влияния на ней. Это создает причину для нашей усиленной помощи Китаю, что поведет, принимая во внимание неудобство войны для Советов на Дальнем Востоке, к поражению большевизма.

От осложнений с другими странами мы гарантированы, чтобы не сказать лучшего. Худшее предположение, что Америка займет противоположную позицию, не сулит ей ничего доброго, так как американцы лишены способности оригинального творчества и лишь копируют и продолжают наши образцы военно-химических изобретений. Оригиналы же создаются у нас. Последние данные о качественном росте наших боевых средств позволяют надеяться, что мы выйдем победителями при любом соотношении международных сил. Отныне направление истории решается не столько количеством людей, сколько техническими средствами в руках немногих одаренных личностей…

Чемберлен закончил. В результате кратких прений Министерству иностранных дел было предложено предпринять необходимые дипломатические шаги на Северном Китае, перепоручив выступления самим китайцам. Одновременно королевский совет нашел желательным усилить многообещающие работы инженера Серденко с пангазом, о чем на прошлом заседании докладывал военный министр.

После этого джентльмены выехали к очагам и каминам в собственные особняки, уважая господа-бога и день покоя, им сотворенный.

4

Каждое воскресенье в солнечное утро слесарь Отчев имел удовольствие брать за руку пятилетнего сына и идти с ним в ближний сквер. Там мальчик копался в песке, а Отчев покупал газету и погружался в воображение событий. Начинал он всегда с передовой статьи и кончал типографией, где печаталась газета. Воскресная ранняя Москва представляет явление редкой прелести. Тишина, чистота, солнце над старинными домами и одинокие автомобили с энергичной песнью моторов. Жизнь только заводится, нагнетается силой и отдыхом и не взяла еще скорости. А с подъемом часовой стрелки улицы делаются гуще, звуки механического транспорта волнуют нервы пешеходов, люди, вышедшие из дома без дела, начинают спешить и попадают в такие места, куда не стремились. Вырваться из человеческого напряженного движения труднее, чем покориться ему.

Но когда рано — Москва недействительна, и можно ощущать косность всей природы под деревом бульвара.

Отчев иногда прикрывал глаза и вдумывался в газетную фразу.

«В один непрекрасный день все может полететь к черту, а социалистическое строительство подвергнется огненному испытанию… Но империализм сгорит в том самом костре войны, который он сегодня раздувает. Будем готовы, терпеливы в труде и терпении и мужественны в битве, когда наступит решающий час».

— Да, дело будет крутое! — согласился с газетой Отчев и позвал мальчишку чай пить.

Дома жена наспех стирала детские рубашонки, чтобы успеть к десяти часам на свое делегатское собрание.

— Читаешь про войну? — спросил жену Отчев. — Ты, наверно, теперь совсем из дома пропадешь и в монахини Осоавиахима пострижешься!

— В монахини не пойду, а коммунисткой останусь! — заявила жена, улыбаясь.

— Мальчишка скучает… А мне одинаково. Только ты, когда в люди выйдешь, семью забудешь! — покорно высказался муж.

— Ты, Никанор, совсем отстал. Трудно тебе объяснить даже, по-твоему, коммунистка

— не мать и не человек…

— Где мне?! — печально отрекался Отчев от своего достоинства. — Я человек сырой, а ты дистиллированная баба… Только все ваше дело ни к чему — у них страшные газы и тучи аэропланов, а у нас одна пролетарская сознательность. Голова против молотка не устоит!..

Отчев относился насмешливо ко многим советским затеям. Работая на большом дизеле, он привык уважать мощь машины, железное могущество, а не человеческую головную сознательность. Затем он не представлял, к чему ведет это обучение женщины санитарному делу, обращению с противогазами, пальба из винтовок и прочая мелочь. Ведь война будет вестись таинственными машинами, свирепыми газами и высокими аэропланами. За каким чертом стараться быть метким стрелком, санитаркой или еще чем-нибудь? Война становится штатским делом — ее решает не столько генерал, сколько ученый и инженер. Воевать будут не армии, а заводы и лаборатории.

Начитавшись технических журналов, Отчев улыбался чудакам из Осоавиахима и отстранял себя от участия в этом липовом деле.

— Полтинник дать на аэроплан я могу — аэроплан вообще вещь, но ходить на собрания, заниматься вашим сухостойным делом я не буду!..

Так говорил Отчев всем проповедникам обороны и предпочитал играть по вечерам с сыном.

Жена ему не раз говорила:

— Смотри, Никанор! Если так будут поступать все, то в Советской России все дети останутся сиротами. Я не меньше твоего люблю сынишку и знаю, что делаю!

Отчев сердился:

— У них же техника плюс богатство и культура, чучело! Зачем я буду кулаком владеть учиться — я и так могу!

— Дурак, техникой управляет человек! Человек решит дело, а не машина! Поэтому мы готовим человека, а они машину…

— Эк ты куда всплываешь! Мы бы и рады машин и газов наготовить, да подтяжки у нас жидки! А новейшие автоматы действуют безо всякого человека, — бог даст, увидишь и почувствуешь на своей хребутине! Войну решат изобретатель и машина, а не толпа хороших людей!..

— Ну, ладно, ладно — вот посмотрим! — переставала спорить жена.

— Посмотрим! — соглашался Отчев. — Ты, Варюшка, думаешь, если кухарка управлять государством может, то и любую науку под юбку спрячет? Шалишь учиться нужно, а потом зазнаваться!

— Ладно, ладно! — не обижалась жена. — Сколько таких умников бывало в семнадцатом году, а вышло — видел как: не по-умному, а по-мудрому!

— По-мудрому? — издевался Отчев. — Дезертиров набрали да и шлепнули по пустому распутинскому месту! Вы вот теперь на ногах удержитесь, когда отрава с неба польется!..

— Устоим, Никанорушка, устоим, милый! А не устоим — и ты не зацарствуешь: в одну могилу все ляжем! — кротко говорила жена.

Отчев задумывался.

— Ясно, я тоже не чужой человек!.. Что случится — от всех не отстану и кого следует насмерть хвачу!..

5

Случилось весною — в почках наливалась теплая настойка, а в людях крепость мужества — Китайско-Восточную железную дорогу захватили пекинские чжанцзолиновские войска.

Советские представители на дороге были ликвидированы пулями. Десять тысяч вооруженных русских белогвардейцев перешли советскую границу. Пограничники, усиленные отрядами комсомольцев и коммунистов, встретили белых таким образом, что

пулеметы и винтовки их нагрелись, а тела остыли. Зато белых вступило на советскую землю уже только семь тысяч. Но кого не засекли пулеметы, тех добили советские аэропланы, они открыли белых в степи и там прикончили их бомбами.

Тогда советскую границу начали отжимать на север регулярные китайские войска.

«Бикфордов шнур войны подожжен Англией — она же первая почувствует, что на другом конце шнура — империализм. Теперь никому не удастся погасить горящую змею фронтов — теперь, наоборот, взорвется и то, что, при других условиях, мирно сотлело бы!»

Такие слова читал Отчев в центральной газете и немного скорбел от ожидания ужаса.

— Хотя черт ее знает! — утешался он. — Если не перекрошить овощ и не поджечь под ним огня — никогда супа не сваришь! Так и теперь: переварится мир еще раз на адовом пламени войны — может, и получится коммунистический навар!

Жена Варя пылала от возбуждения опасностью и втройне любила мужа и сынишку. Отчев считал, что она, наверное, собирается трогаться на войну вот и танцует меж сыном и партией: все-таки она женщина и мать, а не только пролетарский человек. Но Отчев знал, что никому не вырваться из пучины войны и сердечная жизнь людей исчезнет на долгое время.

6

22-го мая, в час заводских гудков, голубая высота Москвы мерцала солнцем, радостью и миром. Еще никому никогда не надоедало это ежедневное летнее зрелище. Но когда тихая высота запела тягучей и напряженной песнью летящих моторов — людям показалось, что эта песнь уже надоела.

Одиннадцать аэропланов стремились против невидимых с земли воздушных потоков; нежные и бесстрастные, они не грозили, а торжествовали.

С аэродрома Троцкого раздался залп зенитных орудий, как один подземный удар. Аэропланы не дрогнули. Дым снарядов лег тающим облаком ниже их. Сейчас же пятнадцать советских аэропланов отбыли в воздух и почти вертикально начали забирать высоту.

Одиннадцать аэропланов неизвестной страны без ответа продолжали уходить на восток, не позволяя догнать себя советским самолетам ни в скорости, ни в высоте.

Обратно советские аэропланы прибыли поздно ночью и снизились под прожекторами. Неизвестные аэропланы не оказали сопротивления и оставили пределы Советской республики.

Такие безмолвные налеты на советскую землю за последний месяц случались уже не раз, но Москву иностранные летчики посетили сегодня впервые.

Советское правительство особой нотой предупредило европейские государства, что неизвестные воздушные эскадрильи будут обстреливаться из зенитных орудий. Однако нота не помогла — воздушная разведка безымянного врага продолжалась, а европейские страны ответили через дипломатов и газеты, что им неизвестны владельцы аэропланов, парящих над советской территорией.

Советская страна была давно на ногах и отчетливо понимала необычайную тактику противника. На Дальнем Востоке, на границе Маньчжурии, уже гремела война Советского Союза с северным империалистическим Китаем. Советским республикам не столько был страшен Северный, начиненный английским снаряжением Китай, сколько трудно доставать его длинной рукой — из советских промышленных центров в пустынных глубинах Азии.

Нанкин и Шанхай были уже куплены империалистами: как только осветился Дальний Восток боевым артиллерийским огнем, так замолчали пушки Южного некогда революционного Китая. Южный Китай предпочел освободить руки Северу для борьбы с большевиками и замолк в нейтралитете.

Иногда Красной Армии, действовавшей на Дальнем Востоке, сдавались без выстрела полки китайцев. Один раз пришел под красным флагом с мертвыми офицерами бронепоезд. Это доказывало, что даже на Северном Китае существует скрытая теплота революции.

Отчев думал и говорил жене, что на днях надо ожидать войны с Польшей и Румынией.

Но жена не верила.

— Да как же так! — волновался Отчев. — Сейчас им самое милое дело: мы на Дальнем Востоке заняты, а тут бы нас и шлепнуть с запада — тогда успевай только поворачиваться!

Жена опять не соглашалась:

— Ничего ты не понимаешь! Давно бы уже нас угробили, да на тыл не надеются! Понял? Поэтому-то и пускают аэропланы без знаков — ждут, что свой народ на это скажет! Заволнуются рабочие — подождут посылать аэропланы и скажут: это не наши аппараты, а смолчат — заставят самолеты бомбы кидать! Вот увидишь — так и будет!

— Черт его знает — никто такой войны не ожидал! — вздохнул Отчев. Конечно, за каким дьяволом им выпускать армию — того и гляди большевикам сдастся — у них техника богатая! А при хорошей технике народу много не надо — офицеров хватит…

Через неделю Отчев узнал из газет, что в Англии спешно уничтожается безработица — пускаются даже старинные невыгодные предприятия и учрежден особый Королевский фонд для выдачи пособий. Рабочих же, догадавшихся о смысле такого подкупа и бунтовавших на демонстрациях, высылали из страны по новому закону в одни сутки. Профсоюзы одновременно исключали таких рабочих из состава своих членов. Поэтому революционеры выбрасывались тысячами на голодный воздух.

Жена вечером тоже прочитала это сообщение и посерела лицом.

— Теперь война будет обязательно — они не боятся народа и подкупили его!

— Вот тебе раз! — огорченно сказал Отчев. — Тогда расставаться нам придется — ведь ты на фронт сразу уйдешь?

— Да, Никанор, — подтвердила жена. — Перетерпим как-нибудь — скорей конец всему будет — тогда заживем! И так они нас томили долго: теперь по-честному вдаримся насмерть!

Из газет, однако, выходило, что революция в Европе уже началась. Безымянным аэропланам над Советским Союзом европейский пролетариат дал имя и сообразил, что это имя можно зачеркнуть только крупными буквами революции. Но пролетариат тоже раскололся — часть его срослась с буржуазией, зато другая живая половина сразу почувствовала мускулатуру в теле и голову на плечах.

Отчев усердно расспрашивал жену, что говорят ее товарищи из партии.

— Надо разгромить буржуазию — вот что говорят! — сообщала жена. — Пора кончать играть в жмурки!

В этот же вечер Отчев читал вслух жене интересную книгу — о том, как пойдет жизнь на Земле, если капитализм останется навсегда. В книге говорилось, что техника стала настолько грозной силой, что только человечное социалистическое общество может безопасно владеть ею: для капитализма же такая техника неминуемо станет средством казни угнетенных людей, а впоследствии — орудием самоубийства.

Отчев перестал читать, потому что в ночном окне засияло северное сияние.

7

Утром «Правда» писала:

> «Сегодня ночью над Москвой появились два аэроплана. Сброшенные ими бомбы дали сильные атмосферные разряды электричества. В результате зелень в столице и окрестностях завяла. Очевидно, электрические бомбы были рассчитаны на более сильный эффект, но его почему-то не получилось. Действие бомб вызвало свечение атмосферы, похожее на северное сияние. Принятыми мерами один из самолетов противника удалось повредить и снизить. Летчик и наблюдатель застрелились. Никаких документов при них не оказалось. Самолет имел оригинальную конструкцию, не позволяющую его отнести к типам, действующим в иностранных армиях. Ведется специальное исследование аппарата противника, чтобы точно установить его происхождение. Но каков бы ни был результат этих

изысканий, сомнений в имени нашего противника нет, и имя это известно всем. Запаса электрических бомб на самолете не обнаружено».

В тот же день прилетела новая эскадрилья самолетов. Москва их ждала и встретила огнем зенитных батарей и сотней советских аэропланов. Над самым Кремлем загудела пропеллерная вьюга и засверкал огонь пулеметов. Обладая высотными моторами, самолеты врага забрали почти недостижимую для прицела с земли высоту, все время уклоняясь принять атаку советских самолетов.

В два часа Москва объялась облаком тяжелого газа: вражеские самолеты в первый раз бросили газовые бомбы. Людям показалось, что даже кости в них загорелись — и всякий, вдохнувший в себя газ, лег на землю в предсмертном забвении. Более заботливые забились в подвалы, надели противогазы и кое-как терпели, но видели, что даже воздух снедается горящим чадом.

Сквозь тьму наползающего газового потопа глухо били зенитные батареи, защищая столицу от новых воздушных эскадрилий противника.

8

Маматов сообщил Серденко, что электрические снаряды Файта осрамились: они хорошо светят и плохо травят, а надо из России просто вытравить всех людей — и как можно скорее, потому что Россия переходит от обороны к нападению; люди теперь не ценны: важны естественные богатства и техническое оборудование; первое в России останется, а второго никогда не было.

Не имея времени для полного испытания своего пангаза в лаборатории, Серденко вылетел на боевом самолете в Россию, чтобы испробовать газ непосредственно на живой практике.

Маматов наговорил в военном министерстве чудеса про газ Серденко. Он обещал экстренно истребить страну этим газом — скорее, чем забастуют английские рабочие. Тогда частично можно газ применить и на английской территории. Страх же смерти сильнее классовой солидарности — в этом и есть решение всех революций. Кто владеет оружием страха и смерти — тот владеет историей и событиями.

Доводы Маматова казались убедительными — и с ним соглашались в военном министерстве.

Английские газеты не скрывали, что Россия умеет героически погибать. Все бедные средства ее напряжены, люди организованны и мужественны особенно в больших городах, — и смерть встречается с упорством и без жалобы.

Газеты приуменьшали силу обороноспособности советской страны. Они не отмечали необычайную меткость противоаэропланной артиллерии, благодаря которой иногда возвращалась лишь половина посланных самолетов. Они молчали, что много аэропланов Англии снижено советскими летчиками почти без повреждения и что авиационные английские базы в Польше, Эстонии, Литве и Финляндии пылают от советских зажигающих бомб.

Маматов считал все эти дела предисловием — он ждал известий от Серденко.

И дождался. Но только от советской прессы, а не от самого Серденко.

«Известия» писали:

«В районе Тулы снизился сбитый советским самолетом английский бомбовоз HHS. Летчик и пассажир — инженер Серденко, русский белогвардеец, захвачены живыми. При них оказались две газовые отравляющие бомбы. Институт химических исследований в Свердловске, проверивший действие найденных на HHS бомб, установил, что газ, которым заряжены бомбы, не действителен в боевом смысле. При соединении с воздухом этот газ вызывает настолько сильную отравляющую реакцию, что в первую очередь „отравляет“ себя, т. е. переходит в

> другое химическое тело, безвредное для жизни. Поэтому боевое действие газа равно нулю, а научное значение остается весьма большим. Инженер Серденко предложил свои услуги Советскому Правительству. В этом ему отказано, но жизнь его сохранена. Летчик-офицер расстрелян как бандит, ибо та страна, которую он представляет, официально не объявляла Союзу войны».

Ночью Маматов повесился в номере лондонской гостиницы и даже оставил всепрощающую записку. Таким путем английская контрразведка возместила фунты стерлингов военного министерства, потраченные на содержание и опыты инженера Серденко.

9

Советское Правительство еще не превращало войны из оборонительной в наступательную и не трогало своими армиями границ соседей. Но когда соседние страны превратились в базы английской воздушно-химической войны, когда из советских республик целыми городами вытравлялось население — надо было или нападать и спасаться, или погибать.

Только тогда Красная Армия была пущена на запад и пограничное ожерелье белых государств было смято в течение недели.

Красноармейцы, приведенные в неистовое мужество английскими способами ведения войны, шли лавой и не знали поражения. Их можно было перегнуть, но возвратить нельзя. Первая дрогнула Польша и подняла рабочее восстание в Лодзи.

Но было поздно — вслед Красной Армии бросилась спасаться вся советская страна, беспрерывно и губительно отравляемая с воздуха. Целый народ покидал родину, сбивая впереди себя враждебные страны тараном Красной Армии.

Вокруг советского потока наматывались слои разноплеменного пролетариата, только теперь понявшего то, что буржуазия хотела сделать с Советской республикой и может сделать с ними.

Так — нарастающим всемирным народом, Красная Армия, добровольцы, советские беженцы, поляки, литовцы, немцы, — Советская республика на ногах перешла Германию и преобразилась в страшную силу. Следом за людским потоком уничтожались границы и трепетало знамя рабочей революции.

Консервативное правительство Англии потеряло власть. Правительственная газета писала:

«Слишком поздно. Мы вытравили зверя революции из его клетки. Теперь он загрызет весь мир. Мы хотели лишить его 1/6 суши — он завоюет 6/6. Советы затопляют поверхность Земли, и Ламанш, отделяющий нас от большевистской стихии, свирепствующей на материке, слишком узок для безопасности. Россия растет на глазах и превращается в земную вселенную. Никакой мудрец не может сказать, что это — всемирная судьба или ошибка международной политики нашего бывшего консервативного правительства. Самая техническая слабость Советов теперь превратилась в их силу и в средство победы».

<1927>

Московское общество потребителей литературы (МОПЛ)

В Доме печати 4 марта 1927 года был оборудован беспримерный вечер:

I. ДОКЛАД ЧИТАТЕЛЯ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ тов. ИВАНА ПАВЛОВИЧА ВОИЩЕВА О КАЧЕСТВЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРОДУКЦИИ.

II. СОДОКЛАД ЧИТАТЕЛЯ тов. ФОМЫ ГЕОРГИЕВИЧА УХОВА О НЕОБХОДИМОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МОПЛа.

НА ВЕЧЕРЕ БУДУТ ДОПУЩЕНЫ ПРЕНИЯ С ВЫСТУПЛЕНИЯМИ ИЗВЕСТНЫХ

ЧИТАТЕЛЕЙ. ЕСЛИ ОСТАНЕТСЯ ВРЕМЯ, СЛОВО БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПИСАТЕЛЯМ.

ПО ОКОНЧАНИИ ВЕЧЕРА — ВЫБОРЫ ВРЕМЕННОГО БЮРО ПО ОРГАНИЗАЦИИ МОПЛа.

Будучи нечитаемым писателем и пишущим читателем, мне было опасно идти на такой вечер. Я чуял предстоящую «классовую» схватку двух социальных великанов, двух полюсов литературного космоса, а сам был желто-розовым — ни читатель, ни писатель: человек за бортом.

Но это оказалось мне на пользу: осужденный на безмолвие на диспуте, я имел возможность выслушать всех.

Вот, буквально, что я увидел и услышал (отсебятину уже выкинул редактор).

Зал был полон самыми неимоверными личностями: пришли, наконец, те спокойные люди, фамилии которых редко печатались даже на пишущей машинке, не говоря о плоских машинах или ротации. Однако, слушая их реплики, я открыл, что это сплошь умные люди. Но чем они занимаются, если ничего не пишут?

За чтение платят редко, значит, авансы и гонорары они получают за какое-то иное, и неглупое, ремесло.

Но сколько должно быть на свете ремесел, если кормится от них такой коллектив благоразумных людей?

Это и был наш читатель, как оказалось впоследствии. Вон тот толстый человек в плотном пальто, с полнокровным лицом, будто натертым огнеупорным кирпичом, оказался докладчиком И. П. Воищевым, а сосед его, все время выпрастывающий шею из воротника, есть содокладчик Ф. Г. Ухов.

Я думал, что они оба бухгалтеры, но первый оказался инженером путей сообщения, а второй — мастером токарного цеха железнодорожных мастерских.

Интеллигенция и — квалифицированный мастеровой.

Весь читательский народ расселся по стульям, а писатели пришли последними и стали у стены. Сошлись все московские знаменитости слова, но из читателей их никто в явное лицо не знал, и поэтому писатели остались стоять у стенок — им никто не предложил стульев.

В точно объявленный час началось заседание. Быстро и хорошо был избран президиум, утвержден регламент — и начало свои действия это беспримерное собрание.

Вышел докладывать И. П. Воищев:

— Граждане! Регулирование производства и потребления год от года все глубже и шире облагораживает и рационализирует нашу жизнь. Все увереннее мы съедаем свою утреннюю булку, зная, что в ней содержатся положенные 200 граммов и что на производство ее пошла надлежащая по качеству мягкая крупчатка. Все чище делается наша совесть и спокойнее наши нервы, ибо мы застрахованы и дважды перестрахованы от воровства и нечистоплотности. Мы знаем, что та же булка изготовляется чистоплотной машиной на кипяченой воде, что пекарь не чихает больше над тестом и не маникюрит в нем своих ногтей.

Но кто заставил эту грязную кухню жизни, эту алхимию производства превратиться в научную лабораторию? Кто заставил антиобщественное, по своей природе, производство, идущее по трупам к своему обогащению, стать моральным учреждением?

Ясно кто — советское государство, открывшее вольную дорогу потребительской кооперации. Потребитель, при нашем строе, действительно становится повелителем производства.

Но лишь одна область осталась вне сферы власти потребителя — это литературное искусство.

Прежде всего, что такое литература и нужна ли она нам? Я буду говорить так, как я сам понимаю, а не как меня старались научить книги.

Каждый человек хочет жить не только тем, чем он каждодневно занимается, но и всей

общечеловеческой, я бы сказал — общебиологической — жизнью, торжествующей на земле. Но, не имея практической возможности к такой фактической универсальной жизни, обыкновенный человек заменяет ее суррогатом — чтением. Если вы замените мой термин «общечеловеческой» на общеклассовый, то понятие станет более точным и современным.

Когда общество будет так устроено, что сегодня человек слесарь, завтра пилот, а послезавтра завоеватель лунной поверхности, когда вся его мускулатура, все волокна мозга будут трепетать от труда, тревоги, опасности, впечатлений, творчества и счастья, — тогда я брошу книгу, но мы — деловые люди: если сегодня нам недоступна вся девственность, вся свежесть, все, так сказать, разнотравие жизни — мы пользуемся суррогатом всего этого пока недоступного добра.

Но точно ли хорошо современная книжка дает нам нужный суррогат недоступной жизни? Не дает ли нам книжка сухостойное дерево, вместо влажного и зеленого?

Возьмем примеры, что вспомним. Вот — «Красная новь», солидный журнал для интеллигентов. Я интеллигент, я всю жизнь читаю. В этом журнале много месяцев печатается роман Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». Возьмем другое и непохожее с виду — «Чертухинский балакирь» Клычкова из «Нового мира», возьмем «Цемент» Гладкова, рассказы и повести Сейфуллиной, рассказы Бабеля, сочинения Пантелеймона Романова и почти всех прочих писателей. Я не мудрый по этому делу, но мне кажется, что если я занимаюсь постройкой железнодорожных мостов и заведую верхним строением пути, то литература должна заниматься человеком. А литература сейчас занимается не человеком, не антропосом, а человекоподобным, антропоидом, если позволите…

Тут Иван Палыч попил водицы, улыбнулся, прохаркнулся и пошел дальше.

— Берет писатель чудо-человека и начинает его вращать: получается сочинение. Но никак не заметит, что его человек не чудо, не жизнь, а урод, белый мозг и ситцевая кровь. Нам же нужен настоящий человек, то есть глубокий, — человек, душа, характер, мученик подвига, мозга и сердца, или дневной обыденности, — нечто искреннее и действительное, иначе ведь не бывает. Да все это известно вам… Я хочу сказать, что читать мы все равно будем, как все равно будем есть. Я из тех, кто старые метрики из-под селедок в девятнадцатом году читал. Но зачем нам читать сейчас то, что нехорошо написано, — не едим же мы сейчас черных лепешек от вокзальных баб, почему же мы, читатели-потребители, не организуем гигиенического и сытного хлебозавода в литературе?..

Дайте нам есть то, на что тянет наш желудок, — долой черные пышки-лепешки! Долой вокзальных баб в литературе! Я еще, граждане, не остановился на литературе еженедельных и двухнедельных журналов. Но там, за редчайшим исключением, сплошная бледная немочь, там просто хлеб печется из мела на известковых дрожжах… А вообще все мы прикованы к нынешней литературе не чувством очарования, а любопытством к чужому позору.

Затем, вам известно, что многие честные писатели сами поднимали вопрос о реформе литературы. Но, естественно, из этого не вышло ничего доброго. Только читательская потребительская кооперация способна произвести революцию в литературе — больше никто.

Здесь И. П. Воищев сел. Читатели начали ему аплодировать. Писатели нахмурились.

Прения решили открыть после слушания содоклада Ф. Г. Ухова. Вышел токарный мастер.

— Товарищи-читатели! Иван Палыч чисто сказал, но не поставил своего слова ребром: до каких пор нам есть цигарки в хлебе, ловить конский волос во щах и вытаскивать глистов из колбасы, — иначе сказать, долой глупое, желтое и неинтересное чтение! Нам нужен писатель — умный и душевный парень. Я требую пользы и доброты от чтения, а мне дают пудру и пыль: прочтешь и ничего не упомнишь, как ветром сдуло! А почему же я Пушкина и Гоголя помню?

Короче говоря, если писатели не хотят писать, чтобы нам интересно и увлекательно было, чтобы я, когда хочу выругать жену, — вспомнил книгу — и не выругал, если граждане писатели этого дела не хотят, то тогда мы сами будем писать, тогда читатель станет

писателем, а теперешним писателям мы объявим бойкот: пусть тогда читают читательские сочинения!

Как все устроить практически? А так: мы, читатели, должны организовать Читательский Потребительский Союз, этот Союз будет и нашим издательством, таким образом, мы сами будем издавать для себя книжки, и будем издавать только то, что нам нужно и что по качеству доброе. Согласны, граждане читатели?

— Согласны! — крикнуло собрание.

— Тогда приступим к прениям.

Слова попросил Маяковский, но ему отказали: не читатель, после скажешь, и так много наговорил! Стань опять к стене!

Выступавшие ораторы-читатели украшали речи докладчиков совершенно неизвестными фактами и предложениями.

Но все были согласны с докладами.

Некто С. П. Маховицын сказал:

— Граждане! Я вот вам прочту сейчас стихи одного поэта, которого читает моя дочка. Этот поэт и сейчас жив и все пишет и пишет. Вы вот послушайте и тогда скажете, сколь это разумно:

Шел дождь.
Полз червь.
Твердь из сырости свивала вервь.

А вот еще:

Бежал в испуге пес голодный;
Яички к животу прижал.
Все человечество есть сон уродов —
И пес рыдал…

Следующим выступал какой-то изобретатель сернокислого сероводорода по фамилии Пугавкин.

— Чепуху прочел т. Маховицын, и недоказательную чепуху. Но литература сама по себе чепуха и не требует опровержения другой чепухой. Предлагаю, ввиду чрезвычайной ответственности жить — все силы обратить на активную жизнь, а созерцательную литературную чепуху ликвидировать немедленно… Иначе нас врасплох захватит космическая катастрофа…

Оратор Чернецов определил литературу как свойство организма, а потому как неизбежное зло, следует только это дело нормировать, механизировать и сделать таким же плавным и спокойным, как сердцебиение.

Читатели исчерпали список ораторов. Дали слово писателям. Вышел Маяковский.

— Половина моих произведений — это сочинения умного человека о дураках. Но, побывав у вас, я сожалею, что не все мои произведения посвящены дуракам. Более горьких идолов, чем вы, я еще не видал. Чудаки! Ничего вы не сделаете, даже рекламу о вашем МОПЛе сами не напишете, а меня позовете, и я вам, конечно, удружу это за два рубля со строчки.

Но зачем я так хорошо писал всю жизнь? Зачем я трудился для таких иностранцев? И как вы не урчите, а без нас не продышите! Хотите, я вам сейчас одно свое стихотвореньице прочту? Очень хороший стишок!..

Тут из читательской среды крикнули: брось, сядь, знаем — о хулиганах, о призыве, о борьбе с пьянством, — знаем тебя, халтурщик, сапожник собственной жизни!

Маяковский показал кулак и отошел от греха.

Выходили еще кое-кто, но жалко о них писать: их просто сплюнули с трибуны.

Маяковский хоть ругаться и презирать умеет (он 150 000 000 людей насильно ущучил к себе!), а эти, кажется, заплакали от обиды.

Вот он, читатель-то! Теперь держись, сочинитель! Загодя иди в МОПЛ делопроизводителем! Хотя писатель, по части финансов, не дурень-парень и я потихоньку надеюсь, что он превратит этот МОПЛ в Московское общество помощи литераторам-лодырям.

<1927>

Надлежащие мероприятия

Циркуляр гласил нижеследующее:

> «Приближающуюся 10-ти летнюю годовщину Великой Октябрьской Революции, как Всемирно-Историческое Событие, надлежит ознаменовать соответствующими надлежащими мероприятиями. Не внося предварительных предложений и не предрешая форм необходимых мероприятий, мы всецело предоставляем изыскание таковых форм инициативе служащих масс вверенного нам ведомства; однако предложения должны быть завизированы завами соответствующих отделов, в котором сотрудник, вносящий предложение, числится по штату, и затем передана Нач. АФУ для систематизации и передан мне на утверждение.
>
> Пред. Управления Электрофлюидсиндиката Ф. Кроев.
>
> Нач. АФУ И. Месмерийский.
>
> Зав. Орг. Отд. Завын-Дувайло».

Служащие массы, получив под личные расписки текст цирку-ляра, одновременно задумались. Многие тотчас же рапортовали, что их мышление вращается в кругу мероприятий, предусмотренных операционным планом на 1927-8 год, а так как в плане 10-летний юбилей Октября не обозначен, то и мысль невозможно направить по линии внепланового задания, а посему нижеподписавшиеся не имеют предложений.

Но и иные служащие, принятые вне биржи труда, озаботились и стали вносить предложения, чтобы уцепиться на служебных постах.

Сначала почти все инициаторы посетили товарища Завын-Дувайло на предмет справки: подлежат ли предложения оплате установленным гербовым сбором или нет, а также — на скольких страницах допустимо писать предложения.

Получив точные разъяснения, инициативные служащие сели писать — конечно, дома, чтобы не занимать служебного времени.

Через 2 недели, к указанному в циркуляре сроку, тов. Месмерийский приступил к предварительной читке поступивших предложений. Некоторые из них он дал мне — «для отжатия смысла и составления оценочного резюме», как указал мне тов. Месмерийский.

В порядке поступления я публикую некоторые предложения для получения их гласного одобрения. Эти предложения я сократил отжав смысл из бумажных пространств и выбросив революционные трюизмы, неизбежно предшествовавшие каждому предложению (как будто их составители были на заметке у ГПУ и усердно реабилитировали себя).

> «…Сосчитавши героев Октября, я подвел итог и у меня вышло 147 человек, что для 1/6 части мирового пространства обидно мало. А потому, а также вследствие. я был бы рад, если бы соответ-ствующие ведомства, напр. Наркомвнудел, ЦСУ, Наркомвоенмор и др., завели книги учета выдающихся деятелей революции по всем советским линиям. дабы в будущем составить единый том с перечнем всех героев и утвердить его вышестоящей инстанцией. Затем том героев опубликовать вместе с фотографиями и факсимиле — для всеобщего почитания трудящимися массами. Такой труд был бы великим достижением

наряду с Днепростроем и прочими гигантскими масштабами.

Секретарь общего п/отдела Орготдела Адм. — Фин. Управления Е. С. Несваринов».

«…Товарищ Никандров, будучи чистым Новороссийским пролетарием, до подобия похож на великого вождя В. И. Ленина. Эта косвенная причина послужила обстоятельством для его игры в знаменитой картине „Октябрь“ режиссера туманных картин т. Эйзенштейна. Имея в виду необходимость широкого ознакомления пролетариата с образом скончавшегося вождя, а мавзолей в Москве не может обслужить всех заинтересованных, я предлагаю. учредить особый походный мавзолей, где бы тов. Никандров демонстрировал свою личность и тем восполнял существенный культурный пробел. От сего трудовой энтузиазм и преданное рвение в народе возвысятся и поездки тов. Никандрова самоокупятся.

Делопроизводитель Отдела заказов Х. Вантунг».

«…Особым торжественным законодательным актом организо-вать на пространстве Союза 10 революционных заповедников, в коих бы и собрать атрибуты и живых участников великих событии — для вечного показа потомкам и поучения их. Следовало бы открыть такие ревзаповедники на Перекопе, в Самаре, Ярославле, в Донских пунктах; в Ленинграде и прочих местах обширного соцотечества. Атрибуты и живые участники должны состоять в нетронутом и естественно — героическом покое.

Зав. п/отделом ликвидации убытков Ф. Арчаков».

«…Срочно организовать всесоюзную архивную кампанию, с целью отыскания замечательных документов эпохи, с последующим преподанием их публике в напечатанном систематическом виде. Для успешного проведения кампании привлечь учащихся, красно-армейцев и безработных, а также комсомольцев в их, имеющий в виду быть, субботник.

Старш. архивариус синдиката Родион Маврин».

«…Художественно начертить схему диктатуры пролетариата — от председателя Всесоюзного Съезда Советов вплоть до батрака и лесоруба. Заключенных же, беспризорных и частников связать с общей схемой пунктиром. Схему выставить на радиомачте станции Коминтерна и осветить прожектором со склада Синдиката.

Чертежник Проектбюро Ч. Плюрт».

«…Всем союзным женщинам надо сшить по одной варежке беспризорным, только сговориться, чтобы они не пришлись на одну руку.

Машинистка О. Становая».

«…Добиться всесоюзного радостного единодушия, посредством испускания радиоволн, и организовать взрывы счастья, с интервалами для заслушивания итоговых отчетов.

Счетовод А. Зверев».

«…Спеть одновременно под открытым небом всем Союзом Социалистических Народов Интернационал — в полтораста миллионов голосов с

лишним. Я полагаю, его услышат даже китайцы и лорд Чемберлен. Пускай это будет обедня Всемирной революции и задрожат анафемы капитала.

Кассир Г. Л. Латыгин, быв. комроты Туркестанской Краснознаменной дивизии особого назначения».

«…Раньше бывало ходят так называемые божьи странники: висит у них на животе кружка, на кружке живописная картинка, а в кружку кладут пятаки и любую разменную монету — по желанию. Так и строились Кафедеральные соборы. Так нужно и теперь. Надо раздать кружки нашей полухулиганящей молодежи, над кружкой поместить четкие чертежи Днепростроя и Волго-Дона с перспективой экономического благополучия и пустить молодцов по советским странам. Через год — к 11 летию — мы бы одной меди набрали на индустриализацию миллионов триста.

Инструктор межрайонной торговой периферии синдиката И. Жолнеркевич».

«…Энергию крымских и всяких прочих землетрясений употребить для неотложной электрификации тех же мест.

Лифтер Порежин».

«…Вывесить загодя высокий флаг, а ходить по грязям толпой не нужно. Пущай люди лежа полежат хоть в десятый год.

Рассыльный М. Крестинин».

Эти и прочие мероприятия, надлежаще сведенные мною в единое и общее целое, пошли к тов. Месмерийскому.

Означенный начальник ознакомился с папкой предложений лишь как с вещью, а не как с содержанием смысла, и выразился общей резолюцией.

«Пред. Правления Синдиката. Для непосредственного соответствующего распоряжения, т. к. дело относится к политическим мероприятиям».

Предправления тов. Кроев продержал папку четыре недели и так и не мог ее прочитать — от занятости текущими делами.

Начал падать снег — приближался Ноябрь вместе с годовщиной.

Тов. Месмерийский направил меня к тов. Кроеву — для напоминания о праздничных мероприятиях.

Через 2 дня я был принят и заявил у стола председателя:

— Тов. Кроев, прочитайте всю массу предложений — там есть существенные мероприятия…

— Да? — спросил Кроев, удивившись, что его сотрудники могут предлагать что-то существенное. — Что же, сделаем что-нибудь… Я, знаете ли, уже читал предложения. Что, не ожидали? Прочитал. Все мероприятия стоят миллиард — я прикидывал. Взять из них одно — рассыльного: вывесить флаг… Надо попостней, чтобы вышло поэкономней… Вот. А папку возьмете — отдайте в архив…

Затем папка с исходящих номеров вошла через входящий журнал в архив — к тов. Р. Маврину. Тот ее аккуратно занумеровал большим номером вечного покойника и положил в отдел «Оргмероприятия». При составлении ведомости достижений Синдиката к 10-й годовщине Октября — работа архивариуса была надлежаще учтена в графе «Нагрузка аппарата»: 20000 дел плюс одно.

Дикое место

[текст отсутствует]

Андрей Платонов, Борис Пильняк

Че-Че-О
(Областные организационно-философские очерки)

Пишут, что хорошо выезжать из Москвы, потому что, дескать, сразу окунешься, во-первых, в травяную русскую природу, отдыхая душой, а во-вторых, в советские массы, в строительство. Хотя писатели и пишут всегда о том, чего с них не спрашивают, тем не менее слово печатное уважать надо: и мы поехали в город Воронеж на предмет изучения бюрократизма ЦЧО и ознакомления с массами, поселились за тремя окошками с палисадником и с цветами на подоконниках, известными от детства и с детства не имеющими имени. На окне у нашего хозяина, кроме цветов, помещался еще всесоюзный дьячок, как называют здесь радио за хрипоту его и поучительность. Хозяин наш Федор Федорович каждое утро уходил к себе в железнодорожные мастерские, а мы изучали, взяв предпочтительно в поле зрения нашего людей, а не учреждения, дабы не быть оглушенными гулом мероприятий, придерживаясь, при изучении материала, статистических принципов. Надо объяснить заглавие организационно-философских наших очерков. Были мы, изучали мы в ЦЧО, в Центрально-Черноземной области, вновь организующейся. Це-Че-О по воронежскому говору выговорить трудно, — говорят ЧЕ-ЧЕ-О.

Город и историю его мы изучали пешком. Все вывески, где раньше было «губ», теперь перекрашены на «обл».

А пешком мы ходили по следующей причине. Трамваев в городе штук одиннадцать примерно, на три городских маршрута. У посадок в трамвай всегда суетятся, сесть все не успевают, а трамваи ходят полупустыми. Трамваи — совершенно как в Москве, только разница в букве В: ВКХ — вместо МКХ. На одиннадцать трамваев имеется двадцать семь человек контролеров — девять человек от ГЖД, остальные от горсовета и прочих учреждений. В каждом вагоне едет не менее двух контролеров, кондуктор — обязательно — милиционер, как бесплатное приложение контролеру и кондуктору, управляющееся, в благодарность за провоз, со злостным пассажиром. Предпочитали мы ходить пешком не потому, что не испытывали затруднений от воронежских концов, где массы населения перебрасываются трамваями, но потому, что твердо установили, что со стороны ГЖД, Горсовета, Адмотдела и прочих организаций предпринято, в сущности, все, чтобы сделать поездки людей жизнеопасными и чреватыми экономическими последствиями, то есть приводами в милицию, штрафами и прочими ущербами для личности. Мы рассчитали статистически: московские трамвайные порядки усвоены Воронежем в кровь, но жителей в Москве больше в двадцать пять раз, трамваев — в сто раз, — и Воронежцам осталось только трамвайно-административная энергия в количественном московском масштабе: число ежедневно — трамвайно-наказуемых в Воронеже равно московскому числу, — и очень редко поэтому можно проехать в воронежском трамвае, недополучив к билету особой квитанции об уплате штрафа, либо протокола, либо нравственного оскорбления.

Мы уже приступили к исследованию основной нашей темы о бюрократизме «Наши не хуже ваших».

Этим и объясняются свалки на остановках: кроме трамвайного надзора за собою, туземное население, полюбив административное благочиние, само помогает контролерам вылавливать трамвайных вредителей и добровольно устраивает давки на остановках, стоя на страже трамвайной законности.

Изучая принципы бюрократической давки, установили мы новую, раньше не бывшую здесь особенность — носить мужчинам бакенбарды. Бакенбард в Воронеже много, и все они с портфелями. Причина возникновения бакенбард необъяснима, но вид их очень напряжен.

Федор Федорович, рабочий-ветеран железнодорожных мастерских, философ и наш хозяин сказывал нам, будто в газете было воззвание Обл-совета Физкультуры: «За советскую бакенбарду? Опрятная наружность есть символ идеологической устойчивости! Физкультурник, будь впереди? За новую наружность! За нового человека?»

Было ли такое воззвание или не было — это на совести Федора Федоровича, — Федор Федорович любит говорить иносказательно. Мы же, при нашем изучении, обследуя газеты, ничего такого там не нашли. Нашли лишь снимки будущего здания облисполкома, будущего облпрофсовета и прочих будущих емких помещений. Мы рассматривали внимательно фотографии: нет ли в будущих камнях будущей областной архитектурной стойкости либо отпечатков будущего ума и организационного умения? Затем в газете напечатаны были портреты туземно-областных вождей, карта нашей области и заметка об аржанской фабрике грубых сукон, расположенной в Тамбовской губернии и напечатанной исключительно ради областных масштабов. Больше ничего туземного в газете не было. Отмечалось подробно выступление тов. Терен-тьева в споре с архиереем. Тов. Терентьев выполнял в областном масштабе то, что тов. Ярославский делает во всесоюзном, а тов. Вольтер делал во всемирном. В остальном газета следовала Вольтеру, занимаясь всемирно-историческими вопросами, давая искренние советы французам, англичанам и китайцам и сожалея, что впредь бывшие ее советы не приняты впрок этими странами. Судя по карте области, напечатанной в газете, область эта, по поводу которой в газете отмечены будущие здания и спор с архиереем, — размером много больше, чем Британские острова. Федор Федорович, иносказательный человек, молвил однажды:

— Как вы думаете, приезжие люди, как надо устроить, чтобы на месте, где два колоса растут, три выросли бы? Ну и как поступать, ежели колосьев по-прежнему два?

Мы бросили внешнее изучение облгорода, потому что первым делом мы видели всегдашнюю воронежскую пыль, переулки, свиней — обыкновенное среднерусское устройство оседлости, — и дома стояли совершенно так же, как и в губернском отношении. На подоконниках цвели герани. Бакенбарды возвращались со службы, обедали и возвращались на службу, на вечерние заседания, а после них ели на бульваре мороженое у отходников из воронежских деревень. Книжная воронежская история интересовала нас мало, по причинам нашего уважения к предмету и краткости пребывания, хотя самой истории в городе мало. Отметим лишь странное обстоятельство этого черноземного города — именно то, что Воронеж есть колыбель русского морского флота, обстоятельство очень поучительное для российской истории и очень характерное. Проходит тут видная от Митрофаньевского монастыря древняя дорога из Варяг в Греки — Калмиюсская Сакма, обстоятельство для нас не особо важное, ибо нечего поминать нам о варягах. Было в этих местах много разных святых, один из них, Тихон Задонский, был даже приятелем русской литературы, — приятельствовал с Федором Михайловичем Достоевским, — но и это неважно нам. Существенно отметить — опять о Петре: превратив степной город Воронеж в Российский Амстердам, именно отсюда Петр людьми и приспособлениями начал водный канал, который должен был соединить Дон с Окаю (Епифаньские шлюзы живы были до 1910 г.) — Епи-фаньские эти шлюзы суть прародителя ныне, через двести лет после них роемого Волга-Дона. Вот и все исторические справки. Пыль черноземная и пыль истории — вещи ни с чем не сравнимые. Еще задолго до европейской войны, несмотря на плодородие почвы, крестьянство Воронежской губернии и соседних с нею начало быстро беднеть, поставляя отходников в города и в Донбасс. Сельское хозяйство императоров завело крестьян в тупик, требовало крупной социальной и технической реорганизации. Столыпин тогда давал деревенской верхушке исход на хутора: остальное крестьянство нашло себе выход в революции.

Наш сосед и друг Федора Федоровича, Филипп Павлович, сам бывший крестьянин, ныне электромонтер, рассуждает:

— Исход крестьянам найден правильный — коллективы. Прямо надо заочно считать, что от удачи коллективов зависит спасение деревни, и спешить с этим необходимо надо,

прямо надо сказать: положение деревни теперь бедовое. Коллективы по деревням нам сейчас нужнее Днепростроя. Не удадутся коллективы — мужик будет спасаться в одиночку, иначе сказать, пойдет по кулацкой дороге. Каждый трудящийся есть хочет. Государство должно всякому питанию помогать, и чтобы это содействие не буксовало на бумаге, как колесо на рельсе. А опасения от переусердия уже имеются, — я ведь далеко вижу. Колхозоцентр уже трудится, а кроме него — сосчитаем про себя — волостные, уездные, губернские, областные, разные там органы норовят влипнуть в колхозное строительство, — и все хотят руководить, указать, увязать, согласовать, проработать, проинструктировать, подтянуть и проутюжить. Главное руководство, я полагаю, заключается в том, чтобы не мешать безвыходному желанию мужиков к устройству своей судьбы через коллективы, — я сам мужик, я-то себя знаю. Что нужно деревне? — в первую очередь нужны землеустройство, мелиорация и огнестойкое строительство. Агрономия, я так полагаю, — очередь вторая, особенно по теперешнему времени, когда участковый агроном еще кое-как усердствует, — а что выше участкового, — так те совсем не нужны, они все разъезжают междуведомственно, согласуют будущее и к крестьянству не относятся.

Мы перебили себя сельскохозяйственными суждениями Филиппа Павловича, дабы малявинскими красками нарисовать черноземный пейзаж, имеющий, по существу говоря, краски в себе серые, медленные, длинные. К сельскому же хозяйству относятся хлебозаготовки. Видели мы хлебозаготовителей, безошибочно можно сказать, что на душах у них лежат тяжести, равные весу заготовленного ими хлеба. Народ они хороший, несчастный и молчаливый (молчаливый, быть может, потому, что на ссыппунктах неминуемо много приходится разговаривать, вплоть до тяжелого сердцу мата). Познакомились мы с молчаливым кооперативным членом правления и слышали его историю. Вызывал его проезжавший мимо в своем вагоне замнаркомторг для надлежащего подтягивания, дошел член правления до вагона, взялся за поручни — и ужаснулся тогда, а ужаснувшись — пригнулся к земле и исчез в неполотых просяных полях, где и пробыл наедине с природой трое суток, не пивши, не евши. Его искали сельские милиционеры, но разве сыщут кого эти люди, самые кроткие из всех попечителей благочиния на земле? — и член правления на четвертый день самовольно возвратился домой, съел две корчажки сметаны с хлебом и пошел в свое правление, а вагон замнаркомторга отбыл вдаль по своему расписанию.

Гражданин этот — кооперативный член правления — был приятелем Федора Федоровича, забегал иной раз послушать нашего всесоюзного дьячка, и Федор Федорович, близкий к железнодорожному делу человек, проектировал часто разные способы усиления хлебозаготовок, так как до его сердца слишком все касалось.

Например. Наглядным опытом, через окна вагонов, знал Федор Федорович, что еще с самой ранней весны, почти сейчас же после снега, самый главный пассажир, который едет мимо Воронежа на Кавказ, есть — отдыхающий. Уверял Федор Федорович, что эти нарицательно называемые отдыхающие, едущие по курортам, не есть ни рабочие, ни средние служащие, а явный бюрократический актив, вооруженный сек-ретареподобными женами или женоподобными секретарями, умеющий пластическим путем фильтроваться сквозь государственные трущобы в страны, не им и не для него завоеванные в 1920 году. Так вот, Федор Федорович предлагал — перестать кормить этот бюрократический актив, не трогая пока пассива, прекратив одновременно его перевозку на юг для наращивания пластических сил, возя на его месте съедобные мешки. Федор Федорович утверждал, что это способствует вывозу хлеба и ввозу машин из-за границы, а также и тому, что кооперативному нашему члену правления реже придется убегать со столбовой дороги социализма в просо, как прискорбно выразился Федор Федорович.

Федор же Федорович рассказал нам о встрече в поезде, когда ездил он поднимать из-под откоса свалившийся паровоз.

В Ряжске сел внимательный человек, развернул бумагу с колбасой и начал закусывать, безотчетно рассматривая пассажиров. Напитавшись, он зорко уставился в окошко и не

отрывался от зрелища великорусских пространств сто верст. Тогда он обратился к Федору Федоровичу как к железнодорожнику.

— Никак не вижу межи! — сказал с огорчением. — Здесь сразу должны кончаться суглинки и подзолы и должна начинаться сплошная чернота почвы, именно Че-Че-О.

— Какая межа? — спросил Федор Федорович.

— Межа Че-Че-О, Центральной Черноземной Области. Она, извольте видеть, больше Англии и чуть меньше западноевропейских держав, а вот межи никак не видно, хотя на плане она ярко нарисована жирной чертой. Как же так?

Помолчали. Внимательный человек глядел в окно.

— Вы куда едете-то? — спросил Федор Федорович.

— В Воронеж — куда же больше? — вопросом ответил внимательный человек.

— Это почему же вы так говорите — «куда же больше»? — на вопрос вопросом ответил Федор Федорович.

— А там, видите ли, организована теперь Черноземная Область, Че-Че-О. Отстраиваются новые учреждения. Еду служить. Я человек сокращенный.

— Откуда? — сочувственно спросил Федор Федорович.

— Сократили?

— Да.

— Известно — из учреждения. Я человек служащий. Мы всю жизнь служим. Десять лет я состоял беспорочно в уездной архивной комиссии, а теперь свалили все документы в подвал статбюро, а в городе хорошего крысомора нету. Теперь звери всю мою работу поедят. А сколько трудов на те документы положили — уму не понять! — как же? — все остатки революции в них, больше их нигде нету.

— Думаете там работу найти, в Воронеже? — спросил Федор Федорович.

— Непременно, — ответил архивариус. — Люди моего сословия должны находиться в служебном состоянии. Непременно!

Федор Федорович в тот вечер, как рассказывал нам об этом своем свидании, совершенно разохался: «Ведь вот сукины суслики! — сколько их по советской земле ездит, службу ищет, колбасу жрет! — и смотри ты, как они в канцеляриях дела листают, как суслики рожь едят!..»

Показывал нам потом Федор Федорович на улице этого внимательного суслика: устроился, вошел в свое состояние, служит, отпускает бакены, вошел в служебную схему. Федор Федорович уверен, что именно эти самые суслики такие, например, правила чинят по его железнодорожному делу: опоздал поезд на сорок три минуты, стоять ему по расписанию пятьдесят минут в Воронеже. Прицепили свежий паровоз, полазили по крышам, добавили воды в уборные, служба технического осмотра проверила рессорные тележки и простукала бандажи, — дела на десять минут, а поезд стоит единственно из-за того, чтобы отстоять свое время ради точности расписания, хоть и мог бы сократить опоздание, — стоит по регламенту, а не по смыслу.

Видели мы областников, так сказать, строителей. Угощали они пивом москвича в столовой ЕПО, организационно обсуждали, опираясь на портфели, и пребывали в организационно-областной ярости. Многого из их разговоров подслушать нам не удалось, в силу естественного страха, который исходил к нам от них.

— Позвольте, Иван Сергеевич, куда ж это годится! — говорил средний человек, утирая бредовой пот со лба прямо ладонью. — Надо всесторонне обсудить, как поделить нам организационно и исторически неделимое? Тамбовский край, эта культурная единица, существовал еще со времен Гавриила Романовича Державина, когда покойный был тамбовским губернатором. Тамбовский край уже тогда был государственным понятием, а сейчас мы предполагаем северный кусок природного поценского края отхватить от Тамбова в другой округ. Извините, мы тоже пока еще губерния! — у нас есть ВНИК! — Воронеж — это еще не Москва, это лишь губерния, и даже не из важных!

Нам показалось, что этот деятель, начав за здравие масштабов областных, заканчивал

упокоем своей губернии, откуда, по всем видимостям, происходил родом и служебным положением. Другой собеседник был более областно-мыслящ, судя по его словам, в силу той причины, что происходил он из Кирсанова. На Тамбов он нападал, считая его тургеневским дворянским гнездом и в вишневых садах, — но нападал и на Воронеж, отдавая дань его морскому прошлому, после которого в округе остались только одни леса местного назначения, он даже не отстаивал Кирсанова, ибо вопрос Кирсанова не касался, но сообщил все же, что отапливается теперь Кирсанов не кизяком, а торфом и в прошлом году был вырыт первый артезианский колодезь. Поскольку дело не касалось Кирсанова, патриотической ярости у кирсановца не замечалось.

— Нет, товарищ, — сказал третий, отпивая пиво. — Теперь такая эпоха, приходится все сверху донизу, снизу доверху, а также вдоль и поперек. Теперь самокритика пошла, нашего брата массы в плюшку жмут.

Величественный москвич, в честь которого пили пиво, рассудительно и таинственно молчавший, несколько оживился.

— Не совсем так, товарищ, не совсем! — сказал он. — Мы никак не привыкнем к равновесию… Я бы сейчас главным лозунгом объявил равновесие мероприятий. А то получается не самокритика, а — бичевание.

В этом месте своей речи, к слову сказать, не очень внятной и четкой, москвич предложил своим собеседникам папиросы «Герцеговины Флоры».

— Сделайте одолжение, — сказал он. Кирсановец посмотрел коробку хозяйственным глазом, понюхал табак и спросил:

— А сколько же стоит такая одна папиросина?

— Пустяки, — сказал москвич, — шестьдесят пять копеек пачка.

— Ага. Без малого три копейки штука. У нас на три копейки можно пучок купырей купить, можно полбуханки хлеба съесть, можно стакан молока выпить, за две папиросины тебе лапоть сплетут, а другой сам на дороге найдешь, — сказал кирсано-вец, выводя товарную стоимость трех копеек; еще раз осмотрел папироску и сладко закурил.

— Это же и есть равновесие, о котором я говорю, — конкретно увязал москвич. — Я, допустимое моими газетными статьями зарабатываю четыреста-пятьсот, а вы — сто. Но вы живете зато не в Москве, и мои четыреста, если подсчитаешь, равны вашим семидесяти рублям.

— Значит, деньги у нас в пять раз дороже? — спросил тамбовец.

— Вот именно, — ответил москвич.

— Я вот курю папиросы «Бокс», — сказал кирсановец — значит, мой «Бокс» выходит по вкусу, что и ваши «Герцоги», либо даже лучше?

Москвич мягко поправил кирсановца, молвив учтиво:

— Одни папиросы брать, конечно, не следует. — Вы примите во внимание квартиру, ванну, отопление… Надо брать всю массу товарной продукции и учитывать по среднему…

— Не учтешь! — сказал грустно кирсановец. — Ванн, например, у нас не полагается, ходи в две недели раз в баню? У нас в одной волости пять лет подряд двадцать тысяч десятин без обложения налогом существовали, а говорят, город Лондон меньше этой площади. Значит, у нас город Лондон вроде бы стоял, а мы его и не видели… А найди виноватого, — виноватого учесть еще труднее, чем пропавшую площадь: та хоть травой зарастет, отговорка есть, что из-под травы не было видно.

— Равновесия нет, — молвил москвич, точно накладывая свою резолюцию на все местные беды. — Вы раньше сказали о самокритике, что масса учреждения давит… Вот вам и результат! Разве это требуется? Никакое учреждение при таких условиях работать не может, потому что учреждение должно руководить. Не правда ли? — А иначе придет какой-нибудь болван в учреждение синдиката и скажет: вас я сокращаю, а себя сажаю, ступайте в молотобойцы… Ну и что же будет? — будет хуже, будет плохой кузнец, только и всего. Нет, надо самокритику ввести в здоровое русло придать энергии народа плановый темп!

— Русло тоже дело ненадежное, — сказал кирсановец, представив себе, должно быть,

русло речное. — Реки иной раз размывают свои русла.

Тамбовец вернулся к теме в масштабах областных.

— Я полагаю, с областью мы явно спешим, — заявил он горестно. — Границы округов определены наспех, губернские и уездные работники далеко не все получили назначение на новые областные посты, а понаехало уже много иногородних. И вообще, в общем и целом, будущее рисуется далеко не в четких перспективах. Кирсановец молвил раздумчиво и печально:

— Говоря по совести, у меня ум за разум зашел. Крестьяне будут пахать по-прежнему, как и в губернском масштабе, рабочие не бросят работать оттого, что границы округов не уточнены. Это верно. Наше дело — руководить. Это тоже верно… Раздумаешься иной раз… Настоящее руководство — всегда, конечно, помощь. Ну а бюрократическое иной раз обращается прямо во вредительство, я на своей шкуре знаю. — Он помолчал и сказал твердо: — То руководство, которое обращается за помощью к массам, само, следовательно, способно помочь рабочему и крестьянину раздавить живой силой жизненные затруднения и прямо вести по дороге революции. В этом, я полагаю, и есть весь смысл самокритики.

Собеседники его посматривали неодобрительно. Мы свое пиво выпили и оставили столовую ЕПО, а затем, не имея плана прогулки, пошли к Митрофаньевской площади, откуда видна Сакма Калмиюсская. Лежала перед нами степь, и явно чувствовалось нам, что это не простые уже губернские поля с перелесками местного назначения, а — областные. Рожь, по подсчетам областных организаторов, расти будет гуще. Пусть растет! — и на густую рожь найдутся едоки!..

Вечером однажды, в тишину российского дождика, валяясь на своих койках, разговорились мы о трамваях, о бакенбардах, о любви. Разговоры наши были скучны. Не могли мы не согласиться с другом, что впечатления наши совпадают совершенно, — о том, что служащая провинция уж очень много больше, чем следует, заражена бюрократизмом. Служащий человек ведет себя и на воле, как на службе. Он недоверчив, он одинок, он непрерывно боится за свою судьбу и занимается самоспасением. С ним трудно ехать в трамвае, с ним не о чем разговаривать, ибо он хитрит и готов подставить ножку, жене и детям с ним неимоверно скучно. Мы раздумались о женах этих мелких бюрократов, души которых повреждены бакенбардами. Жена и дети не знают, какие почки настояли сердце их отца и мужа, они чувствуют на себе всю гнетущую, мрачную, иссушающую силу этого родного сердца, которое и на детей своих смотрит затравленными и зайцем и волком одновременно. Мы договорились до того, что бюрократизм есть новая социальная болезнь, биологический признак целой самостоятельной породы людей. Он вышел за стены учреждений, он отнимает у нас друзей, он безотчетно скорбен, он сушит женщин и детей.

На печаль нашу зашел к нам Федор Федорович, бодрый человек. Послушал нас, сказал, как всегда, иносказательно.

— При диктатуре пролетариата, я так полагаю, при советской власти дорог бояться не надо. К социализму надо идти — по пути трудному, а которые себя облегчают в дороге — грош тому цена. При пролетарской диктатуре всякие организации есть дело второстепенное и низкое. Первостепенно надо: делать вещи, покорять природу и — самое главное — искать дороги друг к другу. Дружество и есть коммунизм. Он есть как бы напряженное сочувствие между людьми.

Приходили к нам изредка гости — не наши друзья, но друзья Федора Федоровича, местные мастеровые, как любят называть себя рабочие. Каждый день беседовали мы с Федором Федоровичем. Он говорил иносказательно, но точно. Чтобы понимать Федора Федоровича, надо глядеть ему в глаза и сочувствовать тому, что он говорит, тогда его затруднения в речи имеют проясняющее значение. На подоконнике, у нас, рядом с дьячком, росли кроткие цветы, не имеющие названия с детства. Федор Федорович говаривал часто:

— Мастеровой в наши дни стал более скрытным, прямо углубленный и задумчивый человек. То ли это развитие личности, то ли печаль. В старое время общая безнадежность делала нас в своем кругу веселыми и самозабвенными. Теперь у молодых рабочих есть

надежда и есть какая-то внутренняя неуверенность в ней.

Часто спрашивали мы Федора Федоровича: как он думает — одна область лучше четырех губерний?

К Федору Федоровичу изредка приходил гармонист. Федор Федорович не знал тогда, чем получше угостить гармониста, заслушивался его и волновался от музыки.

— Рабочий человек, — говаривал Федор Федорович, — должен глубоко понимать, что ведер и паровозов можно наделать сколько угодно, а песню и волнение сделать нарочно нельзя. Песня дороже вещей, она человека к человеку приближает. А это трудней и нужнее всего.

И однажды, слушая музыку, Федор Федорович сказал по поводу области:

— Вот видишь, чем надо людей смазывать. А вы говорите — организация. Она, понимаешь ты, как мучной клей. Помнишь, им газеты к заборам приклеивали, и ни черта не держалось. Нравоучительность из нас куда-то пропала. В газетах пишут, что наша губерния вся запаршивела и оскудела. А по-моему, она не оскудела, а ее объели, и объедали лет сто подряд. Областью тут не поможешь.

Слушая гармонию, выпивали мы иногда по рюмке водки, и Федор Федорович всегда в таких случаях говорил:

— Сердечность у нас пропала, необходимость оскудела. Раньше ты мне дорог был, а теперь и умрешь, — все равно.

Федор Федорович рассказывал о своих цеховых делах. Живого его языка упомнить невозможно, примерно он таков:

— Например, так. Он человек молодой, а я уже почти старик. Он приходит в цех, ему дают работу. Я тридцать лет мастеровой, я не грубо знаю дело, а он мальчик, работать не умеет. — Ну, кого послать, скажем, в организацию? — посылаем его, нам он в работе не нужен, работать он не научился, а таких, как я — я это по душам говорю, положа руку на сердце, — таких у нас во всех мастерских двадцать человек, мне от работы отойти невозможно. Вот он там и делает власть за нас, а что он понимает?! Юноши, попавшие в цех, никому не дороги, да и им самим не дорого работать за станком. Ими и затыкают всякие выборные должности, а потом они сами делаются профессиональными руководителями, без всяких прочих товарищеских связей с мастеровыми. Понятно, что многие молодые рабочие так и смотрят на завод как на исходную точку своей будущей общественной карьеры, как на временное, бросовое ремесло. Он поработает год, много два, по всем документам — он рабочий, и тогда начинает идти во всякие высокие двери профпарт и соворганизации. А там наверху, в руководящих сферах, молодому человеку представляется теплота обеспеченной жизни, почетность положения и сладострастное занятие властью. Ну и многие получают эти блага взамен равнодушия мастеровых, оставшихся при станке. Я своего станка ни на что не сменяю, потому что не уважаю ни имущества, ни должности. А другие и хотели бы, да не всем же властвовать, ко власти лезут которые верткие, а всем не вместиться. А отсюда и скрытность и задумчивость рабочего советского человека…

Музыку Федор Федорович и его друзья слушали с упоением, еле сдерживая свои героические и жалобные чувства. Худой гармонист пил водку, играл, сохраняя серьезность и глядя на слушателей пустыми глазами, прислушивающимися к музыке.

Однажды он играл шимми. Федор Федорович и Филипп Павлович и шимми прослушали с волнением. Они не знали, не видели этого танца шелка-чулочных ног и бесполых тел, которые из этой музыки сделали провокацию акта размножения. Музыка им предстала очищенной от пошлости, они принимали ее, как музыку людей, а не бесполых ног, как искреннюю тонкую пьесу.

По их лицам было видно, что эта музыка для них кажется нежною и энергической, грустью безымянного близкого человека, заблудившегося в сложном устройстве мира, среди людей холодных, как сооружения. Гармонист кончил играть и выпил для организации утомившейся души. Мы рассказали Федору Федоровичу правду этого мотива, о той пошлости, которая оплетает земной шар этой музыкой. Федор Федорович смутился на

минуту за свои героические чувства, но скоро оправился, оправдав себя:

— Все можно изгадить, — сказал он. — Может, музыкант и не знал, что сделают из его песни. Я так думаю, любое искусство сделано по модели любви. Ну а ты сам знаешь, что можно из любви сделать, какую мерзость, а чище любви — ничего необходимее нет.

Однажды, тоже после музыки и в дождливый вечер, был такой разговор. Заскрипело вдруг радио, Филипп Павлович сказал Федору Федоровичу:

— Федя, заткни ты этого хрипатого дьявола, мы не к обедне пришли, а к тебе.

Мы говорили о предприятиях, которые работают над объединением пролетариата. Рабочие подсчитали, что они громадны, дорогостоящи, многочисленны. Федор Федорович утверждал, что в них вместо горячего клея употребляется остуженный кисель либо мучная пыль на воде, какими нельзя приклеить к забору газеты. Именно тогда Федор Федорович говорил о том, что у рабочих пропала нравоучительность. Филипп Павлович показал газету, там нарисованы были два пролетарских сапога, которые хотели растоптать попа и толстого лавочника.

— Не понимаешь? — сказал Филипп Павлович. — Поп, — ну, какой он нам нынче враг? — соринка? Лавочник — да его и давить-то нечего: открой лишний кооператив, и лавочнику — гробик еловый! Другие враги теперь родились, вон, например, на шахтах и еще в прочих губерниях.

— А еще вот — грызун, помнишь, рассказывал, в поезде черту искал, — вставил Федор Федорович.

— Во-во, и он, — подтвердил Филипп Павлович, — и прочая бюрократическая бакенбарда, и которые по Кавказам ездят.

Филипп Павлович перебил себя, обратившись к нам:

— Ты вот что объясни нам, — сказал Филипп Павлович. — Почему это все в массы швыряют — прямо как кирпичи летят. Книгу, пишут, — в массы, автомобиль — в массы, культуру — тоже, значит, в массы, то есть к нам, к одному месту, дьячка этого, — он кивнул на подоконник, — тоже в массы, критику — опять давай в массы. От таких швырков голова отлетит.

— Радио же вон дошвырнули?

— Радио — это да, только никто не швырял, я сам сделал на свои деньги. А вот другие вещи, на которые государство деньги тратит, до нас не долетают, на воздухе от трения сгорают, вроде как звезды, небесные кирпичи.

Федор Федорович подтвердил:

— Зашвыряли массы, прожевать некогда.

Филипп Павлович закончил свою мысль: спеша опередить Федора Федоровича:

— А ведь это только сверху кажется, — крикнул он, — только сверху видать, что внизу — масса, а на самом деле внизу отдельные люди живут, имеют свои наклонности, и один умнее другого.

Наутро после вечера разговоров о массах Федор Федорович рассказал нам странный свой сон. Сон этот волновал Федора Федоровича, говорил он сокрушенно. Он видел во сне, что он ехал по своему участку. И вдруг ему представилось, что он наяву видит, как под колесами поезда проскакивают границы губернии, области, РСФСР, уездов, райвиков, сельсоветов, районов тяготения к ссыппунктам и элеваторам, сферы действия уполномоченных по расширению площади посевов сахарной свеклы и ликбезов, профсоюзные линии, разграничивающие скрещивающиеся влияния райкомов, райуполномоченных, у-ов, губ-ов, обл-ов, разных инструкторов и прочих деятелей, организующих труд и область, Федор Федорович видел тысячи линий: жирных, тонких и пунктирных, которые легли на землю так, что из-за них не было видно травы. Федор Федорович был удивлен своим сном.

— Поди ж ты! — говорил он. — Ведь ежели издать генеральную карту организационного устройства области, чтобы не упустить чего-либо из памяти, чтобы любой ходок и ездок мог бы свободно узнать, под чьим непосредственным воздействием он

находится в данную минуту своего жизненного существования, — так такую карту и издать невозможно, бумажный планшет, чего доброго, пришлось бы склеить размером в самою область. Иначе невозможно будет разместить все линии организационного размежевания, невозможно будет четким образом уместить все линии прямых и косвенных соподчинений, планирующих увязок, инструктирующего обслуживания и всего прочего необходимого. Линии, чего доброго, совпадут, лягут одна на другую, и получится сплошная тьма чернильная, в которой не разберешь, кто кем руководит, кто умнейший актив и кто отсталая масса, подлежащая срочной культурной революции… И поди ж ты! — видел я еще во сне архивариуса, — он не пойдет на надел землю пахать или на завод к станку, — он сидит на областном планшете, в щели, сукин сын, — в государственной, заметь, щели, — и чувствует себя спасителем революции!..

Выехали мы из Воронежа степным скучным вечером, в тот час, когда в учреждениях кончили уже передвижку столов и распланировку отделов под областные органы, с тем чтобы назавтра служащим людям сесть иначе, во имя нового режима писчего дня.

— Федор Федорович, — спросили мы последний раз, выполняя наше задание. — Что же, нужна вам область или нет?

— Не обязательно, — ответил Федор Федорович. — Все вторичное нужно, когда первая необходимость есть.

— А это что такое? — не поняли мы.

— Это, как тебе сказать, — когда мне и тебе отлично, и ребенка пустить к людям не страшно. А второе тебе будет хлеб с закуской. А третье — область твоя. Надоел ты мне с ней.

— А отчего нам станет отлично?

Федор Федорович стал в тупик, ответил не сразу.

— От хороших людей, наверное? — полувопросом ответил он. — Наделать всего побольше, чтобы никто не серчал, — богачей ведь у нас нету, никто не отымет, — и надо уважать друг друга, не бояться. Трудовой человек должен напряженно сочувствовать другому обремененному. Надо уважать человека. Это самое главное. Тогда и труд будем уважать.

Над областью лежала тьма, ровесница сотворения мира, когда мы уезжали из Воронежа, где в столах учреждений покоились до утра сложные планы и бумаги для вдумчивого выполнения. Федор Федорович провожал нас, ехал на линию исправлять изгадившийся мост. Поездной машинист, поскучав на ненужных стоянках, гнал поезд. По сторонам пути стояли сигналы уклонов и подъемов, пакетажные столбики и прочие ориентировочные знаки, но никакой машинист сроду не справлялся с этими знаками: машинист чувствовал ногами работу паровозной тележки и настороженной душой безошибочно угадывал координату работы машины, скорости, времени, расписания, тяжести поезда и состояния тормозов. Старые паровозные машинисты по виду небрежны: если бы служилый суслик видел машиниста, как он рассеянно ведет поезд и, не глядя, шурует рычагами, то он непременно оставил бы поезд, вылетел бы из него пулей, боясь безусловной гибели, — и он потребовал бы приставить к машинисту контролера, чтобы контролер «наблюдал». С машиной надо держать себя просто, искренне и самому быть не глупее ее, машина не терпит к себе неопределенных любительских отношений. Все эти мысли пришли Федору Федоровичу. Колеса вагонов отбивали свой речитатив, там проскакивали границы губерний, уездов, виков и прочего благоустройства. И Федор Федорович сказал:

— Революция — как паровоз. И революционеры должны быть машинистами.

Поезд подходил к станции, тормоза втугачку схватили разыгравшиеся колеса, под вагоном колыхнули вагон стрелки и крестовины станции.

— Вот, слышите, — сказал Федор Федорович. — Ведь если бумажного суслика пустить на паровоз, он поставит там наблюдателя к машинисту. Он втугачку зажмет колеса, из-за бюрократической предосторожности, — колеса революции, и при нем, чего доброго, до социализма доедешь немного позже того момента, когда сам паровоз, ведущий историю,

сгорит от форсированной работы, таща поезд волокитой на зажатых тормозах.

Федор Федорович сошел с поезда на этой станции. Мы распрощались с ним, расцеловавшись. В нашем вагоне ехали люди с Кавказа, накапливавшие там пластических сил. Нам казалось, что им следовало бы слезть на какой-либо черноземной станции, чтобы отправиться в колхоз на уборку урожая и для выделки кирпичей для новой огнестойкой деревни. Но они ехали — никак не в деревню, нагретые кавказским солнцем.

Усомнившийся Макар

Среди прочих трудящихся масс жили два члена государства: нормальный мужик Макар Ганушкин и более выдающийся — товарищ Лев Чумовой, который был наиболее умнейшим на селе и, благодаря уму, руководил движением народа вперед, по прямой линии к общему благу. Зато все население деревни говорило про Льва Чумового, когда он шел где-либо мимо:

— Вон наш вождь шагом куда-то пошел, завтра жди какого-нибудь принятия мер… Умная голова, только руки пустые. Голым умом живет…

Макар же, как любой мужик, больше любил промыслы, чем пахоту, и заботился не о хлебе, а о зрелищах, потому что у него была, по заключению товарища Чумового, порожняя голова.

Не взяв разрешения у товарища Чумового, Макар организовал однажды зрелище — народную карусель, гонимую кругом себя мощностью ветра. Народ собрался вокруг Макаровой карусели сплошной тучей и ожидал бури, которая могла бы стронуть карусель с места. Но буря что-то опаздывала, народ стоял без делов, а тем временем жеребенок Чумового сбежал в луга и там заблудился в мокрых местах. Если б народ был на покое, то он сразу поймал бы жеребенка Чумового и не позволил бы Чумовому терпеть убыток, но Макар отвлек народ от покоя и тем помог Чумовому потерпеть ущерб.

Чумовой сам не погнался за жеребенком, а подошел к Макару, молча тосковавшему по буре, и сказал:

— Ты народ здесь отвлекаешь, а у меня за жеребенком погнаться некому…

Макар очнулся от задумчивости, потому что догадался. Думать он не мог, имея порожнюю голову над умными руками, но зато он мог сразу догадываться.

— Не горюй, — сказал Макар товарищу Чумовому, — я тебе сделаю самоход.

— Как? — спросил Чумовой, потому что не знал, как своими пустыми руками сделать самоход.

— Из обручей и веревок, — ответил Макар, не думая, а ощущая тяговую силу и вращение в тех будущих веревках и обручах.

— Тогда делай скорее, — сказал Чумовой, — а то я тебя привлеку к законной ответственности за незаконные зрелища.

Но Макар думал не о штрафе — думать он не мог, — а вспоминал, где он видел железо, и не вспомнил, потому что вся деревня была сделана из поверхностных материалов: глины, соломы, дерева и пеньки.

Бури не случилось, карусель не шла, и Макар вернулся ко двору.

Дома Макар выпил от тоски воды и почувствовал вяжущий вкус той воды.

«Должно быть, оттого и железа нету, — догадался Макар, — что мы его с водой выпиваем.»

Ночью Макар полез в сухой, заглохший колодезь и прожил в нем сутки, ища железа под сырым песком. На вторые сутки Макара вытащили мужики под командой Чумового, который боялся, что погибнет гражданин помимо фронта социалистического строительства. Макар был неподъемен — у него в руках оказались коричневые глыбы железной руды. Мужики его вытащили и прокляли за тяжесть, а товарищ Чумовой пообещал дополнительно оштрафовать Макара за общественное беспокойство.

Однако Макар ему не внял и через неделю сделал из руды железо в печке, после того как его баба испекла там хлебы. Как он отжигал руду в печке, — никому не известно, потому что Макар действовал своими умными руками и безмолвной головой. Еще через день Макар сделал железное колесо, а затем еще одно колесо, но ни одно колесо само не поехало: их нужно было катить руками.

Пришел к Макару Чумовой и спрашивает:

— Сделал самоход вместо жеребенка?

— Нет, — говорит Макар, — я догадывался, что они бы должны сами покатиться, а они — нет.

— Чего же ты обманул меня, стихийная твоя голова! — служебно воскликнул Чумовой. — Делай тогда жеребенка!

— Мяса нет, а то бы я сделал, — отказался Макар.

— А как же ты железо из глины сделал? — вспомнил Чумовой.

— Не знаю, — ответил Макар, — у меня памяти нет.

Чумовой тут обиделся.

— Ты что же, открытие народнохозяйственного значения скрываешь, индивид-дьявол! Ты не человек, ты единоличник! Я тебя сейчас кругом оштрафую, чтобы ты знал, как думать!

Макар покорился:

— А я ж не думаю, товарищ Чумовой. Я человек пустой.

— Тогда руки укороти, не делай, чего не сознаешь, — упрекнул Макара товарищ Чумовой.

— Ежели бы мне, товарищ Чумовой, твою голову, тогда бы я тоже думал, — сознался Макар.

— Вот именно, — подтвердил Чумовой. — Но такая голова одна на все село, и ты должен мне подчиниться.

И здесь Чумовой кругом оштрафовал Макара, так что Макару пришлось отправиться на промысел в Москву, чтобы оплатить тот штраф, оставив карусель и хозяйство под рачительным попечением товарища Чумового.

* * *

Макар ездил в поездах десять лет тому назад, в девятнадцатом году. Тогда его везли задаром, потому что Макар был сразу похож на батрака, и у него даже документов не спрашивали. «Езжай далее, — говорила ему, бывало, пролетарская стража, — ты нам мил, раз ты гол».

Нынче Макар, так же как и девять лет тому назад, сел в поезд не спросясь, удивившись малолюдью и открытым дверям. Но все-таки Макар сел не в середине вагона, а на сцепках, чтобы смотреть, как действуют колеса на ходу. Колеса начали действовать, и поезд поехал в середину государства в Москву.

Поезд ехал быстрее любой полукровки. Степи бежали навстречу поезду и никак не кончались.

«Замучают они машину, — жалел колеса Макар. — Действительно, чего только в мире нет, раз он просторен и пуст».

Руки Макара находились в покое, их свободная умная сила пошла в его порожнюю емкую голову, и он стал думать. Макар сидел на сцепках и думал, что мог. Однако долго Макар не просидел. Подошел стражник без оружия и спросил у него билет. Билета у Макара с собой не было, так как, по его предположению, была советская, твердая власть, которая теперь и вовсе задаром возит всех нуждающихся. Стражник-контролер сказал Макару, чтобы он слезал от греха на первом полустанке, где есть буфет, дабы Макар не умер с голоду на глухом перегоне. Макар увидел, что о нем власть заботится, раз не просто гонит, а предлагает буфет, и поблагодарил начальника поездов.

На полустанке Макар все-таки не слез, хотя поезд остановился сгружать конверты и

открытки из почтового вагона. Макар вспомнил одно техническое соображение и остался в поезде, чтобы помогать ему ехать дальше.

«Чем вещь тяжелее, — сравнительно представлял себе Макар камень и пух, — тем оно далее летит, когда его бросишь; так и я на поезде еду лишним кирпичом, чтобы поезд мог домчаться до Москвы».

Не желая обижать поездного стражника, Макар залез в глубину механизма, под вагон, и там лег на отдых, слушая волнующуюся скорость колес. От покоя и зрелища путевого песка Макар глухо заснул и увидел во сне, будто он отрывается от земли и летит по холодному ветру. От этого роскошного чувства он пожалел оставшихся на земле людей.

— Сережка, что же ты шейки горячими бросаешь!

Макар проснулся от этих слов и взял себя за шею: цело ли его тело и вся внутренняя жизнь?

— Ничего! — крикнул издали Сережка. — До Москвы недалече: не сгорит!

Поезд стоял на станции. Мастеровые пробовали вагонные оси и тихо ругались.

Макар вылез из-под вагона и увидел вдалеке центр всего государства — главный город Москву.

«Теперь я и пешком дойду, — сообразил Макар. — Авось поезд домчится и без добавочной тяжести!»

И Макар тронулся в направлении башен, церквей и грозных сооружений, в город чудес науки и техники, чтобы добывать себе жизнь под золотыми головами храмов и вождей.

* * *

Сгрузив себя с поезда, Макар пошел на видимую Москву, интересуясь этим центральным городом. Чтобы не сбиться, Макар шагал около рельсов и удивлялся частым станционным платформам. Близ платформы росли сосновые и еловые леса, а в лесах стояли деревянные домики. Деревья росли жидкие, под ними валялись конфетные бумажки, винные бутылки, колбасные шкурки и прочее испорченное добро. Трава под гнетом человека здесь не росла, а деревья тоже больше мучались и мало росли. Макар понимал такую природу неотчетливо:

«Не то тут особые негодяи живут, что даже растения от них дохнут! Ведь это весьма печально: человек живет и рожает близ себя пустыню! Где ж тут наука и техника?»

Погладив грудь от сожаления, Макар пошел дальше. На станционной платформе выгружали из вагона пустые молочные бидоны, а с молоком ставили в вагон. Макар остановился от своей мысли:

— Опять техники нет! — вслух определил Макар такое положение. — С молоком посуду везут — это правильно: в городе тоже живут дети и молоко ожидают. Но пустые бидоны зачем возить на машине? Ведь только технику зря тратят, а посуда объемистая!

Макар подошел к молочному начальнику, который заведовал бидонами, и посоветовал ему построить отсюда и вплоть до Москвы молочную трубу, чтобы не гонять вагонов с пустой молочной посудой.

Молочный начальник Макара выслушал — он уважал людей из масс, — однако посоветовал Макару обратиться в Москву: там сидят умнейшие люди, и они заведуют всеми починками.

Макар осерчал:

— Так ведь ты же возишь молоко, а не они! Они его только пьют, им лишних расходов техники не видно!

Начальник объяснил:

— Мое дело наряжать грузы: я — исполнитель, а не выдумщик труб.

Тогда Макар от него отстал и пошел усомнившись вплоть до Москвы.

В Москве было позднее утро. Десятки тысяч людей неслись по улицам, словно крестьяне на уборку урожая.

«Чего же они делать будут? — стоял и думал Макар в гуще сплошных людей. — Наверно, здесь могучие фабрики стоят, что одевают и обувают весь далекий деревенский народ!»

Макар посмотрел на свои сапоги и сказал бегущим людям «спасибо!» — без них он жил бы разутым и раздетым. Почти у всех людей имелись под мышками кожаные мешки, где, вероятно, лежали сапожные гвозди и дратва.

«Только чего ж они бегут; силы тратят — озадачился Макар. — Пускай бы лучше дома работали, а харчи можно по дворам гужом развозить!»

Но люди бежали, лезли в трамваи до полного сжатия рессор и не жалели своего тела ради пользы труда. Этим Макар вполне удовлетворился. «Хорошие люди, — думал он, — трудно им до своих мастерских дорваться, а охота!»

Трамваи Макару понравились, потому что они сами едут и машинист сидит в переднем вагоне очень легко, будто он ничего не везет. Макар тоже влез в вагон без всякого усилия, так как его туда втолкнули задние спешные люди: Вагон пошел плавно, под полом рычала невидимая сила машины, и Макар слушал ее и сочувствовал ей.

«Бедная работница! — думал Макар о машине. — Везет и тужится. Зато полезных людей к одному месту несет, — живые ноги бережет!»

Женщина — трамвайная хозяйка — давала людям квитанции, но Макар, чтобы не затруднять хозяйку, отказался от квитанции:

— Я так! — сказал Макар и прошел мимо.

Хозяйке кричали, чтоб она чего-то дала по требованию, и хозяйка соглашалась. Макар, чтобы проверить, чего здесь дают, тоже сказал:

— Хозяйка, дай и мне чего-нибудь по требованию!

Хозяйка дернула веревку, и трамвай скоро окоротился на месте.

— Вылазь, — тебе по требованию, — сказали граждане Макару и вытолкнули его своим напором.

Макар вышел на воздух.

Воздух был столичный: пахло возбужденным газом машин и чугунной пылью трамвайных тормозов.

— А где же тут самый центр государства? — спросил Макар нечаянного человека.

Человек показал рукой и бросил папиросу в уличное помойное ведро. Макар подошел к ведру и тоже плюнул туда, чтобы иметь право всем в городе пользоваться.

Дома стояли настолько грузные и высокие, что Макар пожалел советскую власть: трудно ей держать в целости такую жилищную снасть.

На перекрестке милиционер поднял торцом вверх красную палку, а из левой руки сделал кулак для подводчика, везшего ржаную муку.

«Ржаную муку здесь не уважают, — заключил в уме Макар, — здесь белыми жамками кормятся».

— Где здесь есть центр? — спросил Макар у милиционера.

Милиционер показал Макару под ногу и сообщил:

— У Большого театра, в логу.

Макар сошел под гору и очутился среди двух цветочных лужаек. С одного бока площади стояла стена, а с другого дом со столбами. Столбы те держали наверху четверку чугунных лошадей, и можно бы столбы сделать потоньше, потому что четверка была не столь тяжела.

Макар стал искать на площади какую-либо жердь с красным флагом, которая бы означала середину центрального города и центр всего государства, но такой жерди нигде не было, а стоял камень с надписью. Макар оперся на камень, чтобы постоять в самом центре и проникнуться уважением к самому себе и к своему государству. Макар счастливо вздохнул и почувствовал голод. Тогда он пошел к реке и увидел постройку неимоверного дома.

— Что здесь строят? — спросил он у прохожего.

— Вечный дом из железа, бетона, стали и светлого стекла! — ответил прохожий.

Макар решил туда наведаться, чтобы поработать на постройке и покушать.

В воротах стояла стража. Стражник спросил:

— Тебе чего, жлоб?

— Мне бы поработать чего-нибудь, а то я отощал, — заявил Макар.

— Чего ж ты будешь здесь работать, когда ты пришел без всякого талона? — грустно проговорил стражник.

Здесь подошел каменщик и заслушался Макара.

— Иди в наш барак к общему котлу, — там ребята тебя покормят, — помог Макару каменщик. — А поступить ты к нам сразу не можешь, ты живешь на воле, а стало быть — никто. Тебе надо сначала в союз рабочих записаться, сквозь классовый надзор пройти.

И Макар пошел в барак кушать из котла, чтобы поддержать в себе жизнь для дальнейшей лучшей судьбы.

* * *

На постройке того дома в Москве, который назвал встречный человек вечным, Макар ужился. Сначала он наелся черной и питательной каши в рабочем бараке, а потом пошел осматривать строительный труд. Действительно, земля была всюду поражена ямами, народ суетился, машины неизвестного названия забивали сваи в грунт. Бетонная каша самотеком шла по лоткам, и прочие трудовые события тоже происходили на глазах. Видно, что дом строился, хотя неизвестно для кого. Макар и не интересовался, что кому достанется, — он интересовался техникой как будущим благом для всех людей. Начальник Макара по родному селу — товарищ Лев Чумовой, тот бы, конечно, наоборот, заинтересовался распределением жилой площади в будущем доме, а не чугунной свайной бабкой, но у Макара были только грамотные руки, а голова — нет; поэтому он только и думал, как бы чего сделать.

Макар обошел всю постройку и увидел, что работа идет быстро и благополучно. Однако что-то заунывно томилось в Макаре — пока неизвестно что. Он вышел на середину работ и окинул общую картину труда своим взглядом: явно чего-то недоставало на постройке, что-то было утрачено, но что — неизвестно. Только в груди у Макара росла какая-то совестливая рабочая тоска. От печали и от того, что сытно покушал, Макар нашел тихое место и там отошел ко сну. Во сне Макар видел озеро, птиц, забытую сельскую рощу, а что нужно, чего не хватает на постройке, — того Макар не увидел. Тогда Макар проснулся и вдруг открыл недостаток постройки: рабочие запаковывали бетон в железные каркасы, чтобы получилась стена. Но это же не техника, а черная работа! Чтобы получилась техника, надо бетон подавать наверх трубами, а рабочий будет только держать трубу и не уставать, этим самым не позволяя переходить красной силе ума в чернорабочие руки.

Макар сейчас же пошел искать главную московскую научно-техническую контору. Такая контора помещалась в прочном несгораемом помещении, в одном городском овраге. Макар нашел там одного малого у дверей и сказал ему, что он изобрел строительную кишку. Малый его выслушал и даже расспросил о том, чего Макар сам не знал, а потом отправил Макара на лестницу к главному писцу. Писец этот был ученым инженером, однако он решил почему-то писать на бумаге, не касаясь руками строительного дела. Макар и ему рассказал про кишку.

— Дома надо не строить, а отливать, — сказал Макар ученому писцу.

Писец прослушал и заключил:

— А чем вы докажете товарищ изобретатель, что ваша кишка дешевле обычной бетонировки?

— А тем, что я это ясно чувствую, — доказал Макар.

Писец подумал что-то втайне и послал Макара в конец коридора:

— Там дают неимущим изобретателям по рублю на харчи и обратный билет по железной дороге.

Макар получил рубль, но отказался от билета, так как он решил жить вперед и

безвозвратно.

В другой комнате Макару дали бумагу в профсоюз, дабы он получил там усиленную поддержку как человек из массы и изобретатель кишки. Макар подумал, что в профсоюзе ему сегодня же должны дать денег на устройство кишки, и радостно пошел туда.

Профсоюз помещался еще в более громадном доме, чем техническая контора. Часа два бродил Макар по ущельям того профсоюзного дома в поисках начальника массовых людей, что был написан на бумаге, но начальника не оказалось на служебном месте — он где-то заботился о прочих трудящихся. В сумерки начальник пришел, съел яичницу и прочитал бумажку Макара через посредство своей помощницы — довольно миловидной и передовой девицы с большой косой. Девица та сходила в кассу и принесла Макару новый рубль, а Макар расписался в получении его как безработный батрак. Бумагу Макару отдали обратно. На ней в числе прочих букв теперь значилось: «Товарищ Лопин, помоги члену нашего союза устроить его изобретение кишки по промышленной линии».

Макар остался доволен и на другой день пошел искать промышленную линию, чтобы увидеть на ней товарища Лопина. Ни милиционер, ни прохожие не знали такой линии, и Макар решил ее найти самостоятельно. На улицах висели плакаты и красный сатин с надписью того учреждения, которое и нужно было Макару. На плакатах ясно указывалось, что весь пролетариат должен твердо стоять на линии развития промышленности. Это сразу вразумило Макара: нужно сначала отыскать пролетариат, а под ним будет линия и где-нибудь рядом товарищ Лопин.

— Товарищ милиционер, — обратился Макар, — укажи мне дорогу на пролетариат.

Милиционер достал книжку, отыскал там адрес пролетариата и сказал тот адрес благородному Макару.

* * *

Макар шел по Москве к пролетариату и удивлялся силе города, бегущей в автобусах, трамваях и на живых ногах толпы.

«Много харчей надо, чтобы питать такое телодвижение!» — рассуждал Макар в своей голове, умевшей думать, когда руки были не заняты.

Озабоченный и загоревавший Макар, наконец, достиг того дома, местоположение которого ему указал постовой. Дом тот оказался ночлежным приютом, где бедный класс в ночное время преклонял свою голову. Раньше, в дореволюционную бытность, бедный класс преклонял свою голову на простую землю, и над той головою шли дожди, светил месяц, брели звезды, дули ветры, а голова та лежала, стыла и спала, потому что она была усталая. Нынче же голова бедного класса отдыхала на подушке под потолком и железным покровом крыши, а ночной ветер природы уже не беспокоил волос на голове бедняка, некогда лежавшего прямо на поверхности земного шара.

Макар увидел несколько новых чистоплотных домов и остался доволен советской властью.

«Ничего себе властишка! — оценил Макар. — Только надо, чтобы она не избаловалась, потому что она наша!»

В ночлежном доме была контора, как во всех московских жилых домах. Без конторы, оказывается, сейчас же началось бы всюду светопреставление, а писцы давали всей жизни хотя и медленный, но правильный ход. Макар и писцов уважал.

«Пусть живут! — решил про них Макар. — Они же думают чего-нибудь, раз жалованье получают, а раз они от должности думают, то, наверное, станут умными людьми, а их нам и надобно!»

— Тебе чего? — спросил Макара комендант ночлега.

— Мне бы нужен был пролетариат, — сообщил Макар.

— Какой слой? — узнавал комендант.

Макар не стал задумываться — он знал вперед, что ему нужно.

— Нижний, — сказал Макар. — Он погуще, там людей побольше, там самая масса!

— Ага! — понял комендант. — Тогда тебе надо вечера ждать: кого больше придет, с теми и ночевать пойдешь либо с нищими, либо с сезонниками…

— Мне бы с теми, кто самый социализм строит, — попросил Макар.

— Ага! — снова понял комендант. — Так тебе нужен, кто новые дома строит?

Макар здесь усомнился.

— Так дома же и раньше строили, когда Ленина не было. Какой же тебе социализм в пустом доме?

Комендант тоже задумался, тем более что он сам точно не знал, в каком виде должен представиться социализм — будет ли в социализме удивительная радость, и какая?

— Дома-то строили раньше, — согласился комендант. — Только в них тогда жили негодяи, а теперь я тебе талон даю на ночевку в новый дом.

— Верно, — обрадовался Макар. — Значит, ты правильный помощник советской власти.

Макар взял талон и сел на груду кирпича, оставшегося беспризорным от постройки.

«Тоже… — рассуждал Макар, — лежит кирпич подо мной, а пролетариат тот кирпич делал и мучился: мала советская власть

— своего имущества не видит!»

Досидел Макар на кирпиче до вечера и проследил, поочередно, как солнце угасло, как огни зажглись, как воробьи исчезли с навоза на покой.

Стали, наконец, являться пролетарии: кто с хлебом, кто без него, кто больной, кто уставший, но все миловидные от долгого труда и добрые той добротой, которая происходит от измождения.

Макар подождал, пока пролетариат разлегся на государственных койках и перевел дыхание от дневного строительства. Тогда Макар смело вошел в ночлежную залу и объявил, став посреди пола:

— Товарищи работники труда! Вы живете в родном городе Москве, в центральной силе государства, а в нем непорядки и утраты ценностей.

Пролетариат пошевелился на койках.

— Митрий! — глухо произнес чей-то широкий голос. — Двинь его слегка, чтоб он стал нормальным.

Макар не обиделся, потому что перед ним лежал пролетариат, а не враждебная сила.

— У вас не все выдумали, — говорил Макар. — Молочные банки из-под молока на ценных машинах везут, а они порожние, — их выпили. Тут бы трубы достаточно было и поршневого насоса… То же и в строительстве домов и сараев — их надо из кишки отливать, а вы их по мелочам строите… Я ту кишку придумал и вам ее даром даю, чтобы социализм и прочее благоустройство наступило скорей….

— Какую кишку? — произнес тот же глухой голос невидимого пролетария.

— Свою кишку, — подтвердил Макар.

Пролетариат сначала помолчал, а потом чей-то ясный голос прокричал из дальнего угла некие слова, и Макар их услышал, как ветер:

— Нам сила не дорога — мы и по мелочи дома поставим, — нам душа дорога. Раз ты человек, то дело не в домах, а в сердце. Мы здесь все на расчетах работаем, на охране труда живем, на профсоюзах стоим, на клубах увлекаемся, а друг на друга не обращаем внимания — друг друга закону поручили… Даешь душу, раз ты изобретатель!

Макар сразу пал духом. Он изобретал всякие вещи, но души не касался, а это оказалось для здешнего народа главным изобретением. Макар лег на государственную койку и затих от сомнения, что всю жизнь занимался непролетарским делом.

Спал Макар недолго, потому что он во сне начал страдать. И страдание его перешло в сновидение: он увидел во сне гору, или возвышенность, и на той горе стоял научный человек. А Макар лежал под той горой, как сонный дурак, и глядел на научного человека, ожидая от него либо слова, либо дела. Но человек тот стоял и молчал, не видя горюющего

Макара и думая лишь о целостном масштабе, но не о частном Макаре. Лицо ученейшего человека было освещено заревом дальней массовой жизни, что расстилалась под ним вдалеке, а глаза были страшны и мертвы от нахождения на высоте и слишком далекого взора. Научный молчал, а Макар лежал во сне и тосковал.

— Что мне делать в жизни, чтоб я себе и другим был нужен? — спросил Макар и затих от ужаса.

Научный человек молчал по-прежнему без ответа, и миллионы живых жизней отражались в его мертвых очах.

Тогда Макар в удивлении пополз на высоту по мертвой каменистой почве. Три раза в него входил страх перед неподвижно-научным, и три раза страх изгонялся любопытством. Если бы Макар был умным человеком, то он не полез бы на ту высоту, но он был отсталым человеком, имея лишь любопытные руки под неощутимой головой. И силой своей любопытной глупости Макар долез до образованнейшего и тронул слегка его толстое, громадное тело. От прикосновения неизвестное тело шевельнулось, как живое, и сразу рухнуло на Макара, потому что оно было мертвое.

Макар проснулся от удара и увидел над собой ночлежного надзирателя, который коснулся его чайником по голове, чтобы Макар проснулся.

Макар сел на койку и увидел рябого пролетария, умывшегося из блюдца без потери капли воды. Макар удивился способу начисто умываться горстью воды и спросил рябого:

— Все ушли на работу, чего же ты один стоишь и умываешься?

Рябой промокнул мокрое лицо о подушку, высох и ответил:

— Работающих пролетариев много, а думающих мало, — я наметил себе думать за всех. Понял ты меня или молчишь от дурости и угнетенья?

— От горя и сомнения, — ответил Макар.

— Ага, тогда пойдем, стало быть, со мной и будем думать за всех, — соображая, высказался рябой.

И Макар поднялся, чтобы идти с рябым человеком, по названию Петр, чтобы найти свое назначение.

Навстречу Макару и Петру шло большое многообразие женщин, одетых в тугую одежду, указывающую, что женщины желали бы быть голыми; также много было мужчин, но они укрывались более свободно для тела. Великие тысячи других женщин и мужчин, жалея свои туловища, ехали в автомобилях и фаэтонах, а также в еле влекущихся трамваях, которые скрежетали от живого веса людей, но терпели. Едущие и пешие стремились вперед, имея научное выражение лиц, чем в корне походили на того великого и мощного человека, которого Макар неприкосновенно созерцал во сне. От наблюдения сплошных научно-грамотных личностей Макару сделалось жутко во внутреннем чувстве. Для помощи он поглядел на Петра: не есть ли и тот лишь научный человек со взглядом вдаль?

— Ты небось знаешь все науки и видишь слишком далеко? — робко спросил Макар.

Петр сосредоточил свое сознание.

— Я-то? Я надеюсь существовать вроде Ильича-Ленина: я гляжу и вдаль, и вблизь, и вширку, и вглубь, и вверх.

— Да то-то! — успокоился Макар. — А то я намедни видел громадного научного человека: так он в одну даль глядит, а около него — сажени две будет — лежит один отдельный человек и мучается без помощи.

— Еще бы, — умно произнес Петр. — Он на уклоне стоит, ему и кажется, что все вдалеке, а вблизи нет ни дьявола! А другой только под ноги себе глядит — как бы на комок не споткнуться и не удариться насмерть — и считать себя правым; а массам жить на тихом ходу скучно. Мы, брат, комков почвы не боимся!

— У нас народ теперь обутый! — подтвердил Макар.

Но Петр держал свое размышление вперед, не отлучаясь ни на что.

— Ты видел когда-нибудь коммунистическую партию?

— Нет, товарищ Петр, мне ее не показывали. Я в деревне товарища Чумового видел!

— Чумовых товарищей и здесь находится полное количество. А я говорю тебе про чистую партию, у которой четкий взор в точную точку. Когда я нахожусь на сходе среди партии, всегда себя дураком чувствую.

— Отчего ж так, товарищ Петр? Ты ведь по наружности почти научный.

— Потому что у меня ум тело поедает. Мне яства хочется, а партия говорит: вперед заводы построим — без железа хлеб растет слабо. Понял ты меня, какой здесь ход в самый раз?!

— Понял, — ответил Макар.

Кто строит машины и заводы, тех он понимал сразу, словно ученый. Макар с самого рождения наблюдал глиносоломенные деревни и нисколько не верил в их участь без огневых машин.

— Вот, — сообщил Петр. — А ты говоришь: человек тебе намедни не понравился! Он и партии и мне не нравится: его ведь дурак-капитализм произвел; а мы таковых подобных постепенно под уклон спускаем!

— Я тоже что-то чувствую, только не знаю что! — высказался Макар.

— А раз ты не знаешь — что, то следуй в жизни под моим руководством; иначе ты с тонкой линии неминуемо треснешься вниз.

Макар отвлекся взором на московский народ и подумал:

«Люди здесь сытые, лица у всех чистоплотные, живут они обильно, — они бы размножаться должны, а детей незаметно».

Про это Макар сообщил Петру.

— Здесь не природа, а культура, — объяснил Петр. — Здесь люди живут семействами без размножения, тут кушают без производства труда…

— А как же? — удивился Макар.

— А так, — сообщил знающий Петр. — Иной одну мысль напишет на квитанции, — за это его с семейством целых полтора года кормят… А другой и не пишет ничего — просто живет для назидания другим.

Ходили Макар и Петр до вечера, осмотрели Москву-реку, улицы, лавки, где продавался трикотаж, и захотели есть.

— Пойдем в милицию обедать, — сказал Петр.

Макар пошел: он сообразил, что в милиции кормят.

— Я буду говорить, а ты молчи и отчасти мучайся, — заранее предупредил Макара Петр.

В милиционном отделении сидели грабители, бездомные, люди-звери и неизвестные несчастные. А против всех сидел дежурный надзиратель и принимал народ в живой затылок. Иных он отправлял в арестный дом, иных — в больницу, иных устранял прочь обратно.

Когда дошла очередь до Петра и Макара, то Петр сказал:

— Товарищ начальник, я вам психа на улице поймал и за руку привел.

— Какой же он псих? — спрашивал дежурный по отделению. — Чего ж он нарушил в общественном месте?

— А ничего, — открыто сказал Петр. — Он ходит и волнуется, а потом возьмет и убьет: суди его тогда. А лучшая борьба с преступностью — это предупреждение ее. Вот я и предупредил преступление.

— Резон! — согласился начальник. — Я сейчас его направлю в институт психопатов — на общее исследование…

Милиционер написал бумажку и загоревал.

— Не с кем вас препроводить — все люди в разгоне…

— Давай я его сведу, — предложил Петр. — Я человек нормальный, это он — псих.

— Вали! — обрадовался милиционер и дал Петру бумажку.

В институт душевноболящих Петр и Макар пришли через час. Петр сказал, что он приставлен милицией к опасному дураку и не может его оставить ни на минуту, а дурак ничего не ел и сейчас начнет бушевать.

— Идите на кухню, вам там дадут покушать, — указала добрая сестра-посиделка.

— Он ест много, — отказался Петр, — ему надо щей чугун и каши два чугуна. Пусть принесут сюда, а то он еще харкнет в общий котел.

Сестра служебно распорядилась. Макару принесли тройную порцию вкусной еды, и Петр насытился заодно с Макаром.

В скором времени Макара принял доктор и начал спрашивать у Макара такие обстоятельные мысли, что Макар по невежеству своей жизни отвечал на эти докторские вопросы как сумасшедший. Здесь доктор ощупал Макара и нашел, что в его сердце бурлит лишняя кровь.

— Надо его оставить на испытание, — заключил про Макара доктор.

И Макар с Петром остались ночевать в душевной больнице. Вечером они пошли в читальную комнату, и Петр начал читать Макару книжки Ленина вслух.

— Наши учреждения — дерьмо, — читал Ленина Петр, а Макар слушал и удивлялся точности ума Ленина. — Наши законы — дерьмо. Мы умеем предписывать и не умеем исполнять. В наших учреждениях сидят враждебные нам люди, а иные наши товарищи стали сановниками и работают, как дураки…

Другие больные душой тоже заслушались Ленина, — они не знали раньше, что Ленин знал все.

— Правильно! — поддакивали больные душой и рабочие и крестьяне. — Побольше надо в наши учреждения рабочих и крестьян, — читал дальше рябой Петр. — Социализм надо строить руками массового человека, а не чиновничьими бумажками наших учреждений. И я не теряю надежды, что нас за это когда-нибудь поделом повесят…

— Видал? — спросил Макара Петр. — Ленина — и то могли замучить учреждения, а мы ходим и лежим. Вот она тебе, вся революция, написана живьем… Книгу я эту отсюда украду, потому что здесь учреждение, а завтра мы с тобой пойдем в любую контору и скажем, что мы рабочие и крестьяне. Сядем с тобой в учреждение и будем думать для государства.

После чтения Макар и Петр легли спать, чтобы отдохнуть от дневных забот в безумном доме. Тем более что завтра обоим предстояло идти бороться за ленинское и общебедняцкое дело.

* * *

Петр знал, куда надо идти — в РКИ, там любят жалобщиков и всяких удрученных. Приоткрыв первую дверь в верхнем коридоре РКИ, они увидели там отсутствие людей. Над второй же дверью висел краткий плакат «Кто кого?», и Петр с Макаром вошли туда. В комнате не было никого, кроме тов. Льва Чумового, который сидел и чем-то заведовал, оставив свою деревню на произвол бедняков.

Макар не испугался Чумового и сказал Петру:

— Раз говорится «кто кого?», то давай мы его…

— Нет, — отверг опытный Петр, — у нас государство, а не лапша. Идем выше.

Выше их приняли, потому что там была тоска по людям и по низовому действительному уму.

— Мы — классовые члены, — сказал Петр высшему начальнику. — У нас ум накопился, дай нам власти над гнетущей писчей стервой…

— Берите. Она ваша, — сказал высший и дал им власть в руки.

С тех пор Макар и Петр сели за столы против Льва Чумового и стали говорить с бедным приходящим народом, решая все дела в уме — на базе сочувствия неимущим. Скоро и народ перестал ходить в учреждение Макара и Петра, потому что они думали настолько просто, что и сами бедные могли думать и решать так же, и трудящиеся стали думать сами за себя на квартирах.

Лев Чумовой остался один в учреждении, поскольку его никто письменно не отзывал

оттуда. И присутствовал он там до тех пор, пока не была назначена комиссия по делам ликвидации государства. В ней тов. Чумовой проработал сорок четыре года и умер среди забвения и канцелярских дел, в которых был помещен его организационный гос-ум.

Отмежевавшийся Макар

[текст отсутствует]

Ранние рассказы

Очередной

Третий свисток… Я вхожу в ворота завода, прохожу мимо контрольной будки и иду по огромному заводскому двору в свою «первую», как нумеровалась наша литейная. Асфальтовая дорожка бежит и вьется вокруг выступов и стен колоссальных зданий, где — я слышу — уже начал биться ровным темпом мощный пульс покорных машин.

В мастерскую вхожу почти радостный, — ведь сейчас она оживет, задрожит, загремит — и пойдет игра до вечера…

Здороваюсь с товарищами по работе и усаживаюсь на железной плите пола и спуска к вагранной печи. Закуриваем — иначе нельзя — перед работой и после нее, пред уходом, это делается всегда и всеми. Рука почти автоматически вертит бумагу; не спеша делимся табаком…

Засыпаем в печи металл. Пускаем электромоторы, открываем нефть. И — гаснет солнце за высокими окнами, забывается все… Клубы желто-зеленого чада вихрями рвутся из печей от плавящегося металла. Газ лезет в глаза, горчит рот, тяготит душу…

Содрогаются высокие подпотолочные балки, пляшут полы и стены, ревет пламя под бешеным напором струй нефтяной пыли и воздуха… Неумолимо и насмешливо гудит двигатель; коварно щелкают бесконечные ремни…

Что-то свистит и смеется; что-то запертое, сильное, зверски беспощадное хочет воли — и не вырвется, и воет, и визжит, и яростно бьется, и вихрится в одиночестве и бесконечной злобе… И молит, и угрожает, и снова сотрясает неустающими мускулами хитросплетенные узлы камня, железа и меди…

Бьются горячие пульсы дружных машин; мелькая швами, вьются змеи-ремни.

— Илюш, а Илюш! Ты б слазил, глянул, что там за штука такая. Намеднись ты как ловко насос проноровил… — Обращаются ко мне.

Перед самым спуском уже готового металла в тигли неожиданно застопорил мотор, и монотонно гудящая печь смолкла, накаленные стенки потемнели.

Я иногда исправлял небольшие поломки в машинах, избегая тем необходимости звать монтера. Так это было неделю назад с насосом, подающим воздух. Я сначала хотел отказаться, но, подбадриваемый, взял ящик с инструментом и полез по лестнице к электродвигателю, подвешенному к стене.

Неисправность была пустяковая, и я ее быстро обнаружил. Снизу дали ток — и мертвый мотор ожил, завыл и захлопал приводным ремнем.

И вновь полился поток пламени на распростертый в печах металл.

За звенящими побитыми стеклами окон полуденное солнце омывало землю, и на секунду у меня мучительно сжалось сердце и страстно захотелось в поле — к птицам, цветам, шуршащей травке; в поле — где я, когда был без работы, бродил, утопая в зелени, тянущейся к небу, к жизни, к весеннему неокрепшему солнцу, к тем вон бегущим вольным бродяжкам-облакам…

Льется жидкий металл, фыркая и шипя, ослепляя нестерпимо, ярче солнца. Осторожно и внимательно стоим мы вокруг наполняющегося несгораемого горшка. Потом сразу хватаем

вдвоем за длинные штоки и бегом несем искрящееся литье в соседнюю мастерскую, где выливаем металл в приготовленные формы.

Когда опорожним всю печь, вновь наполняем ее болванками корявой пузырчатой меди и ждем, покуривая и регулируя нефть.

Около нашей печи работали трое — Игнат, старый рабочий, почти ослепший от блеска литья, с постоянно гноящимися, налитыми кровью глазами, и двое нас, новичков, я и Ваня, только недавно поступивших на завод. Мы работали весело, и день пролетал незаметно. Полуголые, мы хохотали и обливались водой, рассказывали, думали — и слушали нескончаемую, глухую, связавшую начало с концом песнь машин…

— И, скажи ты мне на милость, что это огонь не залаживается: чихает — и шабаш!.. — Игнат, наш «старшой», был недоволен и ворчал. После обеда, в печи, действительно, что-то стало часто пофыркивать и клубы вонючего дыма были гуще, чем обыкновенно.

— Ну-ну, стерва, ну-ну, растяпа, черт, поговори у меня, поговори! — Игнат подвинчивал нефти и подбадривал фыркающее пламя. Внутри печи теперь уже раздавались целые взрывы и странное поплескивание; металл нагревался плохо.

Что-то не ладилось. Я подошел, не зная зачем, к мотору, посмотрел на измеритель числа оборотов и прислушался. Машина работала чудесно.

Обернувшись, чтобы уходить, я на мгновение увидел белый огненный бич, рванувшийся высоко из нашей печи. Глухой удар ухнул и повторился раза четыре под сводами крыши мастерской, взмахивая вверх свистящими полосами огня и тяжело опуская их вокруг…

Я стоял у мотора, шагах в десяти от печи и видел, как метнулся куда-то Ваня, как присел, обхватив голову, Игнат…

Инстинктивно я схватил рукоятку и прервал ток. Мотор, повертевшись немного по инерции, остановился.

Упавшие бичи раскаленного металла расходились по радиусам от печи и еще шипели, медленно охлаждаясь, испуская свою страшную силу. Как гады, побеждающие и свободные, они дерзко и вызывающе раскинулись на железном полу во властных изгибах, оставляя на черном далеком потолке и балках беловатые отсветы — свои отражения. В ужасе столпились люди. Странное, необычное безмолвие перекатывалось по заводу из мастерской в мастерскую. Где-то далеко мерно пульсировали машины.

— Погубили, окаянные, — вздыхал кто-то из толпы рабочих, — ах, мучители треклятые… Им, проклятым, деньга дорога, так они заместо нефти хотят, чтоб вода горела. Напустили воды в бак — и ладно….

Я догадался обо всем. Вода, попав с нефтью в печь на жидкое литье, превратилась мгновенно в пар, который разорвал печь и выкинул вон расплавленный металл…

Ваня лежал на полу вниз лицом, двигал ногами и руками и грыз зубами железные узоры. Белый бич попал на его спину и скоро — скорее, чем на полу — остыл на ней. Спина Вани была похожа на шлак, что выбрасывают из топок паровых котлов.

Рабочие стояли молча; за окнами потемнело.

Судороги в пальцах руки Вани быстро замирали; ноги уперлись неподвижно носками в пол, выставив обугленные пятки.

Старый Игнат был подле и плакал, вытирая невидящие глаза тряпками, которыми он обмотал свои сваренные руки.

Через полчаса все машины были пущены, печи заправлены. Послушные моторы, воя, отдавали свою силу. Ремни, соединенные в концах своих с началом, змеясь и щелкая, бежали, бежали…

Склонившееся послеполуденное солнце равнодушно уперлось лучами в тяжко изогнутые хребты трепещущих машин.

<1918>

Маркун

Каждый вечер после ужина, когда его маленькие братья ложились спать, он зажигал железную лампу и садился думать.

Ему никто не мешал. По полу бегали тараканы, ребятишки бормотали во сне и плакали. Гуни сползали с них и пухлые животы дышали туго и тяжко, как у храпевшего отца.

Маркун нашел в книге листик и прочел, что он записал еще давно и забыл: разве ты знаешь в мире что-нибудь лучше, чем знаешь себя. И еще: но ты не только то, что дышит, бьется в этом теле. Ты можешь быть и Федором и Кондратом, если захочешь, если сумеешь познать их до конца, т.-е. полюбить. Ведь и любишь-то ты себя потому только, что знаешь себя увереннее всего. Уверься же в других и увидишь многое, увидишь все, ибо мир никогда не вмещался еще в одном человеке.

Пониже на листике было написано: ночь под 3-е февраля. Мне холодно и плохо. А вчера я видел во сне свою невесту. Но ни одной девушки я никогда не знал близко. Кто же та? Может быть, увижу и сегодня. Отчего мне никогда не хочется спать.

Маркун прочел и вспомнил, что больше он ее во сне не видел. От недавней болезни у него дрожали ноги и все тело тряпкой висело на костях. Но голова была ясна и просила работы. В нем всегда горела энергия. Даже когда он корчился в кошмарах, он помнил о своих машинах, об ожидающих чертежах, где им рождались души будущих производителей сил. Его мучило, если он находил ошибку, неточность и не мог сейчас же ее исправить.

Маркун вынул из печурки бумагу с чертежами, снял клопа со щеки мальчика и опять сел.

На дворе в морозе завизжал свисток паровоза. На большом листе были начерчены крутые спирали. Толстая изогнутая шесть раз труба в своем хребте хранила мощь размаха и вращения. Зубчатые передачи были готовы встретить удары зубцов и зубцы и сдвинуть всякое тяжелое сопротивление.

В углу бумаги Маркун написал: природа — сила, природа — бесконечна, и сила, значит, тоже бесконечна. Тогда пусть будет машина, которая превратит бесконечную силу в бесконечное количество поворотов шкива в единицу времени. Пусть мощь потеряет пределы и человек освободится от борьбы с материей труда.

Чтобы вскинуть землю до любой звезды, человечеству довольно одного моего мотора — станка.

Маркун встал, оперся о печку и сон тихим ветром налетел на него.

В это время в поле разыгрывалась метель и паровозы еле пробивали сугробы и рвали тендерными крюками завязавшие в снегу вагоны.

Через дальнее теплое море шел яркий веселый пароход с смеющимися красавицами. Кроткими глазами они смотрели в большое ночное небо и ждали утра, когда приедут на берег в белые города к родным забытым матерям.

Маркун очнулся.

Архимед, зачем ты позабыл землю, когда искал точку опоры, чтобы под твоей рукой вздрогнула вселенная.

Эта точка была под твоими ногами — это центр земли. Там нет веса, нет тяготения — массы кругом одинаковы, нет сопротивления. Качни его — и всю вселенную нарушишь, все вылетит из гнезд. Земля ведь связана со всем хорошо. Для этого не нужно быть у земного центра: от него есть ручки — рычаги, они выходят по всей поверхности.

Ты не сумел, а я сумею, Архимед, ухватиться за них.

Сильнейшая сила, лучший рычаг, точнейшая точка — во мне, человеке. Если бы ты и повернул землю, Архимед, то сделал бы это не рычаг, а ты.

Я обопрусь собою сам на себя и пересилю, перевешу все, не одну эту вселенную.

Лампа, я не нахожу света светлее твоего.

Маркун любил чертежи больше книги. В этой сети тонких кривых линий, точных величин, граней и окружностей дрожала оживляющая сила машин.

Он раз написал линиями песню водяного напора. Он вычертил с линейкой и циркулем

эту бурю линий и повесил на стену. Когда он спросил у одного друга объяснения чертежа, тот не понял и отвернулся. А у Маркуна от этого чертежа волной поднималась музыка в крови.

Если устроить двигатель, — думал Маркун, — вырабатывающий в секунду определенную величину энергии; если связать с ним непосредственно одним валом другой двигатель, дающий в ту же секунду энергию в два раза большую против первого двигателя, и если давать им неограниченное количество естественных сил (воды, ветра), то тогда общая работа этой пары моторов будет такова: вращение сначала будет соответственно работающей естественной энергии в первом малом моторе, потом увеличится в два раза, так как второй мотор одновременно съедает естественных двигающих сил в два раза больше. Но первый мотор тогда тоже начнет потреблять силы в два раза больше против первого момента своей работы, иначе говоря, он заработает с мощностью второго мотора. А второй мотор, как в два раза сильнейший, опять будет работать энергичней первого в два раза (значит — в четыре относительно первого момента) и потянет за собою вал на четверное ускорение против скорости в первый пусковой момент. Потом ускорение будет равняться 8, 16, 32… Итак, мощность будет возрастать бесконечно; предел ее — прочность металла, из которого сооружены моторы.

Маркун нагнулся над чертежом. Его турбина имела шесть систем спиралей, последовательно сцепленных и последовательно возрастающих по мощности. Следовательно, ускорение будет шестикратным. Вода же будет так расходоваться, что будто работает одна последняя шестая спираль; это потому, что другие пять спиралей будут работать одной и той же водой.

Всякая теория — ложь, если ее не оправдает опыт, — подумал Маркун. — Мир бесконечен и энергия его поэтому тоже бесконечна. Моя турбина и оправдала этот закон.

И огнем прошла неожиданная мысль, что если бы найти металл с бесконечной способностью прочного сопротивления, бесконечной крепости. Но такой металл есть: он просто одна из видов мировой энергии, вылитая в форму противодействия. Это вытекает из общего закона бесконечных возможностей сил и их форм. Но тогда моя машина — пасть, в которой может исчезнуть вся вселенная в мгновение, принять в ней новый образ, который еще и еще раз я пропущу через спирали мотора.

Я построю турбину с квадратным, кубическим возрастанием мощности, я спущу в жерло моей машины южный теплый океан и перекачаю его на полюсы. Пусть все цветет, во всем дрожит радость бесконечности, упоение своим всемогуществом.

Били часы. Маркун не считал их.

На постилке затрясся его маленький брат в пугающем сне. Маркун нагнулся над ним…

Он опять сидел у лампы и слушал вьюгу за ставнями.

Отчего мы любим и жалеем далеких, умерших, спящих. Отчего живой и близкий нам — чужой. Все неизвестное и невозвратное — для нас любовь и жалость.

Совесть сжала его сердце и страдание изуродовало лицо. Маркун увидел свою жизнь, бессильную и ничтожную, запутанную в мелочи, ошибки и незаметные преступления.

Он вспомнил, как этого маленького брата, который теперь бьется от страха во сне, он недавно столкнул со стола, и с той поры тот молчал, сторонился и закрывался от нечаянного быстрого взмаха его руки, думал, что будет опять бить.

Лампа гасла. Метель пошла на сутки.

Маркун вышел на двор. Ветер гудел в туче снега, а иногда вверху метель прорывалась и видны были одна-две испуганные звезды на сером будто близком небе.

Маркун крикнул. Холодный ком ударил его по лицу и потек за рубашку. На миг вдруг все стихло и звезда совсем близко улыбнулась ему.

Сколько мы видим и сколько не видим звезд, — подумал Маркун. — Они светятся отраженным светом чужих солнц. А если на других звездах живут сильные разумные существа: они ведь превращают этот свет в работу, поглощают его своими машинами и их миры нам не видны, они темны, и, может, есть рядом с землею, ближе луны, большая темная

планета, а мы ничего про нее не знаем. Она вбирает в себя всю энергию света и тепла, не дает никаких отражений, невидима и мертва для нас.

Маркун вернулся домой. Лампа потухла и фитилек горел далекой красной искоркой. Он лег на пол и замер до утра.

Прошли месяцы. Маркун раскопал где-то две газовых трубы нужных размеров, согнул их спиралями и сделал приблизительную модель своей турбины. Но не стал ее сразу пробовать, а спрятал в сарай и забыл про нее. Теперь для него потянулись дни томительного счастья ожидания.

Маркун верил в себя. Знал, что нет, не может быть ошибки в спрятанной машине. Она пойдет. Ее мощь безгранична. Он, Маркун, победил многие силы. Никто еще ничего не знает. Не знает, что это он дал человеку в его немощные руки новый молот безумной мощи.

Была весна. Маркун ходил по вечерам в поле и глядел, как горел закат на небе и в болотах и в лужах. Везде была вода, вода и тишина. И прошлый год и вот теперь он весной кого-то любил. Он был незаметен и жил одиноко.

Но в детстве, когда он потерял веру в Бога, он стал молиться и служить каждому человеку, себя поставил в рабы всем, и вспомнил теперь, как тогда было ему хорошо. Сердце горело любовью, он худел и гас от восторга быть ниже и хуже каждого человека. Он боялся тогда человека, как тайны, как Бога, и наполнил свою жизнь стыдливою жертвой и трудом для него.

Раз он полдня сгружал на станции дрова из вагона, а на заработанные деньги купил красную погремушку ребенку-слепцу, который жил у соседей в сарае, куда запирала его мать, чтобы он не убежал и не убился, когда она уходила на работу. Он так привык к сараю, что не плакал там, и не умел играть и смеяться.

Весеннее прохладное небо темнело, будто уходило выше. И на краю поля поднимался туман.

Маркун стоял под лозиной в тишине и влажной мути, ползущей по полям. И не мог понять своей скрытой любви ко всему.

Чуть была видна избушка лесного сторожа. К ней подходила девушка и маячила в синем сумраке красноватой юбкой. Она махала рукой. Должно быть кликала кого из лесу, кричала мягкою грудью, ласково и протяжно, и улыбалась.

Маркун ничего не слыхал, и прилег от неожиданной муки и боли на землю.

Неслышно прошел мимо странник, и сразу пропал на дороге.

Эту ночь Маркун не спал. Он лежал у окна и смотрел в небо на улыбающиеся звезды, на затаившуюся ждущую ночь.

Завтра он пустит машину. Все в нем сразу стихло, сжалось, и он забылся, будто упал в колодезь без дна.

Еще горела последняя утренняя звезда и от близкого солнца накалялся восток, когда Маркун проснулся и сразу вскочил. Он что-то вспомнил, какой-то огонь, жаркий и мгновенный, прошел через него и потух. А Маркун все забыл. Он стоял, двигал скулами, прилипался и тянулся мыслью за убегающими тараканами, и не мог ничего вспомнить. Большое и неизвестное ударило его во сне. Он стоял и ловил, что ушло и не вернется. Но след, прямой и острый, остался в душе и изменил ее.

Человеку отдано все, а он взял только немного, — вспомнил Маркун свою старую мысль. И не стал жалеть, что великий восторг оборвался в нем и он не узнал его.

Маркун вышел на двор. Было тихо, морозно и светло. Если глянуть сейчас в просторном поле вверх по дороге, то увидишь далеко, и кто-то идет к тебе тихо и прямо, издалека.

Маркун пристроил в сарае к углу турбину, привинтил чашку, в которую упиралась пята машины, и воронку, и принес от крана с улицы пять ведер воды. Воду он вылил в боченок, потом смазал машину, повернул ее оборота два рукой и засмеялся своей одинокой радости.

Позвать бы, сказать кому? Нет, тогда, после. Его и так считают дураком, не тем дураком, какого любят и жалеют, а тем, которого ненавидят.

И он вспомнил девушку, что махала у леса рукой и звала. Если бы она пришла сейчас в сарай. Рассказал бы ей все, она поняла бы его и он взял бы ее за ту же руку. И Маркун улыбнулся от счастья и тоски.

Загудел гудок. Маркун вспомнил о труде, о работе до крови, о борьбе и неутомимости, о гордой человеческой жизни, которой полна ликующая земля, о громе машин и потоках электричества.

Он зачерпнул ведро воды и вылил его в воронку над турбиной. Он был спокоен и уверен. Отпустил кран — и машина рванулась и загремела. Вокруг ее повисло неподвижное кольцо отработанной выбрасываемой воды.

Маркун все подливал воды. Турбина ревела и, казалось, стояла неподвижно от быстрого вращения. В воронке вода крутилась вихрем от всасывания машиной. И слышно, как выла и стонала вода по спиралям. Машина наращивала силу. Машина расходилась и свистела от хода и резала водяным вихрем воздух.

Маркун стоял. В нем была тревога и ожидание. Все замерло в нем, будто он только родился и ничего не понимал. Он в первый раз не думал, никакая мысль не вела его.

От ударов машины в стену трясся и подпрыгивал весь сарай. Внизу задымился подшипник, через секунду из него дрожью било пламя.

Машина увеличивала ход. Мощь ее росла и, не находя сопротивления, уходила в скорость.

Лопнула нижняя спираль, с визгом оторвался кусок трубы и, вращаясь, ударил в деревянную стенку сарая, пробил ее и вылетел на двор.

Турбина выскочила из подшипника и зарылась в землю.

Маркун вышел за дверь и остановился. Лозина низко опустила голые хворостины и шевелила ими по ветру.

Загудел третий гудок. Второго Маркун не слыхал.

«Я оттого не сделал ничего раньше, — подумал Маркун, — что загораживал собою мир, любил себя. Теперь я узнал, что я — ничто, и весь свет открылся мне, я увидел весь мир, никто не загораживает мне его, потому что я уничтожил, растворил себя в нем, и тем победил. Только сейчас я начал жить. Только теперь я стал миром.

Я первый, кто осмелился».

Маркун взглянул на бледное, просыпающееся небо.

Мне оттого так нехорошо, что я много понимаю.

<1921>

Апалитыч

[текст отсутствует]

Волчек

Был двор на краю города. И на дворе два домика — флигелями. На улицу выходили ворота и забор с подпорками. Тут я жил. Ходил домой я через забор. Ворота и калитка всегда были на запоре, и я к тому привык. Даже когда лезешь через забор, посидишь на нем секунду-две, оттуда видней видно поле, дорогу и еще что-то далекое, темное, как тихий низкий туман. А потом рухнешься сразу на земь в лопухи и репейники и пойдешь себе.

Выйдет навстречу не спеша — знает, что это я — Волчек, поглядит кроткими человечьими глазами и подумает что-то.

Я тоже всегда долго глядел на него, в нем каждый раз было другое, чем утром.

Раз шел я по двору и увидал, что Волчек спит в траве. Я тихо подошел и стал. Рыжий Волчек чуть посапывал и ноздрями на земле выдувал чистоту. По шерсти у него пробиралась попова собака.

Кругом было тихое неяркое утро. Солнце приподнималось в теплом тумане, который все рассеивался и рассеивался и сжимался в голубой высоте в облака.

Далеко выл у запертого семафора паровоз и звонили колокола по церквам. Репьи стояли тонко и прямо, ни ветра, шума, ни ребятишек не было.

Волчек проснулся и не двинулся, а лежал как лежал с открытыми глазами, глядел в темную сырость под лопухи.

Я наклонился и притих. Волчек, должно быть, не знал, что он собака. Он жил и думал, как и все люди, и эта жизнь его и радовала и угнетала. Он, как и я, ничего не мог понять и не мог отдохнуть от думы и жизни. Во сне тоже была жизнь, только она там вся корчилась, выворачивалась, пугала и была светлее, прекраснее и неуловимее на черной стене мрака и тайны.

Спереди, пред ним и предо мной, все радуется и светится, а сзади стоит и не проходит чернота, и в снах она виднее, а днем она дальше и про нее забываешь.

Волчка давил виденный сон. В нем он тоже видел эти лопухи и сырую тьму по корням, но там они были и такие и не такие. И вот он опять смотрел и не мог ничего понять.

На дворе была еще собака Чайка. И когда были собачьи свадьбы, собаки бесились, гонялись за Чайкой, один Волчек был такой же, как всегда, и не грызся из-за Чайки.

Хозяин думал, что он больной, и давал ему больше костей и щей после ужина. Но Волчек был великан и совсем здоров.

Чужих ребят, какие приходили играть на двор, он не хватал за пылки, а бил оземь хвостом и глядел с уважением и кротостью.

Я Волчка за собаку не считал, за то и он полюбил меня, как любит меня мать.

Я тоже ничего не знал и не понимал и видел в снах тихое бледное видение жизни. Смутные облака трепетали в небе, и ветер гнул целые дубы, как хворостины, а я стоял в каком-то саду и не слышал, как шумел ветер, и сразу удивился и понял, что это сон, и проснулся.

Было полнолуние, и в комнате бледный свет лежал на полу. Я потянулся и попробовал рукой холодные доски.

Раз я спросил у отца, который любил меня и жалел, как маленького, не знает ли он чего, чего еще никто не знает и про что и в книгах не написано. Он сказал, нет, я все думаю про Бога, но его тоже не могу узнать.

А на другой день за обедом досказал: оттого мы ничего не знаем, что и узнавать, должно, нечего. А тебе к чему нужно знать?

А я сказал — да, а жить-то как же? А узнавать есть чего, хоть бы то, отчего мы хотим знать все, если и узнавать нечего, все живет само собой в черноте и пустоте. Отчего кругом томление и борьба? Вот мы прожили немного после революции и уж увидали, как легко устроить всех сытыми и довольными, лишь бы осталась у нас власть нас самих. Но нам захотелось знать, и не нам одним.

Отец помолчал и перестал есть. Я всю жизнь — сказал он вечером — работал, кормил вас и одевал, не мог никогда не думать, а теперь привык. Теперь жизнь другая, и я все растерял. Но я люблю тебя, и ты, может, выйдешь на большую дорогу, тогда делай, что хочешь, а я не могу, я уморился и сидя сплю. Я только жду хорошего, а какое оно, не могу узнать. Всю жизнь я ждал чего-то хорошего и тебе отдаю эту надежду.

На другой день я так же лез с работы через забор и Волчек встретил меня любящими глазами, и в пустых водяных его глазах сидела мертвая сосущая мысль, как каменная гора на дороге домой.

Чайка юлила под ногами, а Волчек молча стоял вдалеке и смотрел. Ему оставалось одно — либо издохнуть, либо дождаться первой собачьей свадьбы и схватиться с другими кобелями из-за Чайки. Но Волчек оставался посредине и раздумывал. Тут была его худшая гибель, и он видел сны, пугался и жил хуже мертвого.

— Волчек, Волчек, Волчек… — Я прошептал это и погладил его. Он прижмурился и заблестел глазами. На миг он ожил и понял, что я жалею и люблю его, как меня жалеет отец.

Может, он и глазами заблестел оттого, что понял мою жалость и любовь, взял знание, и в первый раз сзади сияния жизни не было черноты и угнетения.

— Волчек, Волчечек…

Волчек от радости подметал хвостом и повизгивал. Отчего раньше я не догадывался гладить и обнимать его? Нет, тогда бы он понял мой обман и потерял свое первое верное знание, что есть любовь в жизни и сочувствие.

Волчек вертанул шеей, и я увидел, какая у него не собачья, почти человеческая круглая задумчивая голова. Глаза стояли и вглядывались. Он живет не лучше меня.

В этот вечер я пошел по улицам. Белые городские дома в синей луне стояли и глядели окнами на тихо гуляющих людей. Томление и раздумье было во всех.

Кто не любил, тот хотел любви. И никто ничего не знал, зачем это.

Я встретил Маню, в которую был немного влюблен. С ней шел человек с добрым и счастливым лицом.

— Это Витя, — сказала Маня.

И я пошел рядом. Во мне поднялась тоска. Я чувствовал, как горело мое тело. Но в голове было ясно и хорошо. Я смеялся в мысли и мучал себя. Я знал, отчего во мне тоска и отчего вечер кажется задумчивым любящим далеким существом, прилегшим на землю. Я знал и смеялся. Знал, что все не такое, как кажется. И вот вечер, и эта Маня, не задумчивые полюбившие существа, а другое, что я еще не знаю. И по истинной сущности все это, наверно, ничтожно, жалко и гадко.

Если бы созналось это всеми, то увидели бы, что не любить надо, а ненавидеть и уходить дальше, начинать перестраивать все сначала.

Отчего все ходят по земле, и никто не знает, что она такое?

На другой день я на работу не пошел, а ушел скитаться в поле. А там лег в рожь и думал до вечера, где найти настоящих людей, которые все знают. Где лежат настоящие книги?

Сам я ни о чем не мог догадаться и что узнавал, в том сомневался и начинал опять сначала. А жить и не знать — так и Волчек не мог. Я должен ясно увидать все до конца и быть уверенным и твердым в жизни.

Раньше никому не нужно было знание, потому что нужен был хлеб и размножение людей. Благо было в полном удовлетворении тела. Теперь благо в истине, только это одно я узнал в тот день и пошел счастливый домой.

На дворе я лег в траву и стал глядеть в землю — пыль, песчинки, дохлая мошка и муравьиные дороги.

<1920>

Волы

За криндачевскими рудниками стоит богатая станица, не станица, а хлебный колодезь.

А под старыми казачьими степями, по которым уходил когда-то с сыновьями Тарас Бульба в Запорожскую Сечь, лежит уже тысячи веков жир земли — тугой плотный уголь, каменная сила. Лежит и полеживает.

Вверху в белых мазанках живут потомки запорожцев и уже забывают про турецкого султана, только развешаны в горницах кривые старые сабли и на ножнах темнеет древний серебряный узор.

Старики еще помнят старинные заунывные песни похода со свистом про турецкую нечисть и про шляха. И, когда с Москвы шли большевики, то они пророчили, что обернулись турки с другой стороны и опять идут на православие.

Старики приказывали сесть на коней всей молодежи и, как допреж, отстоять святую веру, жен и весь свой тихий Божий народ. — Ляжем всеми, сынки, за Божий крест на наших степях, — говорили на сходах усатые деды.

Но сорокалетние сынки помалкивали и в томлении глядели за станицу в вечереющие просторы. Они знали, что такое война, а креста не чуяли так, как отцы, им больше хотелось овец и волов, каменный дом, ухватливую хозяйку.

И хоть грех в церковь не ходить, но и жить в бедности и разорении, стегать на коне по степи — не модель.

Отрываться от любимого двора, хозяйства, от родной станицы, бросать жену и все, чем живешь и что любишь, — не лежит к тому душа, что ни говори старики.

С рудников по праздникам приходят кацапы до казачек; не крестились у храма и грозили спьяна лавочникам большевиками. Черные и чужие, они бродили до утра по станице.

Бросай, Ванька, водку пить.
Пойдем на работу.
Будем деньги получать
Каждую субботу.

Пришел Деникин, сгреб хлеб и волов, повесил троих шахтеров и слился на Москву.

Помутилась душа и у старых казаков. Еще тише и любимей стали дворы и амбары, и на жен кричать стали реже.

— Где же вона, правда Божия? Знать, и у тех, кто с крестом, ее нету. И из креста глядит антихристова харя…

Перестали ходить кацапы с рудника, пропали, как один.

— Пусть и не вертаются, бисовы дети, от них борщ кислый, голодранцы лапотные. — Так брехали старые бабы.

Казаки ухмылялись: Бог жабе хвоста не дал, чтоб травы не толочила. А ум бабий, что хвост жабий.

Ветром пронеслись назад генералы, отняли всех волов, оставили только кому пару, кому две и пропали к Черноморью.

Пропылили не спеша последний раз родные волы и пропали навек.

Много ушло с генералами молодежи и стариков. Остались только у кого помутилась душа и кто потерял концы привычной правды или пожалел степь и хозяйство. Пришли большевики. К деду Антону Карпычу без спроса и без разговору ввалился в хату молодой веселый человек в кожаном картузе и лба не перекрестил.

— Здорово, станичник!

— Здоров будь.

— Далеко белые?

— А хто же за ними гнался?

— Покурить можно?

— Твоя ж воля.

— Так. А ты не обижайся, старина, покурю и уйду. Трогать не будем, не до вас пришли, живите себе.

Посидел, посидел веселый кожаный картуз, засмеялся и пошел.

— Прощай.

— С Богом, сынок! — И повеселел старик: люди ж и они. Под вечером, как начали сниматься большевики, вынес сала ломоть и дал какой-то красной звезде.

— Спасибо, отец! Свидимся еще.

— А как же? Да вот волов свели, плешь их башке, пшеницу тоже посвезли.

— Ничего, ничего, сработаем еще, наживем. Теперь дело видней. Всем плохо, перетерпим.

Старик зашел в кучу солдат, осматривался и слушал.

— Так не ждать их?

— Как хошь, хоть жди, да не дождешься.

— А вы не турецкой будете породы? Крест-то носите?

— Крест сжечь надо, на нем Христа распяли. А породы мы все одной. Это они крест всем несут, а мы крест со своей спины снять хочем, чтоб жилось легче.

— Так-так… — Старик понял все слова и пошел домой обдумывать.

Ушли и большевики. У соседа Родионыча остались нетронутыми две пары волов. Он приходил каждый вечер к Антону Карпычу и радовался, и клял.

— А? Ведь хозяин еще я, Карпыч, а? Как скажешь? Може, не воротится фронт Николы. И степь и волы — наши, и хаты целы, и хлебом до лета натянем… И крестов с церквей не посшибали, брехня одна была.

Карпыч думал и думал, где истинный бес, где печатано клеймо его? Не там ли, где волы его? Не крест ли печать бесова… Не можно никак молиться тому, на чем замучили Христа, как же этого никто не узнал? Он вспомнил веселого хлопца в кожаном картузе. Не бес же он, и клеймо на нем небесное — звезда. Карпыч уснул и увидел во сне, будто тихо бредут по степи его волы домой с Черноморья.

<1920>

В мастерских

[текст отсутствует]

Странники

Митя ходил каждый день в лавку за хлебом по тихой улице, где уже кончался город и начиналось поле.

Ходить было далеко и жарко, а хорошо — было видно поле и дорога, и по ней шли странники. В сердце поднималось томление, хотелось ему уйти, куда уходят каждый день люди с сумками и никогда не приходят домой.

Хлеб брали в долг — и Митя ходил с книжкой, где лавочник Петр Васильевич писал карандашиком: «узето хе 8 ко». «Взято хлеба на 8 копеек», — догадывался Митя.

Когда шел он с хлебом домой, то садился на камень у заставы и глядел. Скоро будет двенадцать часов: загудит гудок и отец придет обедать, а Митя сидел и думал.

Поле было большое и тихое, и сейчас никто не шел по дороге, все прошли и скрылись за лесом.

Солнце горело, как костер, и не было ни ветра, ни тихого разговора на дороге.

Пыльная лебеда росла на канаве, и внизу, у корешков, у комочков, по бугоркам лазили муравьи и спали божьи коровки.

Митя думал, куда идут дороги и где конец света. Он давно узнал, что и поле, и леса, и странники — днем, как сонные, только ночью начинают жить по-настоящему и шепчутся по вечерам.

Вечером он уходил к ребятам, к Степанихе на огород. По завалинкам пели сверчки, и кто-то сидел и молчал в кустах.

Они сидели под плетнем и слушали, как носятся и поют комарики над головами.

Митя залезал на плетень, и опять было видно поле. Теперь там было темно и ходили там звезды. Оттуда был слышен шум, будто вышли из лесов и оврагов странники и уходили толпою по дороге в другой город.

Днем Митя дрался и играл, а вечером начинал любить и жалеть всех.

Больше всего он любил, чего никогда не видал: дальние неизвестные края, куда хотелось уйти и куда уходили нищие и богомольцы после зари, когда бывает прохладно и тихо.

Небо, плетни и шептавшиеся поля, где ходят и ищут люди по ночам, моргающая звезда звали Митю на дорогу идти до утра, встретить, чего никто не видал.

Он знал, что собаки дохнут и их бросают в канаву. Издох Волчок зимой, и его не нашел больше Митя.

Так было нельзя.

И Митя думал, что странники уходят в другую землю, на конец света, где встречаются со всеми, они жалеют всех и не могут тут оставаться.

Во сне он видел другую землю, где солнце светит днем и ночью, как большой костер, и кругом его сидят радостные тихие странники и Волчок, а вокруг сторожами ходят звезды.

<1920>

Серёга и я

Мы шли с работы. Около домов на камне лежал белый холодный свет вечереющего дня. И солнце было низко; оно рано уходило за кирпичные трубы кочегарок, эти угрожающие пальцы земли. Начиналась тихая сонная осень. Ветер дул реже и не был так жесток, как раскаленным ноющим летом. Небо побелело и стало ближе и ясней, будто опустило глаза к человеку.

Каждую прожитую осень я помнил с детства, и всегда она была такая же, как теперь. Белое небо, белая земля, пустой безголосый простор без конца и холодно.

По мостовой гремят телеги и ломовые на них спят, только передний дремлет и посматривает и махает без толку кнутовищем.

Мы дошли до слободы, где жили, и увидели поле. Там никого не было, и лес был не за семь верст, а прямо против нас. Он стоял и смотрел на жнивье, на каменный город и на нас. В стороне от леса на песчаном обдутом кургане стоял какой-то человек и будто всматривался в далекий город. Он стоял и не шевелился. Может быть, это была палка или забытое исклеванное вороньем чучело на бахчах. А я думал и знал, что там человек.

Старый Волчек встретил нас и обрадовался. Умные незвериные глаза ласкались и любили. Я как родился, помнил его. Волчек хорошо чуял это и на мой голос отзывался криком не по-собачьи.

Мой товарищ Сафронов пошел в свой переулок. Он знал и видел то же, что и я.

Нам обоим надоело вставать по гудку, и мы собирались бежать на Дон в кусты жить рыбаками. Мне больше хотелось уйти в пастухи, но и рыбаком быть хорошо, и я согласился.

До поры до времени мы молчали и таили в себе эту единственную нашу радость.

— Эх, хорошо бы, — говорил я.

— Хорошо, — откликался Сафронов.

— Ладно, штоль?

— Ладно.

И на том мы кончали.

Мастерская давила и ела наши души. Люди там делались злыми.

Цельный день мы таскали носилки со стружками и мусором, а то лодырничали, уходили в траву на задний двор и не боялись никого: все-равно навеки уйдем скоро отсюда.

— Эх, Серега, Серега… — Ни к чему говорил я от тоски и тихой радости скорого спасения.

— Да, Андрюх, будет нам жисть и не сказывай… Вон, вить, што, как оборотилось дело-то…

Серега Сафронов был умен и рассудителен, как большой мужик. Он был из деревни, а я городской. Во всех людях он видел мастеров в десятников, а я — не знаю кого, только боялся их.

И мы сошлись душа в душу, без него я пропал бы, а может быть, и он без меня. Не узнали, а почуяли мы это и полюбили друг друга и слепились, как два щенка на льдине.

Сафронов ушел и не оглянулся. Я постоял, постоял, посмотрел, как темнеет и тихнет все, пропадают поля, и пошел домой.

Дома я зажег лампу и взял любимую книжку. Листнул ее и прочел: в селе за рекою потух огонек — Мать спала. Волчек гавкал на дворе и жужжали под потолком издыхающие мухи.

Я увидел лето и большую белую ослепляющую реку в синих лучах. На песке, на том боку, засыпает соломенная деревня и брешут собаки, и нигде — никого. Только глядит в темное небо оттуда чей-то поздний огонь из окна. Должно, лампадка. Зудит мошкара над головой, и еще тише.

Тухнет огонь, будто его и не было. И не найдешь глазами, где была деревня. Обрадовалась и загудела мошкара — и сразу пропала. Один остался комарик и звенит как за две версты, а он на носу. Маленький и живой. Я мал и один, тихо и темно. Но сразу может кто-то показаться, ударить, загреметь и все осветить. И увидишь не то, что видно днем, а другое, и кто-то посмотрит оттуда на тебя, улыбнется и скроется.

А утром будут те же луга, поля, солома, деревня и плетни. И солнце ползет и чешет пашни. И я увижу, что здесь родился, и никуда не пойду.

Волчек ныл у сенец. Ветер шарахался в ставни. Мухи притихли на потолке, мать проснулась и глядела на меня.

Я задремал на столе и увидел счастливый сон, а утром забыл его и не мог рассказать.

На другой день мы с Серегой работать не пошли. А пошли в поле, куда подальше. Там мы залегли в песчаном логу и стали думать каждый про свое.

Солнце туго лезло по верху, выдирало из земли последнюю травку и растекалось по прохладному белому небу.

Сейчас ребята таскают там носилки. Долго еще до вечера, подумал я, и мне стало нехорошо на душе.

— Серег, а Серег? — позвал я.

— Ну — што?

— В селе за рекою потух огонек…

— Игде?

— Вечером на том боку в деревне…

— Нук штож.

Мы лежали на земле, как на теплой ладони. Осыпался песок и за шею поналезли муравьи. Парило будто весной. Мы поняли, что лежим прямо против неба и что мы живы. Я прижался к земле и почуял, как лечу вместе с ней и люблю.

Песок перестал ссыпаться, и ветер совсем стих. Я махнул рукою — ничего не было надо мною. Серега переобувался и слушал… Я схватился за траву и испугался. Мне подумалось, что я падаю, и я замер и прижался. Песок был горяч и крепок, и я отошел.

— Тут ведь земля не такая как у нас, — сказал я Сереге тихо, чтобы он ничего не узнал.

— Тут не земля, а песок.

На дороге пыль закрутилась столбом.

— Пошли штоль?

— Пойдем.

Мы тронулись к городу. Ветер стегал песком и завывал в стоячих сухих палках от подсолнухов. И откуда он взялся? Ничего не было…

— Сереж, Сережа… Когда ж на Дон скроемся? В селе за рекою потух огонек…

— Обожди. Надобно всех ребят с мастерской взять. Что ж они-то? Всеми тогда уже и тронемся оттуда, пропади она пропадом.

— А пойдут они с нами?

— Да обеспека, а то как же…

— Ну, пойдем, мне тоже их жалко. Мы одни што!.. Навстречу ехали мужики с базара, знакомые ребята прокатывались сзади, а потом пристали к нам.

— Знаешь што, Сереж? Пойдем к нам домой, я тебе книжку прочту, там складные стихи.

Белогорлик

[текст отсутствует]

Живая хата

[текст отсутствует]

Жажда нищего
(Видения истории)

Был какой-то очень дальний ясный, прозрачный век. В нем было спокойствие и тишина, будто вся жизнь изумленно застыла сама перед собой.

Был тихий век познания и света сияющей науки.

Тысячелетние царства инстинкта, страсти, чувства миновали давно. Теперь царствовал в мире самый юный царь — сознание, которое победило прошлое и пошло на завоевание грядущего.

Это был самый тихий век во вселенной: мысль ходила всюду неслышными волнами, она была первою силой, которая не гремела и не имела никакого вида.

Века похоронили древнее человечество чувств и красоты и родили человечество сознания и истины. Это уже не было человечество в виде системы личностей, это не был и коллектив спаявшихся людей самыми выгодными своими гранями один к другому, так что получилась одна цельная точная математическая фигура.

На земле, в том тихом веке сознания, жил кто-то Один, Большой Один, чьим отцом было коммунистическое человечество.

Большой Один не имел ни лица, никаких органов и никакого образа — он был как светящаяся, прозрачная, изумрудная, глубокая точка на самом дне вселенной — на земле. С виду он был очень мал, но почему-то был большой.

Это была сила сознания, окончательно выкристаллизовавшаяся чистая жизнь. Почти чистая, почти совершенная была эта жизнь горящей точки сознания, но не до конца. Потому что в ней был я — Пережиток.

В век ясности и тишины вылетел я из смрадного тысячелетия царства судьбы и стихийности и остался тенью на сияющем лике сознания; на образе Большого Одного.

Я был Пережиток, последняя соринка на круглых, замкнутых кругах совершенства и мирового конца.

Сознание, Большой Один превозмогал последние сопротивления природы и был близок к своему покою.

Большой Один кончал работу всех — камня, воды, травы, червя, человека и свою.

На пути к покою у Большого Одного оставался один только я — это было страшно и прекрасно.

Я был Пережиток, древний темный зов назад, мечущаяся злая сила, а Он был Большой и был Сознанием — самим светом, самою истиной, ибо когда сознание близко к покою, значит оно обладает истиной.

Но почему я, темная, безымянная сила, скрюченный палец воющей страсти, почему я еще цел и не уничтожен мыслью?

Это было единственной тайной мира, другие давно сгорели в борьбе с сознанием.

Мне было страшно от тишины, я знал, что ничего не знаю и живу в том, кто знает все. И я кричал от ужаса каменным голосом, и по мне ходил какой-то забытый ветер, прохладный, как древнее утро в росе. Я мутил глубь сознания, но тот Большой, в котором я был, молчал и терпел. И мне становилось все страшнее и страшнее. Мне хотелось чего-то теплого, горячего и неизвестного, мне хотелось ощущения чего-нибудь родного, такого же, как я, который был бы не больше меня.

Мне хотелось грома, водопадов и жизни угрожаемой смертью, а тут была тишина и ясность, тишина и последняя упорная душа.

Я хотел гибели, скорой гибели, и еще больше хотел чего-нибудь темного и теплого, громкого и далекого. То, что было теперь, то было не больше того, что было при моей юности в древности.

И я начал погибать, потому что начал видеть дальние чудесные вещи, а разное шептанье и желанье теплоты во мне прекратилось.

Я увидел одно видение прошлого и стал другим от радости. Я увидел бой еще раннего слабого сознания с тайной. (Может, это мне показал Большой, в котором я был, — я не думал тогда о том. А я уже начал чуть думать! Стал плохим Пережитком.)

Еще были города, и в небе день и ночь из накаленных электромагнитных потоков горела звезда в память побед человечества над природой.

Моря были освещены до дна, и к центру земли ходили легкие машины с смеющимися детьми.

На северном полюсе горел до неба столб белого пламени в память электрификации мира.

Маленькие девочки тоже носили имена Электрификации, Искры, Волны, Энергии, Динамомашины, Атмосферы, Тайны.

А мальчики назывались Болтами, Электронами, Цилиндрами, Шкивами, Разрядами, Амперами, Токами, Градусами, Микронами.

Тот век тоже был тихий: только что была кончена страшная борьба за одну истину и настал перерыв во вражде человечества и природы. Но перерыв был скучением сил для нового удара по Тайнам.

Ученый коллектив с инженером Электроном в центре работал по общественному заданию над увеличением нагрузки материи током через внедрение его с поверхности вглубь молекул.

Человечество давно (и тогда уже) перестало спать и было почти бессмертным: смерть стала редким случайным явлением, и ей удивлялись, а умерших немедленно воскрешали. Организм беспрестанно возобновлялся в потребностях и работал без перерывов. У людей разрослась голова, а все тело стало похоже на былиночку и отмирало по частям за ненадобностью. Вся жизнь переходила в голову. Чувства и страсти еле дрожали, зато цвела мысль.

Но ничто не уничтожалось у этих людей: только переходило в сознание, снизу вверх. Они понимали любовь, красоту, страсть, всякую старую силу, всякую темную душу, но не жили сами этим, а только сознавали это. Жили же они мыслью, познанием.

Их сознание было соединением всех пережитков, хранилищем явлений прошлого, памятью обо всем, вдохновленной волей к бесконечному.

Эти люди жили тем, что отрывали кусочки у природы и складывали их в себя, составляли память, а память — это сущность сознания. Потом этой же памятью о прошлом они воевали за будущее, употребляли его как орудие, беспрестанно усиливавшееся благодаря напряжению и борьбе.

Сознание — это деятельная память. Так я увидел в том веке.

Ученые с инженером Электроном работали сплошным временем. Сам Электрон был слеп и нем — только думал. От думы же он и стал уродом.

Иногда легкая бескрылая машина уносила его на высокую башню — Атмосферный напор 101, где Электрон работал тоже над какой-то новой конструкцией.

Я заметил, что эти люди не поднимали никогда головы и не смеялись. На земле не было ни лесов, ни травы и перестали кричать звери. Одни машины выли всегда, и блестели глаза электричества.

Женщин было меньше мужчин, и любви между полами почти не было. Женщины гибли и от ожидания гибели становились спокойными и тихими, как звезды. Бессмертие их не касалось. Мужчины-инженеры не говорили об этой новой правде женщинам. И они не

спрашивали, а молчали и ходили белыми видениями в синих залах горящих городов. Были времена решительных ударов, и женщина казалась всем насмешкой.

Времена стихали, и вселенная работала в тишине. Инженеры были все, а инженеры только думали, и в думе была вся жизнь. Все науки уравнялись и свелись к технике.

Гремели машины, а люди все больше молчали. Росла голова, менело тело, и прекраснее были женщины от близости смерти.

Мир перестал шевелиться, двигаться, давать чем-нибудь знать о себе: всякое усилие, всякое явление природы переходило в машины прежде своего проявления в действии и там уже разряжалось, но не впустую, а производило работу. Реки не текли, ветры не дули, гроз и тепла давно не было — все умерло в машине и из машины приходило к людям в самой полезной, совершенной форме — пищей без остатков, кислородом, светом, теплом в количестве точной нормы.

Гром и движение вселенной прекратилось, но загремели машины за нее.

Раз инженер Электрон, когда был на башне Атмосферного напора 101, упал на маленькую машину, у которой долго стоял, и раскинул свои тонкие, слабые ручки-веточки. Маленькая машина завертелась, загудела сильнее самых больших, потом докрасна, добела накалилась и сгорела. Электрон стоял и по слепоте не видел, но махал ручонками и качал с боку на бок головой, будто от изумления, как моя бабушка в двадцатом веке, когда еще дули ветры и лились дожди.

Потом инженер Электрон открыл рот и запел, поборов немоту. В этой странной, забытой песне был гром артиллерии и свет надежды, как в песнях моего далекого мученического века. Это в нем пел его Пережиток.

Электрон полетел на бескрылой машине в ученый коллектив. На дороге ему встречались женщины и глядели долго вслед: они редко видели мужчин, и от этого у них загоралось старое семя любви.

Электрон дал миру сообщение волнами нервной энергии, вызывающей трепет сознания у всех людей:

«При нагрузке молекул материи однозначными электронами сверх предела, когда объем электронов становится больше объема молекулы, у нас завращался двигатель на Напоре 101. Двигатель от большого количества получаемой энергии сгорел при работе. Конструкцию его помним. Никаких электромагнитных потоков между исследуемой материей и двигателем не было. Есть новая поэтому форма энергии, неизвестная нам. Надо начать наступление на эту тайну».

Мир вздрогнул, как от удара по ране, от этого сообщения. Еще тише стали люди от дум, и машины заревели от великой работы.

Обнажился враг — Тайна.

И началось наступление. Между источником силы и приемником нет никакого влияния, а передача совершается. Какая же это сила?

Сознание не терпит неизвестности, оно открывает борьбу за сохранение истины.

Для успешности борьбы были уничтожены пережитки — женщины. (Они втайне влияли еще на самих инженеров и немного обессиливали их мысль чувством.)

Инженер Электрон стал впереди наступления. Тайна тяготила людей, как голод, и от нее можно потерять бессмертие и силу науки.

Электрон дал приказание по коллективу человечества от имени передовых отрядов наступающего сознания: «Через час все женщины должны быть уничтожены короткими разрядами. Невозможно эту тяжесть нести на такую гору. Мы упадем раньше победы».

Мир задумался. И тишина была страшнее боя, а рев машин, как древний водопад.

Скоро Электрон затрепетал опять ручонками-веточками и дал сообщение:

«Кончено. Материя стремится к уравнению разнородности своего химического состава, к общему виду, единому веществу — к созданию материи одного простого химического знака. Уравнивающие силы пронизывают пространства от вещества большей химической напряженности к меньшей. Это было скрыто. При перегрузке молекул током создаются

особо выгодные условия для такой взаимной уравнивающей передачи сил: их течет тогда особенно много. И заработавшая машина на Напоре 101 превратила эти химические силы в движение, чтобы освободиться от их избытка».

И опять мир стал искать тайн, а до времени успокоился. Из северного полюса бил белый столб пламени, и на небе горела электромагнитная звезда в знак всех побед.

Искусством в те века была логика полной чистой мысли, а наукой — это же самое, а жизнью — наука.

Жизнь перешла в сознание и уничтожила собою природу оттого, что были раньше люди, которые объявили весь мир врагом человечества и предсказали ему смерть от человека. И оттого, что сознание стало душой человека.

Или мир, или человечество. Такая была задача — и человечество решило кончить мир, чтобы начать себя от его конца, когда он останется одно, само с собой. Теперь это было близко — природы оставалось немного: несколько черных точек, остальное было человечество — сознание.

Мир можно полюбить, когда он станет человечеством, истиной, а вне нас — он худший враг, слепой несвязанный зверь. И ему был сказан конец.

Я снова очнулся Пережитком в глубокой, сияющей точке совершенного сознания, Большого Одного; перестал видеть, и во мне зашептали хрипучие голоса страсти, и родилось желание сладкой теплоты и пота. Моя сущность во мне выла и просила невозможного, и я дрожал от страха и истомы в изумрудной точке сознания, в глубине разрушенной вселенной. Теперь ничего нет: Большой Один да я. Моя погибель близка, и тогда сознание успокоится и станет так, как будто его нет, один пустой колодезь в бездну.

И я поднялся, и везде все засветилось, потому что я увидел, как кругом было хорошо и тихо, как в идущие века.

Я понял, что я больше Большого Одного; он уже все узнал, дошел до конца, до покоя, он полон, а я нищий в этом мире нищих, самый тихий и простой.

Я настолько ничтожен и пуст, что мне мало вселенной и даже полного сознания всей истины, чтобы наполниться до краев и окончиться. Нет ничего такого большого, чтобы уменьшило мое ничтожество, и я оттого больше всех. Во мне все человечество со всем своим грядущим и вся вселенная с своими тайнами, с Большим Одним.

И все это капля для моей жажды.

Нищий <1921>

Ерик

Жил на этом свете в Ендовищах один мужик по названию Ерик. Человек он был молодой, а сильный и большой. Бабы не имел и чего-то то и дело чхал.

Не было веселее Ерика на свете: никогда в нем не сокрушалась душа и не скорбело сердце. По этому миру Ерик был как раз впору.

Шли по улице мужики, и шел им навстречу Ерик и чхал.

— Во, корежить его, — говорили мужики, — должно, воздухи в душу не пролезают. Дух не по ем.

— Да. Должно, так… Дерет его чох, поди ж ты!

— Такой уж чудотворный человек.

А Ерик любил дышать, любил всякий дух и чхал для потехи. Радость он чуял во всем и на все отзывался.

Занимался он многими делами — пахал, думал, ходил по полю и считал облака. К вечеру он ворочался на деревню и щупал девок. Ерик не верил ни в Бога, ни во врага. «Все человечье, — думал он, — и нет у земли концов. Что захочу, беспременно сделаю. Захочу скорбь произведу, захочу радость». И Ерик, правда, делал многие дела и был душевный человек, хотя и жил один без бабы, как супостат, и приплясывал, когда звонили к обедне. Раз

приходит к нему враг рода человеческого и говорит:

— Хошь, я тебя научу людей из глины лепить?

— Давай, — сказал Ерик.

— А что дашь?

— Лапоть.

— А еще чего?

— Чего ж еще: бери вон корчажку, чуни, юбку… Не обижу, не бойсь.

— Да ладно уж, вижу, — сказал враг и научил Ерика людей лепить из глины, из земли и всякой пакости, если ее наслюнявить.

Наделал Ерик людей целый полк и распустил их по всему пузу земли искать у нее четырех концов. Разошлись вражьи и Ериковы дети и пропали: ни слуху ни духу. И Ерик уж позабыл их и принялся за новое дело — задумал небо проломить и голову в дырку наверх просунуть и поглядеть — есть там Бог иль спрятался.

Ходил он опять по полю под облаками и думал обо всем — отчего так хорошо на свете, когда ничего тут нету хорошего и все дела известны. Ночью небо ближе и глядят с него звезды — змеиные глаза. У девок по вечерам сиськи распухают и слезы на глазах. Отчего еще глаза у них похожи на озера, когда на дне туманом ходят небеса. Колдуны и старухи говорят, что у святых в глазах звезд больше, чем на небе. Ведьма, дурья голова, — в глазу одна звезда, зато она добрее всей звериной бездны наверху.

С мужиками Ерик водился по-братски — они чуяли друг в друге человеков и не смущались, что жили как брошенные, одни в своей деревне без всего света. Из каждой хаты видно небо, а с неба виден весь свет. И в тихую ночь можно слышать все голоса, как перекликаются люди друг с другом по земле.

И прошел раз слух: объявились гдей-то вражьи дети и выворачивают будто пузо земли наружу кишками и печенками. Всю пакость нутряную будто даром показывают всем на потеху и утешение. Отреклись они от Бога и врага рода человеческого, опередили их и задумали переворотить мир и показать всем, что он есть пакость и потеха… Нужно, дескать, самим сделать другую землю сначала.

Заухмылялся Ерик с народом: Бог с врагом — давно други и сватья, ад с раем всегда перекликаются. И хоть вражьи дети задумали дело такое, да сами-то на врага не похожи — не то хуже, не то лучше.

На Егорьев день появилась на небе прорубь, высунулась оттуда насмешливая голая голова и опять спряталась.

— Ах, враг тебя нанюхай! — хохотали мужики.

Вечером девки пошли хороводом и пели до полночи над прудом. Ждали других женихов, не своих ребят с оголтелыми рожами.

Дней через пять обломилось небо и выворотилась земля. Полилась отовсюду пакость и нечистота. Все увидели, что такое был белый свет, и насмеялись над ним. Мир кончился потешением и радостью. Земля и небо оказались пакостью, курником и никому не были больше надобны. Ериков полк наделал делов.

Ночью все пропало, и очутились люди близко друг к другу и остались навсегда одни.

Воротились с пустыми руками пастухи и вдарили в жалейки. Одно дело кончилось, а другое началось.

<1921>

Поэма мысли

На земле так тихо, что падают звезды. В своем сердце мы носим свою тоску и жажду невозможного. Сердце — это корень, из которого растет и растет человек, это обитель вечной надежды и влюбленности. Самое большое чудо — это то, что мы все еще живы, живы в холодной бездне, в черной пустынной яме, полной звезд и костров. В хаосе, где

бьются планеты друг о друга, как барабаны, где взрываются солнца, где крутится вихрем пламенная пучина, мы еще веселее живем. Но все изменяется, все предается могучей работе. Вот мы сидим и думаем. Если бы вы были счастливы, вы не пришли бы сюда. Холодный пустынный ветер обнимает землю, и люди жмутся друг к другу; каждый шепчет другому про свое отчаяние и надежду, про свое сомнение, и другой слушает его как мертвец. Каждый узнает в другом свое сердце, и он слушает и слушает.

Если мир такой, какой он есть, это хорошо. И мы живем и радуемся, потому что душа человека всегда жених, ищущий свою невесту. Наша жизнь — всегда влюбленность, высокий пламенный цвет, которому мало влаги во всей вселенной. Но есть тайная сокровенная мысль, есть в нас глубокий колодезь. Мы там видим, что и эта жизнь, этот мир мог бы быть иным — лучшим и чудесным, чем есть. Есть бесконечность путей, а мы идем только по одному. Другие пути лежат пустынными и просторными, на них никого нет. Мы же идем смеющейся любящей толпой по одной случайной дороге. А есть другие, прямые и дальние дороги. И мы могли бы идти по ним. Вселенная могла бы быть иной, и человек мог бы поворотить ее на лучшую дорогу. Но этого нет и, может, не будет. От такой мысли захлопывается сердце и замораживается жизнь. Все могло бы быть иным, лучшим и высшим, и никогда не будет.

Почему же не может спастись мир, то есть перейти на иную дорогу; почему он так волнуется, изменяется, но стоит на месте? Потому что не может прийти к нему спаситель и, когда приходит, если придет, не сможет жить в этом мире, чтобы спасти его.

Но хочет ли мир своего спасения? Может, ему ничего не нужно, кроме себя, и он доволен, доволен, как положенный в гроб.

Но смотрите. Мы люди, мы часть этого белого света, и как мы томимся. Всегда едим и снова хотим есть. Любим, забываем и опять влюбляемся своей огненной кровью. Растет и томится былинка, загорается и тухнет звезда, рождается, смеется и умирает человек. Но это все видимость, обманчивое облако жизни.

Но вот когда жизнь напрягается до небес, наполняется до краев, доходит до своего предела, тогда она не хочет себя. Вечером тишина смертельна. Песня девушки и странника невыразима, душа человека не терпит себя. Небо днем серое, но ночью оно светится как дно колодца — и нельзя на него смотреть.

Великая жизнь не может быть длиннее мига. Жизнь — это вспышка восторга — и снова пучина, где перепутаны и открыты дороги во все концы бесконечности.

Мир тревожен, истомлен и гневен оттого, что взорвался и не потух после мига, после света, который осветил все глубины до дна, а тлеет и тлеет, горит и не горит и будет остывать всю вечность.

В этом одном его грех. После смертельной высоты жизни — любви и ясновидящей мысли — жизнь наполняется и сосуд ее должен быть опрокинут. Такой человек все полюбил и познал до последнего восторга, и его тело рвется пламенной силой восторга. Больше ему делать нечего.

Мир не живет, а тлеет. В этом его преступление и неискупимый грех. Ибо жизнь не должна быть длиннее мига, чем дальше жизнь, тем она тяжелее. Сейчас вселенная стоит на прямой дороге в ад. В траве и человеке гуще и гуще стелется безумие. Множатся тайны, и уже не пробивает их таран мысли. От муки чище и прекрасней лицо вселенной, молчаливей тишина по вечерам, но не хватает в сердце любви для них.

Зачем вспыхнуло солнце; и горит, и горит. Оно должно бы стать синим от пламени и не пережить мига.

Вселенная — пламенное мгновение, прорвавшееся и перестроившее хаос. Но сила вселенной — тогда сила, когда она сосредоточена в одном ударе.

<1920>

В звёздной пустыне

Тих под пустынею звездною
Странника избранный путь,
В даль, до конца неизвестную,
Белые крылья влекут.

День и ночь и всю вечность плывут и плывут над землей облака. Дома, под крышей мастерской, везде, где неба не видно, мы знаем, что есть облака.

Если небо просторно, пустынно, и солнце от зноя стоит, в нашем сердце идут облака. Их шорох, как тихая вечная музыка, которая гонит надежду. И не знаешь, что лучше, этот тоскующий шелест или пустынная радость, когда нечего больше желать. Путь облаков тих, как дыхание, как неспетая, несложенная песня, слова которой втайне знаешь.

Облака, звезды и солнце идут в одну сторону. В этой безумной и короткой неутомимости, в этом беге в бесконечность есть тоска, есть невозможность, и от нее рвется душа.

Есть мысль: земля — небесная звезда. В ней больше восторга и свободы, чем в целой жизни.

Сама мысль есть уже не жизнь, а больше жизни. От ее пришествия вспыхивают самые далекие миры.

Мысль не знает страданья и радости, она знает одно, что есть неизвестное. Она может восстать и на истину, если эта истина не нужна человеку.

Был глубокий вечер и звезды. От звезд земля казалась голубой. Звезды стояли. Игнат Чагов шел один в поле.

Далеко дышал город, который Чагов так любил за его мощные машины, за красивых безумных товарищей, за музыку, которую вечером слышно в полях, за всю боль и за восстание на вселенную, которое в близкие годы вспыхнет по всей земле.

Он не мог видеть равнодушно всю эту нестерпимую рыдающую красоту мира. Ее надо или уничтожить, или с ней слиться. Стоять отдельно нельзя. Подними только голову, и радостная мука войдет в тебя. Звезды идут и идут, а мы не с ними, и они нас не знают.

И неимоверная жажда труда и страданий загорелась во всем теле. Мускулы надувались буграми, мысль билась, как горная птица в детской клетке. И небо было ниже, тяжелые камни оседали на дно, и мир стоял, как голубой и легкий призрак, он был разгадан. Звезды остановились. Но Чагов знал, что это ложь, внутренняя игра его несметных человеческих сил, и до истины всем далеко. Но человеку нужна не истина, а что-то больше ее. Чагов смутно чувствовал что, но не мог сказать, только слепая радость надувалась в нем от смутного сознания, что нет невозможного, что невозможное можно сделать, как делают машины, одолевающие и превосходящие законы природы.

Днем сегодня прошел дождь, и после земля была как под стеклом. Теперь, ночью, леса глубоко запустили в нее корни, неподвижно молчат верхушками. Реки текут тише, чем днем, и далеко, на краю поля светит и не светит костер заночевавшего в курене человека.

И по всей вселенной текла сладкая влага жизни и наслаждений, истомляющая невыносимая боль.

Все застыло в покое и благе.

Со всех довольно того, что есть.

Обрывы оврага остро глядели в небо, как в каменную непреодолимую пустоту. Черные четкие глиняные глыбы лежали мертвые и безнадежные. Они должны воскреснуть или взорваться.

Вселенная — это радость, позабывшая смеяться. Она не взорванная гора на нашей дороге. И зарницы мысли рвут покой и радость и угрожают довольному миру пламенем и разрушением до конца, до последнего червя.

Мы никого не забудем.

Сейчас, в эту минуту, по всем слободам, окружающим город, на полу, на нарах, по сенцам спят грязные, замученные, голодные люди. Это черная масса мастеровых, людей с

чугунными мышцами и хрустальной ясностью сознания.

Днем они шевелятся у станков и моторов. Ночью спят без снов и почти без дыхания, со смертной усталостью.

Чагов чувствовал, что он — это они, спящие сейчас, как трупы. Они недовольны миром, для них мир не загадка, а куча железного лома, из которого надо сделать двигатель. Этот двигатель увезет нас всех отсюда, из этой тоскливой пустыни, где смерть и труд и так мало музыки и мысли.

Рабочие и днем живут наполовину. Глубоко в материю, в железо мы запускаем свои души, и материя томит нас работой, как сатана. Чтобы мы ожили, материя, мир, вся вселенная должны быть уничтожены. Больше нет спасения. Ни одной двери для нас не оставлено: их надо проломать руками.

От вечернего до утреннего гудка мы томимся сном.

И сон для нас не облегчение, не отдых, а непосильная работа: мы, растрачиваем, мы одолеваем во сне время и не получаем за это ничего. Мы забываемся, а наш враг — вселенная все время живет и усиливается.

Сон — это отступление рабочих масс перед освирепевшим миром, душащим тело усталостью.

Мы изнурены черным зноем работы, мы не чуем себя, а спасения еще не видно. Никогда, ни в одном из нас, не шевельнулась эта сладкая, сладкая боль — боль любви к женщине. Мы — сознающие, мы видящие, и мы принялись за самую тяжелую работу.

Пусть те, кто дети, играют в песке и думают, что мир им мать, а жизнь — влюбленность.

Душа наша — ненависть. И ненависть наша так велика, что она перерастет и захлестнет собою мир.

На земле, на далеких невиданных планетах растут и растут ненавидящие рабочие массы. Труд и есть ненависть. Эта ненависть есть динамит вселенной. Мы растем и множимся без конца и спасем себя только мы сами, мы все, а не самые умные среди нас.

Мы умны и могучи, когда вместе: в одиночку — мы погибаем.

Мы — масса, единое существо, родившееся из человека, но мы и не человек, и человеческого в нас нет ничего. И на солнце я чувствовал бы всех в себе и не был одиноким.

Масса, новое вселенское существо, родилась. Она копит в труде свою ненависть, чтобы разбрызгать ею звезды и освободиться. В ее бездне — душе всегда музыка, всегда песнь освобождения и жажда бессмертия и неимоверной мощи.

И это чувствовал в себе Чагов. Всегда в нем пела и тосковала душа, и было легко жить в этой обреченной звездной пустыне, окруженным синими манящими безднами, машинами и товарищами.

— В безнадежности надеяться, — прошептал Чагов и улыбнулся.

Жизнь в нем была так велика, что он всегда смеялся, когда говорили смешное или несуразное, как бы он ни тосковал в это время.

Ночь шла и не проходила. Чагов сидел на дне оврага, и легко, бессознательно играла в нем мысль, как кровь, била по жилам.

Потоки звезд шли над ним. Один раз тень беззвучно молчащей птицы скользнула по траве, по белому серебру росы. Внутри его все затихло, и он прислушался, перестал дышать и замер, как зверь. Потом пощупал руки, способные разорвать пасть льва, и засмеялся.

Вместе с кровью и теплом шла в его тело вольная мысль и делала за него работу познания. В такие минуты он бессознательно и без желания был ясновидящим.

Может быть, потому, что сам мир — только прозрачная, беззвучная ясность, и наша воля, наш труд, наше сомнение затемняют его.

В черной, еле шевелящейся Массе механиков и мастеровых мысль также текла из глубин тела и не управлялась сознанием, а была стихией и бурей.

И иногда, редко, тайно от самих себя, при безумных взрывах энергии в машинах и в Массе, мы смутно ощущали эту податливую, слишком покорную мягкость материи, и наша

энергия, не находя модного сопротивления, нечаянно уходила на разрушения, уносилась, как гранитная глыба в пустом пространстве, удваивая скорость с каждым моментом.

Мы тогда напрягались, регуляторы ставили на полную скорость, мы размахивались и ударяли в пустоту и сами падали. Может, нету мира. Но машины дробили металл, подшипники накалялись, моторы выли, и здания от них дрожали — и мы сомневались.

Но в такие минуты нас охватывала тоска, и мы сокращали напор энергии, под ними исчезала материя.

Чагов вспомнил эти миги, когда машины перегружали сверх нормы до невозможного, когда в кочегарках плавились дверцы топок и динамо ревели и между проводами вспыхивали молнии, когда забывалась наука и выступало человеческое безумие и вера в свои машины, в сознательность организованного металла, в товарищество жизни с материей, и над всем телом Массы, слившейся с машинами, бегал и охватывал, и пронизывал его электрический ток разум работающей Массы, урегулированная точная мысль, новое великое сознание.

На вершинах труда исчезает мир, и ты свободен, и тебе не страшно. Не пустыня кругом тебя, а убегающие от тебя звезды. Ты свободен, ты больше не ненавидишь, не любишь и не мыслишь. Ты только знаешь. И другая неведомая сила взорвется в тебе, какой тут нет имени.

Нежно и тонко где-то далеко запела птичка, будто заплакал ребенок. Чагов посмотрел на небо, на тишину, и старая боль от нестерпимой зовущей красоты вселенной впилась в него. Будто позвала она его, как девушка, которую Чагов всегда любил и которой не было на свете: — Родной мой!

И он заплакал, как одинокий древний человек. Звезды в мраке качались, как цветы, и оседала густая роса.

Чагов поднялся и вышел из оврага. Далеко также горел и не потухал костер уснувшего человека. Выл гудок на заводе, распуская ночную смену, и тяжело дышала паром электрическая станция. Он вспомнил машины, великих товарищей, спящих до утреннего гудка, и засмеялся от радости и надежды.

— Мы идем к тебе, неведомый мир, мы очарованы тобой, и мы никогда не умрем.

Чагов вытянулся, кровь хлынула от сердца, и он задрожал от силы и бессмертия.

Внезапная, страшная мысль ударила его. Он остановился и потер руки.

Он долго не мог понять, что ему делать и нужно ли теперь идти в город, нужно ли работать. Красная звезда пробичевала небо и бесшумно исчезла в пустоте, озарив смутные дороги и какого-то человека на них.

Больше ничего не было видно.

Чагов очнулся. Низко блестел поздний месяц. Мертвая земля лежала без конца. Спали в городе товарищи.

В этот миг могла случиться страшная катастрофа, и никто бы не спасся. Человечество увидело бы только свой сон. Один Чагов больше не увидел бы сна и бился бы один с разбушевавшимся миром до конца, до смерти в восторге. И может, победил бы и увидел последний бесконечный сон.

Чагов понял свою внезапную пронесшуюся мысль.

А что, если и мысль, и жажда истины есть только та же простая сила, как голод или ритмическое колебание крови в теле, только хорошо организованная, высшая форма этой простейшей силы… И поэтому мысль и истина — ничтожество в бездонной пучине вселенной, вселенная имеет более великие ценности, неизвестные человеку. Тогда работа Масс не имеет того смысла и цели, какие мы думаем, тогда сама полная победа Масс над природой есть только победа природы же над своим неравновесием, а не победа внешней силы — человечества — ради человечества. Тогда все это слишком ничтожно и потому ненужно.

Мысль есть жизнь моего тела, и тело произвело мысль ради себя, а земля произвела тело ради себя.

Чагов пошел. А тогда мы-то на что? Мы восстанем и на это, раз это так, но не

обманемся и биться за ложь, за мечту не будем. Тогда мы восстанем и на мысль, и на истину, и на себя, но добьемся конца.

Без усилия, без муки, вольно и высоко вскинулся в нем живой, неистребимый дух, строящий надежды и радость везде, где есть тьма и сомнение. И он неуловимо, безмолвно и без мысли понял свою правду и пошел к городу, быстро и свободно, не чуя себя.

Город горел в электричестве.

Чагов оглянулся. Также горел на краю поля костер, может, уже ушедшего человека, но он был так далеко, будто на небе, и звезды были рядом с меркнущим огоньком.

Тихо подошел к Чагову из темноты человек и обнял его. Чагов ответил и поцеловал его. Человек заплакал.

— Что с тобой, товарищ?

Человек опомнился и заговорил:

— Я хочу для тебя сделать что-нибудь, я пришел поклониться… Я ходил всю ночь по городу, и никого нигде нету. Я бросился в поле… Я от любви не могу жить и спать….

Его тонкие руки зашелестели по волосам Чагова. Чатов понял: в последнее время, время накануне восстания Масс на вселенную, много стало таких людей, которые поклонялись человеку, молились на него и часто умирали от своей безысходной, невыносимой любви.

Светало. Чагов пришёл в общежитие и сел за чертежи любимой машины, за свой великий проект, который он творил, как поэму. В нем опять запела музыка, и его геройская человеческая душа заиграла в железной, неоконченной поэме.

Поднялось солнце, и сразу по одной команде заревели тысячи гудков.

<1921>

Володькин муж

[текст отсутствует]

Заметки

В полях

Я шел по глубокому логу. Ночь, бесконечные пространства, далекие темные деревни, и одна звезда над головою в мутной смертельной мгле… Нельзя поверить, что есть города, музыка, что завтра будет полдень, а через полгода весна. В этот миг сердце полно любовью и жалостью, но некого тут любить. Все мертво и тихо, все — далеко. Если вглядишься в звезду, то ужас войдет в душу, можно зарыдать от безнадежности и невыразимой муки — так далека, далека эта звезда. Можно думать о бесконечности — это легко, а тут я вижу, я достаю ее и слышу ее молчание, мне кажется, что я лечу и только светится недостижимое дно колодца и стены пропасти не движутся от полета. От вздоха в таком просторе разрывается сердце, от взгляда в провал между звезд становишься бессмертным.

А кругом поле, овраги, волки и деревни. И все это чудесно, невыразимо, и можно вытерпеть всю вечность с великой, неимоверной любовью в сердце к тому пропавшему навсегда страннику, который прошел раз мимо нашего дома летним вечером, когда пели сверчки под завалинками. Странник прошел, и я не разглядел ни его лица, ни сумки, и я забыл, когда это было, — мне было три, или семь лет, или пятнадцать. Сердце навсегда может быть пораженным похилившейся избенкой на краю деревни, и ты не забудешь, не разлюбишь ее никогда, каким бы ты мудрым и бессмертным ни стал, куда бы ни ушел. Я и на Солнце, и на Сатурне не забуду этого лога, этой ночи и смертной тишины. Все мне дорого, ничего нельзя забыть и оставить; и каждой рытвине, каждому столбу и далекому

человеку, пропадающему на дороге, я говорю: я возвращусь. Всякий человек имеет в мире невесту, и только потому он способен жить. У одного ее имя Мария, у другого — приснившийся тайный образ во сне, у третьего — печная дверка или весенний тоскующий ветер. Я знал человека, который заглушал свою нестерпимую любовь хождением по земле и плачем. Он любил невозможное и неизъяснимое, что навсегда рвется в мир и не сможет никогда родиться.

Я сейчас вспомнил этого человека и должен его встретить в этом логу. Вон — далекий огонь. Костер или хата. Я озяб, изголодался, пойду поговорить с людьми и увидеть между ними того, вспыхнувшего в сердце человека.

Бог человека

Самый старый и настоящий бог на свете — пузо, а не субтильный небесный дух. В водовороте и горенье кишок — великая тайна, в рычании газов слышатся святые песнопения и некое благоухание и тихое умиротворение.

Живот — храм человека, живот — обитель радости и человеческой доброты. Пузо — воротило всех дел. Все другое и остальное растет из пуза и им направляется — по верным путям спасения. Без пуза погибать бы всем.

Вся земля только и движется пузом, ибо, когда стонут и поют кишки, человек делается чудотворцем.

Он, к примеру, сделает машину и начнет ею колотить горы, чтобы правильнее ветры дули и лились дожди, он еще возьмет и узнает, как сделалась земля, чтобы ее переделать, а без пуза ничего бы он не сделал, ничего бы не нужно ему было, потому что человек думает и работает от мучения, а мучение бывает, когда визжат кишки.

Вот, для показа, как идут дела в царстве живота. Шел я по большому селу. Стоят хаты, стоит тишь, бабы в окна поглядывают (старые стервы!), дремлет и замирает отощавшая лошадь у плетня. Милая моя, ты чище и грустнее человека: голодная почти до смерти, а стоишь, мужик бы бабу начал колотить, ребят пороть и сейчас же выдумал бы небесного бога — спасителя, а ты молчишь. Спасибо тебе, лошадь, ты одна не имеешь богов, а без богов живут только сами боги.

Вон мужик шел-шел и остановился, уставился на меня и глядит, а баба его аж через плетень свесилась, и оба кротко молчат. Хорошие они, в сущности, люди — живут по-лошадиному.

На одном окне я заметил наклейку. На удивительно чистом и большом листе бумаги были изображены слова: вот тут, апосля вечернего благовестия, в брехунах, за одну картошку каждый сможет узреть весьма антиресную лампаду — стоячий лепестрический огонь, свет святой, но неестественный, можно сказать, пламя. Руками его щупать будет смертоубийство…

Дальше на листке были длинные рассуждения, целый циркуляр с пунктами о том, откуда на земле свет, и почему бывают волдыри от ожогов, и где живет Ананьевна, заговаривающая всякое пупырчатое тело. А в самом низу было экономически причерчено: — А на Покров феклуша Мымриха пойдет телешом и снимет капоты для удовольствия и покажет живое тело за одно денное прокормление…

Невозможное

[текст отсутствует]

Сатана мысли (Потомки Солнца)

(Фантазия)

Он был когда-то нежным, печальным ребенком, любящим мать, и родные плетни, и поле, и небо над всеми ими. По вечерам в слободе звонили колокола родными жалостными голосами, и ревел гудок, и приходил отец с работы, брал его на руки и целовал в большие синие глаза.

И вечер, кроткий и ласковый, близко приникал к домам, и уморенные за день люди ласкались в эти короткие часы, оставшиеся до сна, любили своих жен и детей и надеялись на счастье, которое придет завтра. Завтра гудел гудок, и опять плакали церковные колокола, и мальчику казалось, что и гудок и колокола поют о далеких и умерших, о том, что невозможно и чего не может быть на земле, но чего хочется. Ночь была песнею звезд, и жаль было спать, и весь мир, будто странник, шел по небесным, по звездным дорогам в тихие полуночные часы.

Ночью душа вырастала в мальчике, и томились в нем глубокие сонные силы, которые когда-нибудь взорвутся и вновь сотворят мир. В нем цвела душа, как во всяком ребенке, в него входили темные, неудержимые, страстные силы мира и превращались в человека. Это чудо, на которое любуется каждая мать каждый день в своем ребенке. Мать спасает мир, потому что делает его человеком.

Никто не мог видеть, кем будет этот мальчик. И он — рос, и все неудержимее, страшнее клокотали в нем спертые, сжатые, сгорбленные силы. Чистые, голубые, радостные сны видел он, и ни одного не мог вспомнить утром, — ранний спокойный свет солнца встречал его, и все внутри затихало, забывалось и падало. Но он рос во сне; днем было только солнечное пламя, ветер и тоскливая пыль на дороге.

* * *

Он вырос в великую эпоху электричества и перестройки земного шара. Гром труда сотрясал землю, и давно никто не смотрел на небо — все взгляды опустились в землю, все руки были заняты.

Электромагнитные волны радио шептали в атмосфере и межзвездном эфире грозные слова работающего человека. Упорнее и нестерпимее вонзались мысль и машины в неведомую, непокоренную, бунтующую материю и лепили из нее раба человеку.

Главным руководителем работ по перестройке земного шара был инженер Вогулов, седой согнутый человек с блестящими ненавидящими глазами, — тот самый нежный мальчик. Он руководил миллионными армиями рабочих, которые вгрызались машинами в землю и меняли ее образ, делали из нее дом человечеству.

Вогулов работал бессменно, бессонно, с горящей в сердце ненавистью, с бешенством, с безумием и беспокойной неистощимой гениальностью. Мировым совещанием рабочих масс ему была поручена эта работа. И Вогулов десять раз объехал земной шар, организуя работы, проповедовал идею переделки земного шара и зажигал человеческие черные массы восторгом работы. Сотни экспедиций он снарядил в горы всего земного шара и в океаны и моря для исследования теплых течений. Тысячи метеорологических обсерваторий были сооружены, и вся атмосфера пережевывалась тысячами мозгов лучших ученых.

План Вогулова был очень прост.

Земля периодически подвергается засухам или, наоборот, слишком большой влажности. Человечество от этой свистопляски сил истребляется миллионными кусками. Потом смена времен года, эти — зима, лето и т. д. замедляют темп работы человечества, берут много у него сил на приспособление к ним, обрекают огромные пространства земли на бесплодие, стужу и тьму. А другую часть земли — на свирепый ветер, песок и бешенство огня.

Земля, с развитием человечества, становилась все более неудобна и безумна. Землю надо переделать руками человека, как нужно человеку. Это стало необходимостью, это стало вопросом дальнейшего роста человечества.

И Вогулов, инженер-пиротехник, разработал этот проект. Сущность проекта состояла в искусственном регулировании силы и направления ветров через изменение рельефа земной поверхности: через прорытие в горах каналов для циркуляции воздуха, для прохода ветров, через впуск теплых или холодных течений внутрь материков через каналы. Вот и все. Ибо всякое атмосферное состояние (влажность, сухость) зависят от ветров.

Для этих работ надо было прежде всего изобрести взрывчатый состав неимоверной чудесной мощи, чтобы армия рабочих в двадцать — тридцать тысяч человек могла бы пустить в атмосферу Гималаи. И Вогулов раскалил свой мозг, окружил себя тысячами инженеров, заставил весь мир думать о взрывчатом веществе и помогать себе — и вещество было найдено. Это было не вещество, а энергия — перенапряженный свет. Свет есть электромагнитные волны, и скорость света есть предельная скорость во вселенной. И сам свет есть предельное и критическое состояние материи.

За светом уже начинается другая вселенная, материя уничтожается. Могущественнее, напряженнее света нет в мире энергии. Свет есть кризис вселенной. И Вогулов нашел способ перенапряжения, скучения световых электромагнитных волн. Тогда у него получился ультрасвет, энергия, рвущаяся обратно в мир к «нормальному» состоянию со странной истребительной, неимоверной, не выразимой числами силой. На ультрасвете Вогулов и остановился. Этой энергии было достаточно для постройки из земли дома человечеству.

Ультрасвет попробовали на Карпатах.

В маленький тоннель вкатили вагончик с зарядом концентрированного ультрасвета и отпустили электрический тормоз, удерживающий ультрасвет в его ненормальном состоянии, — и пламя завыло над Европой, ураган сметал страны, молнии засвирепели в атмосфере, и до дна стал вздыхать Атлантический океан, нахлобучивая миллиарды тонн воды на острова. Пучины гранита, завывая, унеслись на облака, раскалились там до неисчислимой температуры и превратились в легчайшие газы, а газы унеслись в самые высокие слои атмосферы, там как-то вступили в соединение с эфиром и навсегда оторвались от земли. От Карпат не осталось и песчинки на память. Карпаты переселились ближе к звездам. Материя мыслью Вогулова превращалась почти в ничто.

Через месяц то же самое сделали в Азии с некоторыми участками Хингана и Саян. А еще через месяц в тундрах Сибири уже зацветали робкие цветы и лились теплые ласковые дожди, а вслед за теплом гнались люди, летели аэропланы, двигались тяжелые поезда и глубоко в землю вонзались фундаментами тяжкие корпуса заводов.

Вогулов командовал миллионами машин и сотнями тысяч техников. В бешенстве и неистовстве человечество билось с природой. Зубы сознания и железа вгрызались в материю и пережевывали ее. Безумие работы охватило человечество. Температура труда была доведена до предела — дальше уже шло разрушение тела, разрыв мускулов и сумасшествие. Газеты вели пропаганду работ, как религиозную проповедь. Композиторы со своими оркестрами играли в клубах горных и канальных работ симфонии воли и стихийного сознания, человек восставал на вселенную, вооруженный не мечтою, а сознанием и машинами.

Вогулов гнулся над чертежами и цифрами, окруженными аппаратами радиосвязи, уже четвертый год. И все беспредельней и бездонней перед ним открывался океан труда, и он без сна и почти без сознания, покоряясь ритмическим взрывам мысли, погибал в этом океане работы и не видел спасения и не хотел его. Далекие, великие горизонты открывались перед ним, и у него были тысячи проблем, но не было времени для их разрешения. Иногда Вогулов поднимался и ходил по своему кабинету, по буграм толстой бумаги и кальки, и пел, чтобы опомниться, рабочие песни — других он не знал. Пел он и курил махорку, привыкнув к ней с детства. Но работающая полным ходом машина требовала к своим регуляторам машиниста. Море работы выходило из берегов и грозило катастрофой, если перестать его опустошать мозгом и машинами хоть на секунду, — и Вогулов садился опять к столу и аппаратам, связывающим его со всем миром, и рассчитывал, писал, отдавался скачке мысли и кричал в аппараты инженерам на Гималаи, на Хинган, на Саяны, на Анды, на искусственные каналы в

Ледовитом океане, отводящие теплые течения внутрь Сибири, на гидрофикационные водоподъемные сооружения Сахары, говорил с метеорологической экспедицией в Индийском океане, — и мысль Вогулова четко стучала, освещала и регулировала великую героическую работу — битву далеких миллионов людей.

Вогулов давно понял, что мощь человеческого сознания есть способность ясного, полного и одновременного представления о многих совершенно разнородных вещах. И он достиг этого.

Еще год — и шар земной будет переделан. Не будет ни зимы, ни лета, ни зноя, ни потопов. Вся земля будет разбита на климатические участки. В каждом участке поддерживается ровно и всегда температура, нужная для произрастания того растения, какое наиболее соответствует почве этой страны. Человечество будет переселено в Антарктику — остальная площадь земли будет отведена под хлеб и под опыты и пробы человеческой мысли, она будет мастерской, обителью машин и пашней.

И в редкие моменты забвения или экстаза в разбухшей голове Вогулова сверкало что-то иное, мысль не этого дня.

Одна голова и пламенное сознание, которое от времени и работы становилось все могущественнее, остались в Вогулове. До сих пор люди были мечтателями, слабогрудыми поэтами, подобиями женщин и рыдающих детей. Они не могли и были недостойны познать мир. Ужасающие сопротивления материи, вся чудовищная, сама себя жрущая вселенная были им незнакомы. Тут нужна свирепая, скрипящая, прокаленная мысль, тверже и материальнее материи, чтобы постигнуть мир, спуститься в самые бездны его, не испугаться ничего, пройти весь ад знания и работы до конца и пересоздать вселенную. Для этого надо иметь руки беспощаднее и тверже кулаков того дикого творца, который когда-то, играя, сделал звезды и пространства. И Вогулов, не сознавая, родясь таким, развив себя неимоверной титанической работой, был воплощением того сознания — тверже и упорнее материи, — которое одно способно взорвать вселенную в хаос и из хаоса сотворить иную вселенную без звезд и солнц, — одно ликующее, ослепительное всемогущее сознание, освобождающее все формы и строящее лучшие земли, если хочет того, если радостно ему это творчество. Но можно не творить, не разрушать, а быть в ином состоянии. Можно не радоваться и не страдать и не быть спокойным, это полет, это горный воздух, спокойный, чистый и тревожный.

Чтобы земное человечество в силах было восстать на мир и на миры и победить их — ему нужно родить для себя сатану сознания, дьявола мысли и убить в себе плавающее теплокровное божественное сердце.

* * *

И Вогулов начал действовать, медленно и начиная с малого — с перестройки земного шара. Но этого было мало: мысль свирепела и крепчала в работе и требовала работы, взмаха и гигантских, непреодолимых сопротивлений.

Вогулов засел за вселенную: эта тайна должна быть наконец разрешена и разрешена полностью. А познание есть три четверти победы. Он подошел ко вселенной не как поэт и философ, а как рабочий.

Через год опытов и размышлений он эту универсальную и последнюю задачу человечества решил, при помощи, конечно, всего человечества. Он нашел тот эллипсис, ту строгую форму, в которой заключена наша вселенная. Он всегда думал, что вселенная строго ограничена, имеет пределы и концы, точную форму — и только потому имеет сопротивление, то есть реально существует.

Сопротивление есть первый и важнейший признак реальности вещи.

А сопротивляется только то, что имеет форму. Рассуждения о бесконечности есть именно рассуждение, а не факт.

Вогулов нашел очертание, пределы вселенной и по этим известным крайним величинам

нашел все средние неизвестные. Есть две крайние критические точки вселенной: свет как высшее напряжение вселенной, дальше света уже идет уничтожение вселенной, и черту света нельзя перейти, так как тут сопротивление вселенной безгранично — и вторая критическая точка инфраэлектромагнитное поле, то есть подобие обыкновенного электромагнитного поля, но почти нулевого напряжения, с волною длиной в бесконечность и частотой периодов один в вечность.

Между этими пределами заключены все остальные переходные формы: теплота, стремление материи к химическому равновесию структур, радиоактивность и др. И эти колебания от света к инфраэлектромагнитному полю очень, по сути, незначительны. Например, скорость эманации радия близка к скорости света, электрический ток тоже почти имеет ту же скорость. И природа, сокровенность света, инфраполя и всех переходных форм — одна и та же.

Вогулов увидел на опыте, как мечется по этому замкнутому кругу то, что называется вселенной. Инфраполе необходимо возрастает до состояния света, а свет, стукнувшись о самого себя, снижается опять до своего полярного полюса — инфраполя. Так, по кольцу, вверх по правой половине, вниз — по левой, колеблется и стучится вселенная в каземате, который есть она же сама.

Инфраполе через миг (неопределимый, неуловимый) уже превращается в свет, а свет в тот же миг дает в ответ инфраполе. Получается даже не изменение, а мертвое состояние.

Инфраполе, распространяясь в бесконечность, имеет неодинаковое внутреннее сопротивление в себе, — у начальных точек больше, у конечных меньше, от этого получаются различные скорости, — то есть содрогания волны; интенсивность поля достигает максимума, то есть света, и потом падает опять с содроганий пятидесяти в двадцатой степени в секунду до одной в вечность, то есть до полного отсутствия содроганий.

И когда Вогулов построил копию вселенной в своей лаборатории, со всеми ее функциями, и опыт оправдал все расчеты. Вогулов даже не обрадовался, а только замер у своего механизма — вселенной, и мысль у него застыла на миг.

Тот же круговой поток, от инфраполя к свету — и обратно, получался и у него на лабораторном столике, как и безмерных пространствах мира. Вселенная была познана до дня и воспроизведена человеком.

Тогда Вогулов вспомнил про ультрасвет, свою взрывчатую энергию, и улыбнулся в первый раз издавна: вселенная превзойдена человеком, ибо ультрасвет уже не есть элемент нашей вселенной. Вогулов взял карандаш и рассчитал, что достаточно тысячи кубических километров сконцентрированного ультрасвета, чтобы вселенная перестала существовать.

Двух взрывов, по пятьсот кубических километров каждый, будет довольно: первый доведет до состояния света все существующее, а второй превратит свет в ультрасвет, а по инерции перенапряжется и сам ультрасвет и создаст какое-то новое сверхэнергетическое образование, иную вселенную.

И Вогулову стало скучно хорошо, стена дала трещину и стала видна дорога.

Через год Вогулов решил пересотворить вселенную ультрасветом. И опять загремела в нем мысль и бесконечной лентой пошли чертежи мастерских, лабораторий и финансовые сметы. Но тут он натолкнулся на непреодолимое сопротивление: всей энергии земного шара не хватало для производства тысячи кубических километров ультрасвета. Тогда Вогулов запряг в станки бесконечность, само пространство, самую универсальную энергию — свет. Для этого он изобрел фотоэлектромагнитный резонатор-трансформатор: прибор, превращающий световые электромагнитные волны в обыкновенный рабочий ток, годный для электромоторов. Вогулов просто получаемые из пространства световые лучи «охлаждал», тормозил инфраполем и получал волны нужной длины и частоты перемен. Незаметно и неожиданно для себя он решил величайший за всю историю энергетический вопрос человечества, как с наименьшей затратой живой силы получить наибольшее количество годной в работу энергии. Затрата живой силы тут ничтожна — фабрикация резонаторов-трансформаторов света в ток, а энергии получалось, точно выражаясь, бесконечное

количество, ибо вся вселенная впрягалась в станки человека, если далекие пределы вселенной условно назвать бесконечностью, ведь вселенная — физический свет. Энергетика и, значит, экономика мира были опрокинуты: для человечества наступил действительно золотой век — вселенная работала на человека, питала и радовала его.

Вогулов заставил работать вселенную в своих мастерских для фабрикации ультрасвета, чтобы уничтожить такую вселенную. Но этого было мало: человек работал слишком медленно и лениво, чтобы изготовить в короткое время нужное количество резонаторов — миллионы штук. Темп работы должен быть повышен до крайности, и Вогулов привил рабочим массам микробов энергии: он взял для этой цели элемент инфраполя с его ужасающим стремлением к максимальному состоянию — свету, развел культуры, колонии, триллионы этих элементов и рассеял их в атмосфере. И человек умирал на работе, писал книги чистого мужества, любил, как Данте, и жил не года, а дни, но не жалел об этом.

Первый год уже дал сто кубических километров ультрасвета. Вогулов думал удваивать производство в каждый следующий год, так что через три с немногим года тысяча кубических километров ультрасвета будут готовы.

Человечество жило как в урагане. День шел за тысячелетие по производству ценностей. Быстрая вихревая смена поколений выработала новый совершенный тип человека — свирепой энергии и озаренной гениальности.

Микроб энергии делал ненужной вечность — довольно короткого мига, чтобы напиться жизнью досыта и почувствовать смерть, как исполнение радостного инстинкта.

* * *

И никто не знал, что было сердце и страдание у инженера Вогулова. Такое сердце и такая душа, каких не должно быть у человека. Он двадцати двух лет полюбил девушку, которая умерла через неделю после их знакомства.

Три года Вогулов прометался по земле в безумии и тоске; он рыдал на пустынных дорогах, благословлял, проклинал и выл. Он был так страшен, что суд постановил его уничтожить. Он так страдал и горел, что не мог уже умереть. Его тело стало раной и начало гнить. Душа в нем истребила сама себя.

И потом в нем случилась органическая катастрофа: сила любви, энергия сердца хлынула в мозг, расперла череп и образовала мозг невиданной, невозможной, неимоверной мощи.

Но ничего не изменилось — только любовь стала мыслью, и мысль в ненависти и отчаянии истребляла тот мир, где невозможно то, что единственно нужно человеку, — душа другого человека…

Вогулов размечет вселенную без страха и без жалости, а с болью о невозвратимом и утраченном, чем дышит человек и что нужно ему не через несметные времена, а сейчас. И Вогулов руками хотел сделать это невозможное сейчас.

Только любящий знает о невозможном, и только он смертельно хочет этого невозможного и сделает его возможным, какие бы пути ни вели к нему.

Приключения Баклажанова
(Бесконечная повесть)

«Тянется день, как дратва: скука бычачья.
Рассказать тебе про дни?»
Апалитыч

Жил некоим образом человек — Епишка, Елпидифор. Учил его в училище поп креститься: на лоб, на грудь, на правое плечо, на левое — не выучил. Епишка тянул за ним по-своему: а лоб, а печенки…

— Как называется пресвятая дева Мария?

— Огородница.

— Богородица, чучел! Нету в тебе уму и духу. Вырастешь, будешь музавером, абдулгамидом…

А Епишка ждет не дождется, когда пустят домой; он горевал по маме и боялся как бы без него не случился дома пожар — не выскочат жара, ветер, сушь. Уж гудок прогудел — двенадцать часов, отец домой пришел обедать, на огороде у Степанихи трава большая растет и лопухи. Ребята ловят птиц, уж скоро, должно быть, будет вечер и комары.

В училище стояло ведро — пить. Каждый день учат закону божьему, потом приходит Аполлинария Николаевна, учительница, и пишет палочки на доске, а Епишка за ней карябает грифелем у себя хворостины. На переменах приходит Митрич-сторож, чтобы ребята не выбили окон и не бесчинствовали. Как чуть кто заплачет от драки или тоски по матери, Митрич орет:

— Ипять! Заниматься!..

И вот прошло много дней. Издох в училище на дворе Волчок. Епишкин отец купил «на толпе» другой самовар. Родился у Епишки Саня, маленький брат. Покатал его Евдок на тележке одно лето — на Петровки он умер от живота. Тоньше и шибче билось сердце у Евдока, и он уходил летними вечерами в поле и тосковал — о далеком лесе, об одной звезде, о дальних деревенских пустых дорогах. И любил девушку, которой не было на свете, которой не встретит никогда.

На деревенских дорогах он изобрел еду и человеческое бессмертие.

Вскоре попал Епишка в солдаты. Ходит по плацу, орудует винтовкой — лежит недвижимо в душе пуд. Раз случилось с ним странное дело: семь дней на двор не ходил. Ляжет спать: бурчит в животе и вода без толку переливается. Кругом нары, храп, пот, вонь, а в Епишке прохладные вечерние деревенские дороги и ждущая ужинать мать. Дать бы по скуле изобретателю сердца!

Осмелился Евдок и пошел к доктору. Рассказал ему, в чем дело.

— Што-о?.. — провыл доктор.

Епишка опять: восьмой день не нуждаюсь.

— Да, ведь большие деньги можно на этом зарабатывать! Вы феномен, Баклажанов!.. Первый раз вижу такого. А ну, разденьтесь.

Уходя, Епишка взялся нечаянно на докторском столе за карандаш.

— Возьмите себе его на память, Баклажанов, — сказал доктор. Епишка погладил черный колпачок доктора.

— Пожалуйста, Баклажанов, возьмите и его. Нате вам и ручку. Она вам нравится?

Оказывается, доктор был мнительный человек: дверную ручку брал не иначе, как в перчатке. Кто у него в кабинете возьмет что в руки или пощупает, то ему доктор сейчас же и подарит на память: лампу, лист бумаги, клок ветоши, либо какой инструмент.

Странный, но сурьезный был человек.

Дня через два у Епишки рассосались кишки, и он оправился.

Так шла и шла жизнь Епишки, без меры и без смерти, в океане одинаковых дней, пока он не перекувырнулся и не изобрел настоящего бессмертного человека, который остался на земле навсегда и уже не расставался с соломой, плетнями, тихими дорогами и со своей матерью.

Изобретатель света — разрушитель общества, сокрушитель адова дна

Мир подымешь на слабые руки,
Что захочешь, полюбишь — твое.
Ты испуган, слова твои глухи,
Ты — любовь, твое сердце в моем.

Еще ночь. Успокойся, мое неутомимое сердце. В этот час даже пустыня росою стынет,

трава не шумаркнет и ветер не пробрюжжит. Замертвел мир на долгую звездную ночь. Может быть, завтра очнется сердце в человеке и земля растает в голубой глубине любви.

Дорогой друг мой и единокровный брат Елпидифор! Помнишь, осенней ночью, в 3 часа, мы лежали в поле на траве. Мы прошли сорок верст. Ты шел из далекой глухой деревни от любимой, я ходил просто по земле и думал, как ее оборонить от зноя. Ты тогда светился, и был иным и лучшим…

* * *

Теперь Епишка изобрел свет. Устроил такие магниты, где дневной свет волновал магнитное поле и возбуждался электрический ток. Этим током Епишка гнал самодельный корабль по родной реке. Солнечный свет и лунный повез в первый раз чудака-человека по воде.

С тех пор никто ни в ком не стал нуждаться: Епишка показал всем, как делать такие машинки, и все стали богатыми. Ни засуха, ни сибирские дороги, ни путь до звезды, ни миллионы родившихся детей — не стали страшними. Неуклонно тысячами солились огурцы в зиму и варилась каждодневно говядина в каждом горшке. Огромная сырая земля стала, как теплая хата, как грудь и молоко жены. Обнимай и соси.

И небо стало благим: инженер Аникеев слетал на световом межзвездном корабле на Юпитер и привез оттуда новую породу капусты и какого-то чертенка в ящике. Чертенок обжился на земле и женился на какой-то синеокой деве, поющей романсы времен революции.

Ни государств, ни обществ, ни дружбы, ни любви на земле уже не было: человек человеку был нужен единственно по недостатку хлеба. Каждый втыкал в песок Епишкину машину — и она ему делала все.

Один араратский житель сделал подземную лодку, и сила Епишкиной машинки вогнала ее в недра земли, и араратец там пропал, поселился.

Машина Елпидифора Баклажанова отперла вселенную: она стала женой и матерью для человека, а не лютой чертовкой. Сам Елпидифор с Апалитычем ездил на луну выпивать. Вселенная стала кувшином с молоком: купайся, живи, питайся и думай всякий червь, всякая гнида и бессмертное тело. Потолстел человек. Вся вселенная стала океаном силы, ибо свет — самая вездесущая сила, кроме тяжести, тяготения.

Но свет есть только один из видов тяготения. Электричество есть возмущение линии тяготения двух тел.

Пожил, пожил Елпидифор и подумал: не умру. На далекой безымянной звезде, куда он занесся, он увидел конец Вселенной; Епишка стоял точкой на конце последнего оборота спирали Млечного Пути. Дальше ничего не было видно, и Епишка пожалел, что он человек, и захотел быть бессмертным, чтобы иметь время накопить силу стать завоевателем и жителем того, чего не видно за последней маленькой звездой, за змеевиком Млечного Пути.

Епишка возвратился на землю, посидел с Епалитычем — тот клеил змей для Васьки, — поговорил с ним о разных удивительных вещах и пошел в чулан спать от тоски. (У Апалитыча еще был чулан от старых времен и были целы и невредимы в нем теплые и полные клопы.)

Новое чувство родилось в Елпидифоре. Знаете, как в былые времена: идешь по улице, навстречу красивая ласковая девушка, волна тревоги и радости охватит тебя, — придешь домой и молчишь.

Но в Епишке не любовь была, а мрак и шорох великой, но безрукой силы.

Эта сила из Епишки разлилась по всей живой земле и по людям. Стальной канат свис с далекой безымянной звезды, где побывал Епишка, и не давал живым телам разлагаться и перепревать в душных могилах.

И было сокрушено далью за безымянной звездой адово дно смерти.

А через сто лет Епишка и Апалитыч лежали опять в чулане на полушубке: за последней

звездой оказалась свобода — ничего нет — чудо: возникает, мерцает, пропадает, вихрится и снова плывет без числа, веса и пространства. И вселенных там было сколько хочешь — и все разные. Там была река их. Оказалось, что не было нигде господина и закона; но закон, господин, форма были только мигами невыразимой свободы, которая была и неволей.

Заснул Елпидифор под утро под храп и вонь Апалитыча. Апалитыч проснулся от клопа в ухе, а Епишка так и не встал — умер от собственного спокойствия: ведь все доконал, до всего дознался. Апалитыч снес под плетень в полдень тело этого последнего мошенника и стервеца.

Данилок

Поросенок-годовик
Себе туда норовит,
Поганая курица
Себе туда суется…

Ливенка делает на басах

Вошли в хату — тишина, темнота и жуть. Где тут портной живет, сделать из штанов галифе?

— Стой, — закричал Елпидифор, — я сообразил: живые люди воняют.

Понюхали: дух везде чистый, и вдруг понесло махоркой и жженой бородой.

— Вот он портной — вылазь!

Заскрипела спальная снасть, и невидимое тощее тело сморкнулось и забурчало. Для света и вежливости я спокойно закурил.

— Здорово, Данил Данилыч! Раскачивайся!

— Здравия желаю, православные, — как кувалдой по чугуну гвазданул дед Данил, портной. В чистом воздухе, тишине и тьме хранился такой голос! Как огурец зимой в кадке.

Зажгли коптильный светильник. Скамейка, стол, вода в ведре и спящий глубоко пушистый щегол под потолком в тепле. Данилок надел очки и привязал их веревочкой к ушам — приспособление самодельное. Данилок был угрюм, покоен, похожий на сон и хлеб — коричневый, ласковый и тепловатый, как хлебное мякушко. Из сапожной кожи был человек: если царапнуть щеку, никакого рубца не останется. Но в желтых глазах его было ехидство и суета — Данилок был сатана мужик, разбойник, певец и ходил женишком. Засиделым девкам в воскресенье лимонад покупал. Не женился потому, что подходящей ласковой бабы не подыскал, и впоследствии купил щегла.

— Так, говоришь, тебе две галифы изделать?

— Да, желательно бы, Данил Данилыч.

— Так-так. Одна галихва выйдет, а на другую матерьялу подкупай, — задумчиво сказал Данилок и поглядел через очки.

— А стоимость какову скажете?

— Да что ж с вас — один алимон, чаю попить.

— Прекрасно, прекрасно, — сказал Елпидифор-интеллигент. — До свиданья.

— Прощевайте. Посветить вам, может?

— Не нужно, мы так.

И мы полезли к монастырю, на гору. Чудесно тут держались дома — на сваях, на каменьях. Из города лилась сюда нечисть, и если наверху кто оправлялся, в окно Данилку брызги летели. Непрочное и пагубное стояло везде жилье. Ни подойти, ни подъехать. Весной и в дожди Данилок и его соседи становились туземцами, и о них писали в газетах, но они их не читали. В старое время, бывало, полицейские гнали отсюда все народонаселение, как подходила весна. Но никто не уходил — лезли на крышу, тащили сюда детишек, поросят, петуха, самовар — и сидели. А когда ночью поднималась вода и уплывали безвозвратно

табуретки, захлебывался телок, то и на крыше начинали орать жители. А с бугра утром махал городовой:

— Я ж тебе говорил, — упреждал он, — гуни пожалел — постись теперь, угодник чертов.

А на третий день чуть просохло — и городовой жителю в бок.

Бывали дела.

На другой же день Елпидифор купил свои штаны на базаре — клеймо на них было. Он к Данилку — хотел ему чхнуть разок, а Данилок в деревню уехал. Тем дело и кончилось.

Ехал Данилок в деревню и похохатывал:

— Дела твои, Господи!

Приехал в деревню, продал хату и купил лошадь. Поехал на Дон купать ее и утопил.

— Машка, Машка, а ну на песок, на песочек. Милая моя, делай ногами, надуйсь, вызволяй, Машенька… — Долго уговаривал ее Данилок и орудовал поводьями, а сам плавать не умел.

Так и пошла кривая кобыла по быстряку, а потом в тихую заводь и на дно. г — Эх ты, животное существо, — сказал Данилок и пошел в хату.

Пожил в деревне неделю-другую; съел все и пошел побираться. Ходил по всей округе и тосковал. Начиналась осень, ветер выл в проволоках, обдутые стояли древние курганы, и шел с мешочком картошек Данилок. Стар стал, некому любить и жалеть. Кажется, чем-то легким придавлено горе на земле и когда-нибудь все заплачут и прижмутся друг к другу. Это будет, когда наступит потоп, засуха или лютая хворь или из сибирской тайги тучею выйдет восставший зверь. Одно горе делает сердце человеку.

Стал нищим Данилок и многое полюбил.

В глухой деревне Волошине, в овраге, приютила Данилка одна старушка:

— Живи, старичок. У нас картохи есть, теперь ходить не по нашей одеже, не объешь небось, поставь палочку в уголок.

Прожил Данилок у старушки до весны. Стонали оба всю зиму по ночам от голода, стужи и старого горя. Запеклась душа у Данилка. Выглянет в окно — снег, буран, кладбище на бугре, кончается тихий день. Куда тут пойдешь?

Прогремела весенняя вода по оврагу, подсохли дороги, вылезли воробьи на деревенскую улицу. Стал собираться Данилок.

— Ничего тебе не надобно? — спросила старушка.

— Ничего, — сказал Данилок.

— Ну, иди с богом.

— Прощай, Лукерья.

И Данилок тронулся.

Ветер был тихий и тонкий, как нежная музыка. На плешивом кургане, обмытом водами и воздухом, Данилок вздохнул, поглядел на дальнюю кайму лесов, на трепещущее марево, на все живое и далекое, потом спустился и попил водички из протока.

Маленькая речка разлилась в озера, и за нею дымилась деревня и пела петухами.

Ничего не кончилось — все начинается.

И Данилок пошел и пошел, как будто сама грустная радость взяла его за руку и повела.

<Доклад Управления работ по гидрофикации Центральной Азии>

[текст отсутствует]

Тютень, Витютень и Протегален

Тютень человек не велик, с кочережку. Зимой и летом он носит варежки, сердцем добер, словом зол; в одном ухе мотается египетская серьга, шею он обматывает полотенцем или тряпочкой почище: лицом коричневый, глазами ехиден и весь похож на стервеца.

— На глазах испекешься, — говорили бабы, у кого грудной был.

Тютень вечно свистел на ходу, и всякая птица шарахалась от него или летела по плетням. Если вились стайкой воробьи, неслись вскачь галки, горлапанили петухи, а наседки крылепились, — то-то идет, значит, Тютень, идет и посвистывает.

Он клал варежку в рот и свистел для своего великого удовольствия и не дулся.

Если сказать Тютню: посвисти, мол, в худую варежку чуток, то он догонит и убьет, будь ты мал, будь ты стар. Убежишь — твое счастье.

Тютень считал себя Богом и потому был покоен, доволен и благ. На еду он не зарился, мир считал подножием своим, небо — короной, а людей — чертями. Сатаной же Тютень считал Витютня.

— Он, беспременно он, головастый кобель, — думал Тютень и высвистывал стих:

Он, он, суть он,
Беспременно суть он,
Головастый кобель,
Воедин, воедин,
Воедин я бог кокетин.

Витютень был так себе человек, ростом с черпак, ведро на палке. Ведро — это голова.

— Это не человек, а наказание, истинный Господь, — судили бабы, которых мало били мужья.

Витютень слышал: ладно, ладно, жабы широкие. Возьму вот, и покажу всем, что ты без исподней юбки ходишь, ведьма божья.

Витютень ходил голый, только живот обматывал рогожей, чтобы бабы не охальничали. Волоса он распускал и накладывал туда от времени до времени комья соломы и навоза — думал, может птицы заведутся, его любимая тварь, сочтут это за гнездо; но никак того не случалось.

Считал Витютень себя пророком всякой последней, гонимой, ненавидимой всеми и пожираемой твари — червей, мошек, рыбок, травы и таящих облаков, ибо и они пожираются в небе ветром.

Глаза его были велики, с поспевший чеснок, и в них горела неутомимая безумная любовь ко всем последним и растоптанным. Ходил он по земле и пел молитвы голубой траве и всякой трепещущей, дышащей твари, живущей один день, радостной и кроткой, познавшей все, ибо нечего тут познавать. Движется мир в свете солнца, и не может он тосковать; движутся живые по земле, и ни один не верит смерти. Один Витютень за всех все знает и скорбит. Но когда он видит божью коровку, он поет:

С дубу, с дубу, с дубу
Да опять на пень.

В песне не нужны слова, а нужна радость. Слова Витютень сочинил так, лишь бы что сказать, а пел он душой.

Раз встретил он ребятишек у леса. Встретил, напугал и долго им говорил о грядущем царстве последней твари, которая вскоре восстанет и победит все силы, ибо она кротка и тиха, знает мир, потому что любит его и не верит смерти.

— Не будет тогда больших и умных, будут одни малые и разумные, будут одни полюбившие. И листья на деревах больше бога, который хуже сатаны. И листья ропщут только от злодея ветра, в сердце же своем они кротки и сыты самым малым.

Идет вечное царство, голубая земля нищих, умерших, позабытых. Будет всем светить не солнце, а сердце другого, ты — мне, я — тебе… Большие жрут всех и оттого дохнут и уничтожаются. Они едят падаль, а падаль — их. Но вот малые, самые последние, меньше песчинок, те уже ничего не едят и ничего не хотят, смотрят без зависти и без желания на

другого, в тех одних бьется настоящая жизнь, и они без слова и борьбы завоюют мир, и царство малых будет без конца и без смерти…

Витютень от радости кричал: вы еще ребята, вы малые среди людей и вы возьмете себе человеческое царство. Так и там, малые миры возьмут себе мир. Самый малый, самый гонимый, никому не ведомый, молчащий, не рожденный, тот, для кого и песчинка — бог, тот истинный царь земли и всех звезд, потому что он последний царь, после него никого не будет, и потому он самый великий…

Был Христос, ему и сейчас еще молятся ваши отцы, он говорил: блаженны нищие духом. Но и он не понимал всего и не хотел умирать, когда умирают без слова вечером мошки, а каждая из них блаженней Христа, потому что беднее его духом.

Ребятишки сидели ни живы, ни мертвы. Сеня совсем поник и заплакал.

— Милый мой, — сказал Витютень и не спеша пошел дальше.

Так он ходил, говорил с людьми, за маленькими искал еще меньших, чтобы им втайне поклониться.

Есть червь, есть мошка, травка, листок, пылинка, но за ними есть еще меньшие, самые тихие и безгласные, и их искал и любил Витютень еще больше.

Витютень был рад своей радости, как и Тютень.

Тютень же хотел избить Витютня; нету царя кроме бога, бог же есть он, а Витютень — главный черт, раз не видит бога в Тютне.

Вот какое дело. Но жили они в разных деревнях, хоть и по соседству, а никак не встречались.

А в том селе, где жил Тютень, жил глубоко под землей Протегален.

Сорок лет назад родила его мать в овине, думала, что глист вылезает, глядь — ребенок. Это родился Протегален. До того он худ и длинен был, что мать звала его веревочкой, ветошкой, срамотой своей, на все лады, но не Ваней. А подрос Ваня, и прозвали его Протегальнем, а кто Тощей Верстой.

Был он ни велик, ни мал, а ходил крючком — цеплял за все, головой колотился и мешал навесам и потолкам. Людей для смеха Протегален под ногами пропускал.

Стало ему лет тридцать, а он все рос и сох, и всем был он не в моготу. Если бы сажень-полторы был Протегален, а то четыре, и зол, как черт. Ни работает, ни помогает, ходит деревья ломает и озера голенями меряет.

Пожил-пожил он, походил-походил и начал вдруг думать.

Потом нашел овраг поглубже и поглуше, выкопал в глине пещеру, набросал туда травы, наложил картошек на зиму с чужого поля и залез туда сам. Так он оттуда больше и не вылез.

Сидел согнутый в три погибели, не двигался и не говорил — не то дремал, не то думал.

Но Протегален не думал, не дремал, а переселился в другие края, себе по душе.

Края те просторные и пустынные и окружены черными горами. Эти горы выдолблены, и внутри их живут великаны, как в землянках.

Светит неподвижное большое солнце, нет там ночей и вечеров. Тихо кругом, спят великаны в землянках, поле везде без травы, и стоит посреди того мира Протегален — и хорошо ему: век бы стоял, он и стоит.

Тишина есть песня истины. И Протегален стоял в земле тишины, очарованный и бессмертный. В душе его пела музыка, и он умирал от безысходной одинокой радости. Спали в горах великаны, стояло солнце на небе, и сгорал сам Протегален в синем краю тишины и полей. Шевелилась душа в нем, как живая змея, и он знал, что умирает, уплывает земля под ногами, и было ему все лучше и лучше, будто уносила его большая река от берегов.

Сидел в пещере согнутый Протегален и умирал от своих радостных дум, которые сделали ему другую жизнь.

Ходил недалеко Витютень по полю, и сидел в деревне своей на завалинке Тютень.

Среди сухого лета набралась в небе испарина, загудела гроза — и вдарил ливень.

Шел в поле Витютень, прыгнул от дождя в овраг и залез нечаянно в пещеру Протегальня. Пахал недалеко Тютень, измок, как хрюза, сигнул тоже в этот овраг, увидел, торчит чья-то из ямы спина, а по ней дождь лупцует, и полез следом.

— Сторонись, отец, дай богу дорогу, — прохрипел Тютень Витютню. Витютень прилепился к стенке, и Тютень пролез глубже.

— Ну, и дела, — сказал Тютень, — бузует по чертям сатана, и шабаш.

Сразу стемнело, и ни один из трех не узнал друг друга. Ливень поливал все сильней и сильней, гром не гремел. Овраг заливало водой. Протегален ничего не видал и не слыхал. Витютень уснул, а Тютень был бог, и мир для него был дым, и он ничего не боялся. Давно по нем бледнело и тосковало небо.

Гнулись деревья, как хворостинки, от ливня, люди залезли на печки. На тысячи верст гремел ливень и не было ни живой души нигде. Овраг давно заровняло водой, а Протегален еще видел тихий край и черные горы.

Чуть дышал сонный Витютень и шептался во сне.

Тютень весь скочережился за спинами Витютня и Протегальня, затих, но чуял, что он бог, и слушал, как шевелится у него глист в животе и бьется кровь под пупком в подводной темной тишине.

Потухал весь белый свет, и неслись по небу горы, мужичьи бороды, божьи коровки и последние стынущие каменевшие облака.

Потомки Солнца

Я сторож и летописец опустелого земного шара. Я теперь одинокий хозяин горных вершин, равнин и океанов. Древнее время наступило на земле, как будто вот-вот двинутся ледники на юг и береза переселится на остров Цейлон.

Но кротко и бессмертно над головою голубое небо, спокойно и ясно мое сознание, тверда и могущественна моя многовидевшая человеческая рука: я не позволю совершиться тому, чего я не хочу, за мной века работы, катастроф и света мысли. Вверху, на движущихся звездах, земное мое человечество — странник и мыслитель. Передо мною Средиземное море, жалкие организмы, тепло и ровный скорбящий ветер.

Древняя любимая земля. Сколько пережили мы с тобою битв, труда, сказок и любви! Сколько моей мысли ушло на твое обновление! Теперь ты вся — мой дом. Дуют ровные теплые ветры, по указанным человеком путям, курсируют в океанах теплые течения. Прорваны галереи для воздушных потоков в горных цепях. Горячий туркестанский вихрь с песком несется к Северному полюсу. Давно разморожены льды обоих северных океанов и совершены все великие работы, осуществлены все глубокие мечты.

На земле стало тихо, и ночью мне слышен ход звезд и трепет влаги в стволах деревьев.

Нет больше катастроф, спазм и бешенства в природе. И нет в человеке горя, радости, восторга — есть тихий свет сознания. Человек теперь не живет, а созидает. Сознание. Всю жизнь я служил тебе в рядах человечества, и твоею силою теперь люди перенаселились на далекую звезду и с нею движутся по вселенной.

1924 год. В этот год в недрах космоса что-то родилось и вздрогнуло — и земля окуталась пламенем зноя. Северные сияния полыхали над Европой, и самые маленькие горы сделались вулканами. Оба магнитные полюса стали блуждать по земле, и корабли теряли направление. Это, может быть, комета вошла в наш звездный рой и вызвала это великое возмущение.

В зиму 1923-24 г. замерзло Средиземное море и совсем не выпало снега, только морозный железный ветер скрежетал по пространству от Калькутты до Архангельска и до Лиссабона. И жили люди в смертельном ожидании. Во всю зиму ни тучей, ни туманом не запятналось небо. Исчезло искусство, политика и под кувалдой стихий перестраивалось само человеческое общество. Нация, раса, государство, класс — стали дикими бессмысленными понятиями — остались одни несчастные и герои. Несчастные бросились в церкви, в

искусство, в наслаждение духом; герои ополчились на мир, против расплясавшейся материи. Этими героями были не одиночки, а огромные коллективы — коммунистические партии и огромные куски рабочего класса и молодежи.

Социальная революция совершилась быстро, всесветно и без страданий, ибо встала вторая задача — восстание на вселенную, реконструкция ее, переделка ее в элемент человечества — и эта новая, великая и величайшая революция одним своим преддверием, одним дыханием, выжигающим все бессильное и ошибочное уже истребила гнилые мистические верхи человечества, оставив лишь людей без чувств, без сердца, но с точным сознанием, с числовым разумом, людей, не нуждающихся долго ни в женщинах, ни в пище и питье и видящих в природе тяжелую свисшую необтесанную глыбу, а не бога, не чудо и не судьбу.

Остались люди, верящие в свой мозг и в свои машины — и было просто, тихо и спокойно на земле, даже как-то чисто, все видели опасность, но не дрожали от нее, а сгрудились, соорганизовались против нее. Получилось так: все человечество и вся природа — враг против врага, а между ними толстым слоем машины и сооружения.

Человечество видело, сознавало, думало, изобретало и завоевывало себе жизнь через завоевание вселенной. Машины работали и лепили из корявой бесформенной жестокой земли дом человечеству. Это был социализм.

Глубокое, тихое, задумавшееся человечество. Гремящая, воющая, полная концентрированной мощи, в орбите электричества и огня армия машин, неустанно и беспощадно грызущая материю.

Социализм — это власть человеческой думы на земле и везде, что я вижу и чего достигну когда-нибудь.

Из племен, государств, классов климатическая катастрофа создала единое человечество, с единым сознанием и бессонным темпом работы. Образ гибели жизни на земле родил в людях целомудренное братство, дисциплину, геройство и гений.

Катастрофа стала учителем и вождем человечества, как всегда была им. И так как все будущие силы надо было сконцентрировать в настоящем — была уничтожена половая и всякая любовь. Ибо если в теле человека таится сила, творящая поколения работников для длинных времен, то человечество сознательно прекратило истечение этой силы из себя, чтобы она работала сейчас, немедленно, а не завтра. И семя человека не делало детей, а делало мозг, растило и усиливало его — этого требовала смертельная эпоха истории.

Так было осуществлено целомудрие, и так женщина была освобождена и уравнена с мужчиной. Раньше женщина работала слишком тяжко — творила творца, — чтобы быть равной мужчине, ибо он был лодырь по сравнению с ней и имел больше органических сил поэтому.

Но люди неутомимо шли к высшей форме своего единения и знали, что, пока человека с человеком разделяет не раздавленная не покоренная до конца материя, этого единения не может быть.

Вещь стояла между людьми и разделяла их в пыль. Вещь должна быть истреблена.

И вот явился институт изобретений Елпидифора Баклажанова, в котором был сделан первый тип фотоэлектромагнитного резонатора трансформатора: аппарата, превращающего свет солнца, и звезд, и луны в электрический обыкновенный ток. Им был разрешен энергетический вопрос (получение наибольшего количества полезной энергии с наименьшим живым усилием), выражением которого и была вся человеческая история. Вселенная была вновь найдена как купель силы — обитель переменного тока ужасающей мощи.

Влагооборота на земле не было — вода ушла глубоко в грунт и там стояла мертвой. И свет был запряжен в работу: зашуршали мощные центробежные насосы и электромагниты подтягивали воду на поверхность.

Переменное электромагнитное поле неимоверного напряжения было пущено в корневые системы растений и, уравнивая поле своего действия в смысле равной его электропроводности, оно вгоняло элементы питания растений из почвы в их тела. Так был

изобретен сухой хлеб, и только для некоторых культур еще была нужна влага.

Сам я, кто пишет эти слова, пережил великую эпоху мысли, работы и гибели, и ничего во мне не осталось, кроме ясновидящего сознания, и сердце мое ничего не чувствует, а только качает кровь. Все-таки мне смешно глядеть на прошлые века: как они были сердечны, сантиментальны, литературны и невежественны. Это потому, что людей долго не касалась шершавая спина природы и они не слышали рычания в ее желудке. Люди любили, потели, размножались, и каждый десятый из них был поэт. У нас теперь — ни одного поэта, ни одного любовника и ни единого непонимающего — в этом величие нашей эпохи. Человек теперь говорит редко, но уста его от молчания свежи и слова точны, важны и хрустят. Мы полны уважения и искренности друг к другу, — но не любви: любовь ведет к падению и сознание при любви мутится и становится пахнущей жижкой. Время наше раздавило любовь и не велит родиться ей впредь никогда. Это хорошо, мы живем в важном и строгом месте и делаем трудное дело. Нам некогда улыбаться и касаться друг друга — у нас еле хватает силы видеть, сознавать и переделывать не нами и не для нас сделанный мир.

У меня есть жена, была жена. Она строже и суровее мужчины, ничего нет в ней от так называвшейся женщины — мягкого бесформенного существа. То же видящее, сознающее, обветренное железной пылью машин лицо, та же рука с изуродованными ногтями, что и у нас всех.

Только губы потолще и глаза влажнее, чем у меня. И есть в ней нетерпение и тревога, то еще волнуется материнская сила, не перелитая в мысль. По утрам она обходит электромоторы и насосы, щупает их температуру и по щелканью ремня прикидывает число оборотов. Я стою на площадке резонаторной станции и смотрю на нее: такое существо могли родить только наша бешеная судорожная природа и встречное движение ей жестокого, жестче природы, и прекрасного существа — человека, который решил заменить вселенную собой. Если б ее кто-нибудь вздумал обнять или сделать какой иной подобный исторический жест, она бы не поняла и задумалась о нем.

История человечества есть убийство им природы, и чем меньше природы среди людей, тем человек человечнее, имя его осмысленнее. И в нашу эпоху история достигла экстаза: обнажена душа солнечного света и свет качает воду, делает хлеб в бессильных и пыльных пустынях и им питает мозг человека.

Число растет, вес — этими простыми изобретениями липкая и страстная, чувственная, обваливающаяся земля была превращена в обитель поющих машин, где не стихает музыка мысли, превращенной в вещь, где мир падает водопадом на обнаженное ждущее сознание человека. Каждый прожитый, проработанный час заваливал чугунной плитой ревущую бездну под человеком.

И вот как раз были сделаны в институте Баклажанова машины, гонимые светом. Двигаться по переменному электромагнитному полю очень легко, и если бы не спящий Баклажанов, то световую летательную машину сделал бы я. Вообще это мастерская уже задача, когда свет стал током. Конечно, в этой машине не было никаких пропеллеров, моторов, т. к. она предназначалась для межзвездных дорог, для полей пустого газа.

Обдумав все это, люди решили переехать с земли на другую звезду, а сначала объехать весь звездный рой.

И вот — земля пустая. Ушел человек, и грянули на степи леса, появился зверь и по ночам впивался он, испуганный, молодыми зубами в бетон мастерских, все еще освещенных и работавших для того, чтобы влага оборачивалась и не стала бы земля песком и льдом. Но в мастерских и на оросительных станциях не было человека, и он там был не нужен.

Отчего ушел человек и оставил землю зверю, растению и неустанной машине? Человек, который так чист и разумен!

Я расскажу. Когда я был молод (это было до катастрофы), я любил девушку и она меня. И вот после долгой любви я почувствовал, что она стала во мне и со мною как рука, как теплота в крови и я вновь одинок и вновь хочу любить, но не женщину, а то, чего я не знаю и не видел — образ смутный и неимоверный. Я понял тогда, что любовь (не эта, не ваша

любовь) есть тоже работа и завоевание мира. Мы отщепляем любовью от мира куски и соединяем их с собой и вновь хотим соединить еще большее — все сделать собой.

Человечество, сбитое катастрофой в один сверкающий металлический кусок, после годов точной дисциплины, размеренной чеканной разделенной мысли, единой волны сознания, бушующей во всех, — уже не чувствует себя толпой людей, а сросшимся физически ощущаемым телом. И человечество, и зов тоски и влюбленное в мир, ушло искать единства с ним. Но эта человеческая любовь к миру не есть чувство, а раскаленное сознание, видение недоделанного, мятущегося, бесцельного, не человеческого космоса. Человек любит не человеческое, противоречивое ему, — и делает его человеческим.

Почему я остался здесь? Об этом не скажу даже себе. Наши пути с людьми разошлись — теперь два человечества: оно и я. Я работаю над бессмертием и сделаю бессмертие, прежде чем умру, поэтому не умру.

Сейчас вечер. Я прочитал брошюру Баклажанова о природе электричества. Он разгадал его. Несомненно, электричество есть инерция линий тяготения, тяготение же есть уравнение структур элементов. Возмущение же линий тяготений и инерция их от этого происходит от пересечения скрещивания и всяких влияний других линий тяготения.

Баклажанов был бессонный, бессменный на работе чудак, но любили его люди.

Уже ночь. Ни одна звезда не пойдет быстрее, ни одна комета без срока не врежется в сад планет. Какой каменный разум.

Я шел и был спокоен. Познание электричества для сознания то же что была когда-то любовь для сердца.

Чем мы будем? Не знаю. Безымянная сила растет в нас, томит и мучает и взрывается то любовью, то сознанием, то воем черного хаоса и исребления, и страшно и душно мне, я чувствую в жилах тесноту.

Мы запрягли в станки электричество и свет и скоро запряжем в них тяготение, время и свою полыхающую душу.

Немые тайны морских глубин
(Роман из великой эпохи)

Я опущусь на дно морское Я поднимусь под облака Лицо я вижу восковое И худощавые бока

Песнь пожилых девушек, именуемых «синими чулками» г. Индиан Чепцов, мореходец и любитель сочинений

Жил он у Покрова, откуда простирался вид на обширную Донскую область с её известным торговым пунктом Ростовом н/Дону.

Из русских и заграничных писателей любил он больше всего А. Леваду и Старого Френча, писавших сочинения своего произведения в газете «Репейник», ибо они были похожи на Чехова, единственного умного человека из русских сочинителей, как полагал Чепцов.

Но, к сожалению, А. Левада и Старый Френч были иностранцы, судя по фамилиям, и, в лучшем случае, принадлежали к той хитрой нации, которая прозывается хохлами. Но за несомненного русского писателя Чепцов почитал Мих. Бахметьева, сочинявшего только про разных особ противоположного самому себе пола, и про себя Чепцов думал, что у него есть ещё главные секретные сочинения, написанные по одному матерному. Но и его считал Чепцов татарином либо мордвой.

Так что не было в Воронеже знаменитого русского писателя, а если были, то иноземцы.

В существе вещей Чепцов предлагал лежащим пространство, то есть даль, море, путешествие, пешеходство с седым и мудрым странником. И мир, по его суждению и долгой думе, переживает только утро и набухает горячей юностью и от жадности и голода в материнской утробе пожирает зверей, траву и всякие злаки, чтобы впоследствии пуститься в странствие по поверхности земного шара, по его недрам и по дну его морей и океанов, а

также по прочим шарам за атмосферными пределами.

Вследствие этого Индиан Чепцов купил моторную лодку с новым мотором в Спасском пер., в доме номер 2, по объявлению в «Воронежской коммуне». И поехал в дружелюбную страну Турцию, взяв себе другом Жоржа, знаменитого фокусника и престидижитатора, занимавшегося в последнее время безвозмездным товарообменом с разными лицами и учреждениями, которые операции делали судьбу его превратной и полной неожиданного смысла, вследствие чего Жорж только пуще влюбился и пил более густой наваристый чай, в количестве стаканов сопредельном расстоянию до неподвижной звезды.

Паричок Жоржик снял, ибо предстояла пустыня, сырость и глухая одинокая даль, а не концерт в консерватории.

И вот настал голубой теплый день.

Индиан Чепцов и Жорж спустились к шлюзу, завели мощный мотор, поглядели на Воронеж, свой родной губернский город, от коего таким же образом Петр Первый отплывал, и поплыли к Дону. Мотор ревел, как одичалый черт.

— Ага, попер, чертила! — вдохновенно бормотал Чепцов. И вихрем неслась лодка, гонимая диким огнем, задушенным в железе. Так в древности гениальный дикарь вскакивал на трепещущего вольного коня, и, пугаясь друг друга, они проносились сотни верст.

Трагическое сочинение Иоганна Пупкова

Благого сердца благодать и песнопение, Пузырь Луны и мокрая ветошка, И тихих рек ночное средостение, И одичалая осенняя картошка. Земные телеса распухли и вспотели. Набухло чрево пищей и питьем, В космической берлоге люди засопели.

Душа в тугачку закупорена пупком. (Месмерические видения Индиана Чепцова)

2. Благолепие земных вещей

И прибыли они, плавающие и путешествующие, Чепцов и Жоржик, в некую весьма благолепную страну, коей неведомо было воздыхание о сокровенных вещах.

На берегу стоял человек, его обличье и рост вещали о питании одной мыслью и спрятанные в черепе глаза как бы говорили: буржуй, сволочь, укороти свои безмерные потребности, жри пищу не для вкуса, но для здоровья, закупорь свои семенные канальчики, не спускай силу зря, гони ее в мозг и в руки.

Лодка проплыла мимо, но все стоял сухостоем длинный и суровый человек, как бы предупреждая и грозя и как бы напутствуя: не ходи в сей город, смежи очи от его благолепия; там во дворах устроены стойла, где сытые самки раскорячились в ожидании твоего оплодотворения, дабы затмить твое святое сознание и опустошить твою борющуюся душу.

Чепцов и Жоржик уже норовили к берегу, когда все еще торчавший на горизонте длинный человек сделал им, наконец, наглядное неприличие, т. е. пакость.

— Поразительное существо, — определил Чепцов. — Так сказать, трансцендентальный мещанин.

— Да, — задумался Жорж, — хотя целый ряд соображений говорят не за, но против этого бытийствующего субъекта.

Город блестел чистотой и своей изрядной архитектурой, когда мирно ступали по его тротуарам наши два героя. Везде стояли ветлы, снабженные нормальным количеством воробьев, милиционный человек стоял также ровно посередке улицы, а не грелся в гастрономическом магазине (дабы не мешать коммерческому движению).

Весь супесок с тротуаров был сметен в предназначенные для него канавки, откуда он и выносился естественными осадками в свое место. Юношей, предлагающих вам высшего сорта папиросы, также не было, и Чепцов даже слегка потосковал об их бодром гимне, какой непрерывно раздается на улицах его родного города: — А вот папиросы высший сорт — Здеся: Вот они!

Лишь вдалеке незначительная группа молодых людей отбивала ногами «чечер», национальный танец этой благой страны.

Второй встретившийся нашим героям человек был уже радостным существом:

— Друг, дай петушка! Я вас люблю — дай петушка!

Жоржик и Чепцов дали ему по петушку.

Из открытых дверей благоустроенных жилищ, туземцев пахло щами и жженым железом печей местной конструкции.

Наконец Жорж и Чепцов узрели самую культуру страны: афишу, на коей было обозначено, что гр. Мамученко прочтет доклад о браке, совокуплении и любви.

Город, насколько разглядели его наши герои за день, ничем не занимался трудным, а всем населением с утра уходил на базар и продавал друг другу ветошь, замшу, мыло, пышки, лепешки, всякие жамки, купыри, сальники, воду марки санитас, пузырьки для электрического освещения, опорки, заусайловскую махорку, грамотки старинной печати, иконки и прочий благоприобретенный товарец. Так что общество, в сущности, было освобождено от труда, а занималось творческой профессией товарооборота ради питания и домашней тишины.

У каждого человека была женушка, добротная хозяйка-посиделушка, и весь мертвый кухонный инвентарь. Вечером поужинав теплыми щами с говядинкой, хозяин и хозяюшка прочитывали совместно и не спеша «Господи и владыка живота моего» (был пост великий), и ложились на покой в тесное супружеское тёплышко. Утром хозяюшка варила (а хозяин еще всхрапывал) кулеш с сальцем. А хозяин, вставши и нанизавшись этой пищей, шел самолично щупать троечку курей.

Так несуетно и благопристойно протекало существование. Колосья смазывались маслицем, лысины зачесывались волосок к волоску, а по вечерам тщетно плакали гармонии на окраинах, на улицах сапожников — о тоске, о светопреставлении, о мысли буйной и невыносимой, будто лопнуло сердце и рваным комком подкатило к горлу. Боже мой, люди, давайте жить по-иному и ополчимся на мир и на самих себя. Полюбим женщин жарко и на вечность, но не будем спать с ними, а будем биться вместе с ними с ревущей катастрофой, именуемой миром.

Жоржик и ты, Чепцов Индиан, вы же странники и воители, вы шахтеры вселенной, а не то, что вы есть. Жорж, брось пожирать колбасу и масло, перейди на кашу, ты же лучший из многих, дорогой ты мой.

Вечером того же дня Жорж и Чепцов отправились на лекции Мамученко. Народу привалило тыщи великие.

За самое чувствительное место ухватил Мамученко людей — за их яичники.

Одни сапожники остались дома играть на гармониях. Они живут на белом свете.

Трагическое, то есть жалостное сочинение Иоганна Пупкова

Гуляла по улице мамашина дочка, Слезами заливалась до тощего пупочка. Девица-голубушка, горькая краса, Горе есть — сгоревшие жир и колбаса.

3. Книга о граде сем

Однажды ночью Чепцов спал. И так сладко, что открыл рот и опустил оттуда слюну до полу. А на дворе стояло утро, поднялась теплота, и в комнату пробрались мухи. Увидевши красное мясо (т. е. пасть Чепцова), они внизались в него и стали там ерзать. Чепцов закрыл рот: ап! и сжевал их и отправил по пищеводу вниз. Проснувшись и поевши колбаски, он пошел будить Жоржика.

Жорж выпил чан чаю, намял тюри в чугуне и, скушавши ее, запив повторительно корчажкой воды, наконец приподнялся, потом встал, и они пошли: как всегда оба и вдвоем.

Город тянулся к базару. Обвешанные ветошью, шли бабы. Катились тележки с малосольными огурцами, с калекой (братие, сестры, подайте слепому-невидящему!) и с прочим горем несчастного города.

В некотором углу большой и изрядно унавоженной площади расположился старый торговец книгами, философ, любитель чая и задушевной беседы о вещах не одного дня. Был он тощ, но бодр и мудр. Спал мало, долго по ночам думал и читал древние стертые рукописные книги: мо… мо… мо… И, начихавшись, вздыхал: да-а! Затем укладывался, шепча и думая, чтобы проснуться на заре и осторожно, неспешно и мудро снова

перелистывать заржавевшие страницы, куда внедрились культуры и боги погибших рас, чтобы сохраниться на века в темной келье старика, покуда родятся понимающие светлые люди и прочтут уставшие ждать слепые страницы.

К нему-то и пробирались два наших героя. Старик (его звали Иоаким Иоакимыч — он и сейчас цел и действует) их как бы поджидал и, привязывая новые веревочки к очкам, все поглядывал в сторону бредущих сквозь непроходимый сонм торгующих. Солнце уже было на значительной высоте и грело разложенную мануфактуру.

— Здравствуй, старик! — сказал Чепцов и взял в руки книжку.

— Здравствуйте, друзья, что скажете? Что хорошенького слышно?

— Да вот нам нужна книжка нравоучительного характера и отчасти моральная…

— Есть, есть. Таковая найдется. Вот извольте вникнуть.

«С этим стариком хорошо пивка бы попить с сухариками солеными», — подумал ни к чему Чепцов и взял огромный том. Откинув переплет, Чепцов и Жоржик прочитали: «Книга о граде сем, сочиненная и составленная добровольно столоначальником 4 стола губернской консистории Ионой Атараксиевым, с ведома и соизволения начальства, на предмет выяснения личностей, населяющих сей государственный пункт, дабы отметить благонравие однех и устеречь дерзостное поведение иных».

— Для любителя — книга — неукоснительного внимания, так сказать, ключ к душам человеческим, — сказал старик. — Писание весьма нравоучительное даже в недостойностях своих, коих, к стыду сочинителя, немало.

Чепцов и Жорж заплатили деньги и пошли читать книгу домой, т. е. к одной старушонке, где они поселились.

— Ну, прощай, старик. До свиданья.

— До скорого, дорогие мои, до скорого.

Жорж зашел еще купить лепешек и масла чухонского, а Чепцов пошел прямо к местожительству и начал читать сочинение Атараксиева Ионы.

«Обращение от сочинителя и составителя к почтенным читателям и читательницам» Чепцов пропустил как не содержащее ничего особо примечательного (сочинитель просил не сетовать на его маломощный умишко, стремящийся лишь к благонравию и добропорядочности, отнюдь же не к славе и не к возвышению в чинах за особо выдающиеся заслуги пред отечеством, предусмотренные особым на сей предмет положением). Чепцов начал прямо с сути.

Глава первая
Раздел первый

Личности в особо предосудительном не замечаемые, что, однако, не служит добрым аттестующим документом на грядущее время, по существу же вещей это такие же подлецы и государственные преступники, но лишь их множество допускает их относить властям исполнительным к лицам так называемым благонадежным.

1. Педо Африкан Африканович, писец 4-го разряда 2-го стола 1-го делопроизводства, 38 лет, холост, уроженец заграничной державы. В то время, как начальство пьет чай в 12 часов по полудни и кушает особые слоеные булочки, этот занимает до двадцатого у сторожа Петра пятачок и посылает уборщицу Феклушу за так называемым в просторечии «воробьем», т. е. наименьшей продажной мерой казенного вина. После чего он по глотку ублажает себя в продолжении нескольких часов до конца присутствия, втайне следя за взором столоначальника, дабы не быть застигнутым. После двадцатого числа любого месяца он не только пьет вино, но также и пиво в несоразмерных с самим собою и с своей комплекцией количествах, вследствие чего у него в продолжении трех суток после двадцатого бывает мочегон, по причине которого он беспрерывно отсутствует из присутствия. Личность одинокая и дикая. Все более разучивается писать с годами.

Скобоз Ванифатий Юстинианович. Пом. делопроизводителя 11-го делопроизводства,

42 лет, женат, православный, не пьет, ест однажды в сутки, спит четыре часа по ночам, все другое время, как в присутствии, так и дома, пишет ведомости о родившихся младенцах мужского и женского пола. Дома у него их тыщи. Неведомо что творит человек. Но по моему уразумению тут сокрыто государственное преступление или деяние чрезвычайной важности таинственной разрушительной секты. В прочих отношениях Ванифатия Юстиниановича не покидает благомыслие.

Рассказ не состоящего больше во жлобах

Звездов много, молонья сверкует — сколь неизречимы чудеса натуры. В городах — машины, сияющие ночью улицы, умные вразумительные люди, вкусные вещества и прочее. А в полях — география, звездный свет, тихий ход рек, дыхание почвы, речь пахаря с встающим солнцем.

Миллиарды лет жили до меня мои предки — неглупые старики.

Их жизнь и работа запечатлелись в голове моей. Я — живой памятник своих предков и их завет и надежда. И то в этой голове, которая делалась миллионы веков, не хватает силы узреть весь мир, уложить его в сердце и сделать лучшим, чем он есть.

Имеем лишь слово — инструмент нежный и из слов сплетаем и перекидываем тростниковые мосты меж своими живыми душами.

Хорошо в мире, без сомнения. Обжился я, притерпелся, а давно ли ставить ноги прямо вкрутую не мог, а полз корягой, верил всему, что видимо и не видимо.

И все таковые же были из нашей Тарараевки — невидный обглоданный народ, не помнящий, как называется их уездный город или другой какой правительственный пункт.

Помню в Красную армию нас забрали. Приехали в Москву. Измордовались наши ребята в дороге. Слезли и очумели — ну, теперь мы пропали. Кто что спросит, а мы:

— А? Што? А?

— Откуда, земляки?

— А? Што?

Стоят дома, несоразмерные с человеком. Идет человек, крутит тростью и лопочет неведомо что. Играет где-то жалостная музыка. Жутко и чудно нам. Далеко остались матери и сестры — жалко их стало, зря дома не любили их как следует.

И тут чепуха с нами пошла. Старые красноармейцы смеются над нами: пропали, говорят, теперь вы, товарищи. Лучше загодя проси у товарища Троцкого отпуска на побывку — вон он в клубе, ступай. Пришли мы, человека три, в клуб.

— Вон, — показывают, — товарищ Троцкий.

— Дак тож видимость одна, — говорим мы, — партрет.

— Нет, — отвечают, — это не видимость, это у буржуев видимость и обман один, а у нас, у пролетариев, — правда и живая личность. Проси отпуска.

— Мы разом:

— Товарищ Троцкий, дозвольте домой на деревню к отцу-матери на побывку, вскорости возвратимся, а теперича надобно домой…

А товарищ Троцкий отвечает басом:

— Что ж вы, товарищи, аль дезертировать захотели. Не успели приехать, уж побывку вам.

— Да мы, товарищ Троцкий, не привыкли еще и по дому соскучились…

— Ну, ступай, несознательный элемент, да живее оборачивайся, стало быть. Не распускайся в дороге: мажь сапоги, пуговицы пришивай, не будь рохлей, ты ведь будущий красный воин.

— Покорно благодарим. Уж будьте покойны.

Собрались мы и уехали. Командир наш дал нам по тыще даже: от товарища, говорит, Троцкого на харчи и табак, теперь вали смело. Такого уважительного товарища, должно, на свете еще не было.

— Ну-с, через месяц нас троих же, четвертый на поезд не сел, взяли в волость как дезертиров.

Тут-то я до всего дознался: вспом-нил, как похохатывал командир, когда давал нам по тыще, как у товарища Троцкого губы не шевелились при разговоре. Не живая личность, а живая картина была в клубе и за картиной сидел и рычал командир наш.

Ну, ничего. Приехавши в Москву, мы окончательно определились на красноармейскую службу. Сажать нас не посадили, а посмеялись и сказали: дураки вы, товарищи, надо ликвидировать вашу безгра-мотность и пройти с вами политграмоту. Вали каждый на свое место — думай больше и гляди глазами.

Ничего себе настало время — люди все ласковые и свои.

А через месяц я все-таки женился, не потому, что надобность особая была, а давали мануфактуры, самовар, койку большую, скатерти, посуду всякую, обмеблирование и прочий семейный причиндал.

И отправил я супругу со всем казенным имуществом к родне — и радость, и помощь. Теперь я понимаю политику и во жлобах не состою.

Написанное в соавторстве

Рассказ о многих интересных вещах

Глава первая, рассказывающая о рождении Ивана Копчикова и о первых его похождениях

Одна девка с хутора Суржи — была его матерью. Она была рябая до того, что лицо ее походило на гороховое поле. И ни один суржинский парень не брал ее в жены. Понятное дело, кто ж согласится целовать такую рябую морду, на которой даже носа не видать вовсе. Его съели рябины.

А девке захотелось родить. Она пошла в дремучий лес и жила там 11 месяцев и 11 дней. С кем она там жила — никто не знает. Только однажды возвратилась она на хутор с месячным мальчишкой за пазухой. Он совсем голенький выглядывал из-за пазухи и улыбался, посвистывая в свой нос.

Нос его оказался очень большим и острым, как у птицы-кобчика. И все свистел нос, и все нюхал он воздух.

А когда потный и грязный брат девки подошел к мальчишке, мальчишка громко чихнул и замахал на брата ручонками. Брат ему, видно, не понравился.

— Ишь ты, — сказал тогда брат девкин, — прямо не ребенок у тебя, Глашка, а кобчик какой-то.

Так его и назвали: Иван Копчиков.

Но пьяница-поп не захотел крестить мальчишку. Он говорил:

— Кто его отец?

Глашка отвечала:

— Не знаю. Нету отца.

— Как так — нету? Без отца нельзя. Одна Богородица без отца могла рожать. Ты что ж — тоже богородица?

— Да нет. Я девка Глашка. Я вам батюшка, ковригу хлеба могу пожертвовать.

Поп просил две ковриги, полбутылки водки и десять селедок на закуску. Тогда он соглашался окрестить. А у Глашки этого не могло иметься: она была чересчур бедная и даже пеленок для ребенка не имела.

Так и остался Иван Копчиков некрещеным. И начал расти. Рос прямо рысью: в полгода вырос с аршин и начал ходить. А в 11 месяцев и 11 дней дернул мать за юбку и сказал просто

и ясно:

— Мам, исть хотца. Дюже. Дай ломоть. Да поболе посоли.

Глава вторая, в которой Иван подрастает и из которой очевидно, откуда он

Встал на ноги Иван, поднял нос к небу, глянул — высоко.

Лес гудит в буре — густо. И рожь угнетается ветром низко и покорно. Только шершавит она и тонко поет, как кровь по жилам у матери. Иван не знал еще ничему имен:

— Это што? Это ктой-та? Аяй!

У дня покраснели глаза, уморился он и сомкнул их. Долго слезы и кровь текли по слезницам одноглавого дня и падали с неба на траву, холодела трава и мочилась.

Вечер. Тяжкая печаль в материнском Глашкином теле. Груди висят ветошками, и ждет ее Иоан на татарском древнем кургане и смотрит вечер, в чуть звенящие по ветру звезды.

Жалко ему матерь, жалко чужой дом. Страшно ждать ночь и ночью жить. А если мать не придет? Петра не пустит в хату.

— Мам! Мама!

Тяжко и густо, как чернозем после ливня, прет душевная сила из Ваняткина живота, из куска перепревшего черного хлеба.

В волчьей тоске зачал Ивана волк — Яким — человек почти не существующий. По обличию — скот и волк, по душе, по сердцу, по глазам — странник и нагое бьющееся сердце.

Когда пришла Глашка в лес, запела не своим голосом. Ибо подступила тесно и жарко к пышной надутой душе ее пламенная неукротимая сила. Вышел Яким из куреня:

— Кто это орет? Неужели человек затосковал? Пойтить упредить. Глядит — бредет тугая девка сама не своя.

— Ты што? — сказал Яким и сам задрожал. Скорбь и горе на девкином лице. И дождем мокнут впавшие ее человечьи глаза.

Обнял ее Яким. И сам заскорбел. И пал душою. Заволокся лес деревьями. Закрыл небо. И сперся стволами в страшной нагретой темноте.

— Голубь ты мой, птица высокая! Где же ты был, отчего не повстречался? — шептала Глашка. Она выдумывала лучшие слова, которые никогда сама не говорила, а слышала когда-то и забыла.

И утром очнулся Яким мокрый и уморенный. Никогда так не умаривался. Голова лежала в траве тощая. И лицо было в морщинах от избывшей силы, от согнувшейся замолкшей души.

— Мертвый я, — подумал Яким. — Смерть идет от девки. В тишине и жизни, без людей, с одной душой буду жить.

Шла Глашка покойная. Низко шел месяц, и ручей шелестел.

— Милый мой!

Но Яким был не только милый, а незнаемо кто. И разговорилась Глашкина душа. Весь белый свет был мил и разговорчив. Пропал Яким из лесу навеки.

Ходит Глашка — и не ищет Якима, а так. Запечатленный в плоти — не потеряется. А уж три раза рожалась рожь. И сосна, где стояла Глашка и видела неторопливого Якима, подросла.

Иван ждал мать на кургане. А мать не торопилась.

Глава третья, описывающая разные истории с Ваняткой

Целыми месяцами сидел Ванятка на кургане том. Только на ночь уводила его мать в братову хату.

Днем же опять шел Иван Копчиков на старое место. В ковыль ложился. Питали его пастухи. Из жалости. Они позволяли ему сосать дойных коров, давали ломоть хлеба.

Потянет-потянет Иван молока из коровьего вымени, а потом заест молоко хлебом.

В четыре года мог уж Иван Копчиков удержать корову за хвост, ежели она думала убежать от него и не давала себя сосать. Такая у него сила появилась расчудесная.

И хитрость у Ивана прибывала ежечасно. И ум прибавлялся с каждым днем. Стал Иван пастушить, когда ему сравнялось пять лет. Да так хорошо пастушил, что одно удивленье. Коровы приходили домой сытыми по горло и веселыми. Молока давали пропасть.

Кормил их Иван Копчиков так. Сначала в солончаки погонит. А потом, когда коровы соли много употребят, гонит их в степь. Трава утренняя в степи потная, мокрая. Коровы ее и уничтожают до тех пор, пока не напьются росою. А сколько им росы-то надо, чтобы напиться? Много! Оттого и сытость у них непомерная.

Далеко полетела по деревням слава о пятилетнем пастухе. И приходили к нему многие. И он обучал их пастушьему искусству.

Глава четвертая, доказывающая, что дело не в летах

Шесть коротких лет прожил Иван Копчиков на земле. Но уже стало ему скучно и тесно в родной Сурже. Он бросил свое стадо и темной бурной ночью, в грозу, вылез из хаты в окошко и потихоньку пошел себе, куда глаза глядят.

Молния пахала небо. Гром был над землей. Иван не боялся. Он все шел и шел. И дошел до лесу. Сел на пенек около оврага и задумался об своем.

Вдруг небо раскололось на двое, точно человеческий череп. Ослепительный синеватый шар трахнул из туч, в овраг. С оглушительным треском в щепки разлетелся столетний дуб. Иван наклонился и посмотрел вниз. Там, на самом дне оврага, что-то горело. Но горело что-то живое: огонь бегал, кружился и скакал.

Иван быстро спустился вниз. Вернее — он скатился туда кубарем.

По дну оврага метался горящий волк. Он прыгал вверх, падал на спину, терся боками о землю, зарывался в нее головой, но шерсть его продолжала гореть. И от него загорелась уже сухая трава, а местами и сухой валежник.

Иван сказал:

— Молния зажгла волка. Волк знает, как ее тушить — землей. Ага.

И, выждав удобный момент, Иван Копчиков дубинкой стукнул по волчьей голове. Волк завертелся на одном месте, лязгнул зубами и вытянулся.

Тогда Иван быстро-быстро начал засыпать его сырой землей. Огонь сразу потух. Волк тяжело раздувал бока и хрипел, дрыгал ногами.

— Жив будешь, — сказал Иван и полез наверх. Стало тихо в лесу. Гроза прошла как-то сразу. Капал крупный дождь.

Иван пошел быстро. Скоро утро — на Сурже голосили петухи. В пруду квакали лягушата хором. Хорошо. Но кто еще там? Кто это раздвигает кусты сзади? Кто это идет за Иваном? Иван подождал чуточку.

Обгорелый волк, пошатываясь, подбежал к нему, лизнул его в ногу и лег около.

— Волк, — удивился Иван, — какой ты есть, а? Почему ты меня узнал? Волк лизал ему ноги.

— Ну что ж. Ежели ты умный, идем со мной.

И они двинулись на Суржу, вместе. Впереди шел Иван, а сзади пошатывался волк. Дома Иван влез в окно, а волк лег на завалинку и, как собачонка, свернулся калачиком. Скоро оба заснули.

Утром на Сурже случился с волком казус: бабы бежали от него опрометью, орали:

— Черт, черт, оборотень!

Иван тогда гладил волка по губам насказал громко:

— Чего вы, дуры, испугались. Это мой друг — волк, а не черт.

Глава пятая, из коей очевидно, что слово было когда-то душою, а буква — очертанием

зверя

— Сколь разумно бытие? — спросил сам у себя единожды Савва Агапчиков и задумался.

Шел пост. Тлел заунывно снег в полях. Не тоска, а хуже — какая-то едрена палка воткнулась в душу и коловращалась там живою сукой.

Саввушка (так именовали его бабы, которые еще были во страстях, — ибо Саввушка был мужик сдобный и мордой миловидный), так вот, Саввушка стал чахнуть:

— Сколь разумно бытие?

Бросил пахать Савва, не велик дар — хлеб, когда душа-ссохлась. Залез в лебеду и в последний раз задумался: откуда все?

И умер там Савва — в лебеде. Старая усталая голова, иссосанная работой, нуждой, долгой жизнью с женщиной, не надулась в стальной мускул и не рассекла тайну — мучения жизни. А вылезать Савва не пожелал: раз мне ничего не известно — ничему доверить гроша не могу, не токмо себя. Прощевайте!

И умер Савва — миловидный мужичок. А в Сурже, как бы невзначай, не посреди людей, а помимо их, за околицей, на кургане, под немым месяцем рос, поспешая, Иван Копчиков.

Рос враз и без попечения — самогоном. Гонит неведомая сила рысью ввысь и в ширку. Успевай, мать, дырки и прорвы штопать на рубахе. Благо, одна она.

Десять лет минуло, как Яким уморился от Глашки в лесу. Петр два раза крышу перекрыл. Овраг подступил к самой Сурже. Филька Жигун утоп в Дону и пропал пропадом. Должно, пузырь в животе не лопнул. Только солнце осыпалось жаром, как всегда.

Прислушался Иван к словам. Шипят, поют, ноют жужелицей, ласкаются и жмут ухо.

— Чистые мыши, живые звери, травы, ветры, влага либо сон и голод. У всякой душевной силы есть свое слово, и оно то ласково, как женщина, то грозно и знойно, то глухо и смутно, как нищий — немтырь или деревенский колотушечник.

Есть слова липкие, горячие, как девкины губы, как бессонная августовская ночь, когда пышешь силой-жаром, а сам одинок. Ходил по полю Иван и бурчал:

— Рожается рожь… Топает копытами и капает пот. Плели лапти и латали, за скулою лопотали, языки все растоптали… Щука в море, мертвец в гробе, сыч в лесе, глист в пузе…

Таким ходом шла голова Ивана, и он припечатывал сущие вещи именами.

Слово — это ведь сокращенная и ускоренная жизнь. Если чуешь жизнь, то слово найдется сразу для каждого ее дыхания. И это слово будет то, которое уже имеют люди, и твое новое слово и старое совпадут, ибо и тот человек, кто вскрикнул от надавившей на него жизни словом, был могуч. Переполнен и один, окруженный ветром, как Иван, с его внезапными стоячими глазами.

Слово, как душа, стукнувшаяся об стену и зазвеневшая. И звенит каждый раз, особо, как когда ударится.

И по песне своей слово похоже на душу, и по тому, как рисуется на бумаге.

Так обдумывал жизнь, душу и слово Иван. И было ему хорошо и твердо. В теле билось полное сердце. Мозг скрежетал мыслями и высекал искры единственной правды.

Тихо и тепло жить в мире и не страшно. Жук похож на букву Ж. Цвет, звезда, сердце. Это нежные, целуемые человеком вещи-слова, и слышно касание губ человека, и виден тут блеск и сияние души.

Сила человека — в сохранении и повторении несчетно раз души в слове.

— Вот что надо взять в мире, — думал Иван. — Мужики делают хлеб. Бабы ребят. Плотники дома. А я буду делать хорошие души из рассыпанных потерянных слов. Я слеплю швее сначала.

Глава шестая, очень коротая, но нужная

Думал Иван о словах: почему овраг называется оврагом? И додумался. Потому, что он землю у мужиков отымает. Каждый год по весне и осенью рушатся края оврагов и пропадает земля, которая могла бы родить хлебушек. Вот увидел это первый человек и вскрикнул в гневе:

— О враг ты наш! Овраг — враг мужиков.

Врага — надо уничтожать. Иван Копчиков сказал мужикам:

— Скоро Суржа в овраг сползет, поняли?

Глава седьмая, повествующая о том, как овраг родил деньги

Сказал, значит, Иван Копчиков мужичкам:

— Слопает овраг нашу Суржу.

А мужики — какой народ-то? Почесал кое-где пятерней:

— Авось не слопает. А слопает — так это ж не скоро.

Привык мужик после драки кулаками махать. Иван Копчиков не таков, хоть и десять лет ему от роду. Он взял и на своем участке обсадил овраг поперек рядами красной лозины и шелюгой. А чтобы скотина ее не шкодила, приказал своему другу-волку жить в овраге и стеречь. Через три года родил овраг Ивану Копчикову денежки. Лозина — она хлесткая, растет в год по аршину. Так и прет во все стороны кустищами. Хорошая лозина, гибкая, чисто восковая свеча.

И овраг перестал на Ивановом участке оползать, пророс травой. Три с половиной воза накосил Иван сена в овраге.

А как заосеняло, Иван залез в овраг и давай вместе с волком пряменькие хворостинки подкашивать. Иван — ножичком, а волк — зубом: зуб у волка — бритва. Мужики смеялись:

— Садил, садил, а теперь — изничтожает! Вот дурак!

Смолчал Иван: не любил он много слов говорить зазря, делал свое дело. Из хворостин понаплел сундуков и корзинок целую гору. Продал их в городе за четвертной все. Родил овраг денежки. Тут мужики за ум взялись:

— Ах, дьявол. Мальчонке тринадцать годов, а он умней нас оказался.

Однова выбрала Суржа денек подходящей да свободный и засадила весь как есть овраг, по примеру Ивана.

Глава восьмая, в коей орудует неведомый гнида

Появилось в теле у Ивана как бы жжение и чесотка. Сна нету, есть не охота. Жара в животе до горла. Хочется как бы пасть волку разорвать либо яму руками выкопать в глубину до земного жара.

Иван уже знал, что в могиле тепло, а в глубоких землянках рыбаки жмут и зимой у самого льда.

Бьется в тесном теле комками горячая крутая кровь, а работы подходящей нету. Думы все Иван передумал, дела произвел. Хату Петру починил, плетни оправил, баклажаны сполол — все, как следует быть.

Сидит Иван вечерами и ночами на завалинке. Сверчки поют. В пруде басом кто-то не спеша попевает и попевает, как запертый бык.

Радость внутри сердца Ивана кто-то держит на тонкой веревочке и не пущает наружу.

— Тебе б к бабе пора, — говаривал Мартын Ипполитович, сапожник-сосед, мудрое в селе лицо, — взял бы девку какую попрочней, сходил бы в лес с ней — и отживел. А то мощей так и будешь.

А Иван совсем ошалел. Мартын же иногда давал ему направление:

— Атджюджюрил бы какую-нибудь лярву — оно и спало бы. Пра говорю!

И шел раз Иван по просеке в лесу. Ночная муть налезала на всю землю. В воздухе почти невидимо было и запахло хлебной коркой.

И идут сзади вслед торопкие и легчайшие чьи-то ноги. Иван обождал. Подошла, не взглянула и прошла Наташа, суржинская девка. И видел, и не видел ее ранее Иван — не помнил.

В голове и в волосах и в теле ее была какая-то милость и жалость. Голос ее должен быть ласковый и медленный. Скажет — и между словами пройдет душа, и эту душу слышишь, как слово.

И в Ивановом теле сорвалась с веревочки радость и выплыла наружу слезами. Наташа ушла, и Иван пошел.

На деревне — тишина. Из сердца Ивана поползли комарики — и точат, и жгут тело, и сна не дают.

Шли дни, как пряжу баба наматывала. Живешь, как на печке сидишь, и поглядываешь на бабу — длинен день, когда душа велика. Бесконечна жизнь, когда скорбь, как сор по просу, по душе разрастается.

Простоволосые ходили мужики. Чадом пошла по деревне некая болезнь. Тоскуют и скорбят, как парни в мобилизацию, все мужики. Баб кличут уважительными именами:

— Феклуша, дескать, Марьюшка, Афросиньюшка, Аксинь Захаровна! Благолепное наступило время.

Посиживал Иван с Наташей и говорил ей, что от них по деревне мор любовный пошел. От одного сердца вспыхнули и засияли сердца всех. Завелась у Ивана в теле от Наташи как бы гнида или блоха, выпрыгнула прочь и заразила всех мужиков и баб.

Но гниды эти невидимы и их нельзя перелущить ни на ногте, ни на камне.

Пускай прыгают они по всему белому свету — и будет тогда светопреставление.

Тихо ласкали по деревне люди друг-друга. Но от этих ласк не было ни детей, ни истомы, а только радость и жарко работалось.

Приезжал доктор — из волости, — освидетельствовал некоторых и сказал:

— История странная, но вселенная велика и чудесна — и все возможно. Мы, как Ньютон[5] еще сказал, живем на берегу великого океана пространств и времени и ищем разноцветные камушки… И эта бацилла аморе[6] — только самый редкий и чудесный камушек, которого еще никто никогда не находил…

Глава девятая, ясно намекающая на новые затея Ивана

Роса паршивая упадет на лист и — ну пошла по листу ржавость и паскудство. Так и слова докторовы о любовной вши пали Ивану на душу. Едят душу, паскудят. Хочется Ивану вшу эту любовную доитить, доглядеть. А она — невидимая. И почал Иван Копчиков ржаветь, что лист от дурной росы. Конопатый стал — яко росный огурец. Вся его миловидность — вроде картинки на солнце выцвела.

Вспомнил Иван курган любимый. Опять на него переселился. Просидел под небом, как под крышей, все лето — хвать за голову, а на голове воловья, что твоя сторновка. Сухие и ломаются.

— Чудасия!

Глядь-поглядь: во все стороны черно, как в трубе от сажи. Степь черная, как кошка. Не заметил Иван Копчиков, как солнце засушливое обглодало дочиста землю. Оно-то и волосья его в сено превратило.

Сразу тут забыл Иван о любовной вши. Всегда так: коли жрать нечего, не токмо о любовной, а и портошной вши забудешь!

Трижды сплюнул Иван в одно место. Нету слюны: в один миг в землю ушла.

Погрозил Иван кулачищем своим паучищу проклятому — огневому солнышку.

[5] Ньютон — великий ученый и мыслитель. Родился в Англии. *(Примечания автора)*

[6] Доктор говорит по-ученому, по-русски это значит — любовь.

— Я ж тебе, чертушка, подложу свинью. Боле тебе нами не властвовать. Доконаю, подчиню тебя нашей воле.

Глава десятая, где сверкуляющая небесная сила обретается Иваном и замордовывается в работу навеки

Потянулась опять тщедушная жизнь, как щи. Живешь-живешь, а жизнью все не налопаешься. Плохо без гниды любви, как без мяса обедать.

Пустынножительством стала земля, ибо свирепело и дулось жаром солнце, будто забеременело новым белым огнем неимоверной злобы.

А по полям только шершавый терпеливый жухляк трепыхался, да змеи в горячем песке клали длинные пропадающие страшные следы. Змея, она непохожа ни на одного зверя, она сама по себе, немая и жуткая тварь. Змея не любит ничего, — кроме солнца, песка, безлюдья. Как в печке, сгорели посевы и с ними — жизнь. Тела мужиков обтощали — и не только вшам любви, но и худощавым плоскушкам еды не хватало.

Ни тучки, ни облака, ни ветра. Один белый огонь цельный день, а по ночам медленно-текучие оглядывающиеся звезды.

Тишина во всем мире, потому что подступала смерть. Иван переменился. Высокий стал сухощавый парень, с терпеливыми стоячими глазами. Пушиться стало лицо и полосоваться бичами дум.

И вот уже в августе месяце трое суток то наступала, то отступала и дробилась зноем тяжкая туча. Разнесло ее во все небо.

— Не к добру, — говорили старики, — из такой не вода, камни полетят.

Вышел в поле Иван и ждал. Ни души. Птица, зверь и всякое насекомое исчезло и утаилось.

Насела туча, темнее подземных недр. Но ни капли, ни звука из нее. Ждал до вечера Иван — не шелохнется туча. И только в полдень осенила, ослепила небо и землю сплошная белая молния, зажгла Суржу и травы, и леса окрест. И ударил гром

такой, что люди попадали и завыли и звери прибежали из лесу к избам мужиков, а змеи торцом пошли в глубь нор и выпустили сразу весь яд свой.

И полетели сразу вслед за молнией на землю глыбы льда и сокрушили все живое и раздробили в куски мертвое.

Упал Иван шибче льдины в лог и уткнулся в пещеру, где рыли песок в более благопристойное время.

За ледобоем вдарил сверху ревущий, скрежещущий, рвущий в тряпки пустую землю водяной потоп.

И синее пламя молнией остановилось в небе, только содрогалось, как куски рассеченной хворостиной змеи.

И вода пошла из тучи сплошным твердым потопом — дышать нечем. Рвет и гнетет свистящий и секущий все на свете ливень.

И за каждым громовым ударом — новым свирепеющим вихрем несется вода, и, как стальным огромным сверлом, разворачивает землю до недр, и почву пускает в овраги бурыми волнами…

К вечеру стих мало-помалу водяной ураган. Вылез Иван наружу. Холодно стало. Внизу по оврагу еще неслась вода. А по откосу, где был в пещерке Иван, только толь и вывороченная разрушенная земля.

Выбрался Иван наверх, глянул. Не было ни Суржи, ни леса, ни полей. Чернели глыбы пораженной земли, и шипела вода по низинам.

Задумался Иван. Лед и ливень рухнули вниз, когда засияли молнии. До того туча шла мертвой.

И пошел Иван прямо к Власу Константинычу — волостному доктору, тому самому, который вошь любви обследовал.

Влас Константиныч любил книги. Жил без жены и существовал лишь для пытания природы.

Влас Константиныч любил всех суржинских. Пришел к нему Иван и говорит:

— Дождь от молнии пошел, а не от тучи.

— Как тебе сказать, — ответил доктор, — электричество связывает в воздухе пары воды в тучи, а когда бывает молния, то есть электрический разряд или рассеяние электричества — эта связка воды рвется, и вода сама собой падает на землю.

— А эти пары воды всегда есть в воздухе — и до дождя и когда жарко? — спросил Ваня.

— Всегда, дружок, и всюду, — сказал Влас Константиныч.

— А электричество самому сделать можно?

— Можно… — И доктор показал Ивану баночку на окне, из которой шла вонь.

— Дайте ее мне совсем, — попросил Иван.

— Что ж. Возьми. Это штука дешевая. А зачем она тебе?

— А так, поглядеть. Я принесу ее скоро.

— Ну-ну. Бери, бери.

Иван ушел к рыбакам на Дон. Ибо Суржу, и всю родню, все дома задолбил ливень. Он понял одно, что электричество собирает в воздухе влагу всякую и скручивает ее в тучи.

— А когда бывает засуха, значит, можно все ж таки наскрести влагу электричеством и обмочить ею корни.

Когда просохла после потопа земля, Иван стал добиваться, как сделать влагу электричеством.

Жил он в землянке у Еремея, старикам посвятевшего от одиночества и от природы, и ел подлещиков, голавлей, сомов и картошку.

Зной опять водворился. Все повысохло. Запылала и заныла земля.

На всякие штуки пробовал банку Иван — ничего не выходит. И только когда догадался он проволочку от винтика на баночке, где стояла черточка, расщепить на тонкие волосочки, и эти волосочки прикрепить к корням травы — тогда дело вышло. А другую проволоку, где на винтике стоял крестик, он протянул по длинному шесту вверх, а шест воткнул и поставил. Тогда трава, куда впустил Иван медные волоски, зазеленела и ожила, а кругом осталась одна мертвая гарь. Иван поковырял землю, добрался до корешков, пощупал — сыровато. Стало быть, помиримся теперь с солнцем.

Что ж такое электричество и отчего увлажняется от него корень?

Только через десять лет, в Америке, Иван постиг, что такое электричество и как построено и строится из него наш мир и вся вселенная.

Глава одиннадцатая, Бессмертная трудовая сила выпирает опять из могил и нищеты

Вдрызг, в чернозем, сбита и перемешана Суржа. Только кирпичи от печек остались да одна курица в нору какую-то каменную забилась и теперь отживела и ходит беспутная.

Ни единой живой души — льдины с неба покололи все мужиковские головы. Но через десять дней обнаружился еще Кондратий — мужик неработящий и бродяга. Бывал ранее на шахтах, а теперь жил при брате скотом.

— Я, — говорит, — буду управителем русской нации. И пахать тебе не буду.

И вот теперь он обнаружился — в печке просидел и вылез невредим. Поглядел-поглядел на курицу Кондратий.

— Что ты голову мне морочишь, скорбь на земле разводишь? Кабы б две хоть, а то одна, сука!

Поймал, защемил ее за шею и оторвал ей курью башку.

— Тварь натуральная, тебя и смерть не брала… — И переменился душой Кондратий.

— Брешешь, человека не закопаешь. Тыщи лет великие жили…

И стал жилище себе обделывать из разных кусков и оборок расшибленной Суржи.

Получилась некая хата.

Пришла одна суржинская девка из города. Вдарилась оземь.

— Родные мои матушки… Не хотели жить, мои милые. — И пошла и пошла. Подошел к ней Кондратий.

— Не вой, девка. Видишь, народонаселения никакого нету… Стало быть, я тебе буду супругом. И обнял ее в зачет будущего — для началу. Через некоторую продолжительность явился в Суржу с Дона и Иван Копчиков. Принялись они втроем за вторую хату.

Иван работал, как колдун, и построил сразу еще две хаты. У девки уже к зиме живот распух.

— Нация опять размножится, — говорил Кондратий.

— Надо другую нацию родить, — сказал Иван, — какой не было на свете. Старая нация не нужна.

Иван задумался о новой нации, которая выйдет из девкиного живота.

— Надо сделать новую Суржу — старая только людей томила и хлебом даже не кормила.

— Будет новая Суржа. — Так порешили Иван и Кондрат. Будет Суржа — без голода. Без болезней, без горестей, без драк.

— Мироносимое благолепие будет, — сказал Кондрат.

— Сделаем мы хозяйство по-новому, тогда вырастут у тебя другие дети сами собой, — проговорил с растяжкой Иван.

Глава двенадцатая, наводящая на размышления о том, что один в поле — не воин

Вот уж почти и вылакало солнце вчистую ручеек последний. Конец приходит, без воды не проживешь. А кругом во все стороны на сто верст голо и никого нет.

Кондрат, Иван и баба, две коровенки и волк — на земле, рассвирепевшее солнце — на небе. Кто кого? Ужли человекам так-таки не выдюжить?

Губы у Ивана — как с жару потрескавшаяся дорога: во рту — засуха другой день.

Деревянными палатами день и ночь лезут люди в глубь земли к мокрому ее сердцу. День и ночь, без передышки наперегонки со смертью.

Либо успеют люди — доскребутся полумертвыми до воды, либо — смерть успеет: придушит, как бабочку, их задыхающиеся сердца.

На пятую ночь Кондрат еле вылез из колодца, дополз на карачках до хаты, приказывает бабе, собиравшейся опростать живот:

— Брось родить, женщина: некогда родить теперя. Лезь в колодец, скребись к воде, пока не умрешь!

И женщина полезла.

И еще три дня и три ночи были люди кротами: руками, окровавленными вдрызг, грабастали землю. Только к утру четвертого дня уже умирающий Иван Копчиков почувствовал, что под рукой мокро. Сначала он думал, что это — кровь у него хлынула из горла, так же, как вчера хлынула она у Кондрата. Но кровь — горячая и соленая, а это — то, что под руками, — студеное и горьковатое чуточку.

— Кондратушка, вода, никак! — прохрипел Иван, жадно набивая рот сразу пожижевшей грязью.

Кондрат, как угорелый, подпрыгнул вверх и шлепнулся лицом в землю. Лицо уткнулось в холодную грязь… Потрескавшимися губами он начал высасывать из нее скудную влагу. Но влаги было слишком мало.

— Ло…па…той бы раз один ковырнуть, — еле выговорил Кондрат.

Но ни у кого из мужиков не было для этого силы. А баба совсем умирала — из нее лез новый человек. Неминучая смерть поджидала его. Он все-таки лез. И баба визжала, как убиваемая сука, и грызла зубами камушки.

Тогда Иван вспомнил солнце, которого из колодца не видно было. Вспомнил, что

солнце хохотать будет над ними — побежденными.

— Не-эт, брешешь, не сдамся! — дико заорал он и, собравшись с силами, налег на лопатку. Раз, другой, пятый.

И спасение пришло. Перед смертью — ухо человека слышит все. И вот услышал Иван, как засочилась в ямку тихая вода.

Тут шлепнулось к ним что-то мягкое сверху. Иван поднес это что-то к глазам. Это был — заяц. Волк принес зайца умиравшим друзьям. Волк спасал спасшего его Ивана.

Два дня люди пили горькую воду и жрали все, что им приносил волк. Силы снова пришли к ним, и люди вылезли наружу. Первое, что они увидели, — был сдыхавший от жажды волк. Иван, плача, привязал его на веревку и спустил в колодец:

— Отдышись, милачок!

Глава тринадцатая, в коей босота собирается Иваном в большевицкую нацию

— Народонаселения нету. Одним с солнцепеком нам не смордоваться… Баба моя народить нацию не управится. Надобно теперь сюды людвы понагнать… Хоть самую дырь на дырьве, было б в норме все — головы и руки… — Это Кондрат думу надумал.

А Иван давно догадался. Взял лыдку дохлой коровы у Кондрата, кликнул волка и пошел ходом.

Ден через пять пошли местности народонаселенные. Попадались по дороге уже попы, куры, травы, густолиственные дерева и прочие жители земли.

Попал Иван в деревню Меренячьевку. Идет по улице с волком. Тот собак шелушит до костей молчком.

Видит, сидит у колодца странник. Парень, видать, не особо пожилой, а разглодан голодом до души — одни глаза неистовые сверкают и ищут.

— Подходи сюда, горюн, — крикнул Иван.

— Ходи сам, если надобно, — прошершавил расколотыми истекающими губами парень. Иван подошел.

— Здорово.

— Здравствуешь.

— Што сидишь-то?

— А ты што за юзь? Хошь что говорить — балакай, не разводи зря скорбь.

— Со мной хозяйствовать пойдешь, аль нет?

— А куда иттить-то? Земля есть?

— Земли много. Ледобой людей выбил. Слыхал?

— Слыхивал. А скотина есть?

— Покуда волк один, а там видно будет.

— Оно и волк гож, ежели зверь толковый.

— А ты один?

— То-то и скорбь, что не один я. В логу — вон, видишь лозняк? — товарищи некоторые ждут… Деревню эту грабануть мы схотели… Похилить… Запомнил? Ну, помалкивай… Народ тут стерва… Хутора кругом, люди с коготьями. Запалим вот к ночи с того краю… И ты теперь не уйдешь — долбанем.

— А много у тебя народу-то? — спросил Иван.

— Людей двадцать будет.

— Откуда шли-то?

— С Кубани самой дороги крестили. Было, сдохли в отделку. Теперича на корм напали.

— Вот што, — проговорил Иван, — ты брось это. Волоки сюда всех людей. Поговорим в конец. Будя, с этого прожитку не наешься.

— Ты помалкивай, пока дых еще двоишь, а то стукну, в колодец чертометом загудишь.

— Ты не устрашай меня, я сам страшный. Я тебе дело говорю, а ты слова одни пущаешь. Пошли до людей до твоих.

Парень глянул на Ивана: губы — нитки, глаза сияют в черной кайме, телес нету — одна кость, такой сам атаманом был.

— Ну, идем, бабья страсть…

Вышли за деревню. Спустились в лога. Долго блуждали. Тонкой глоткой, длинно по-рысьи завизжал парень, аж у Ивана сердце отозвалось и заверещало.

Вышла из логов человечья хмурь и горесть. Один другого тощее и жиже. Но злоба и силушка есть еще.

Обсели Ивана они с парнем — вожаком.

Иван им так и так. Что это за жизнь, за тоска такая. Радость можно руками произвести, а вы людей шуровать задумали.

Солнце огромно, жар в нем есть, земли много, воду под землей раскопаем. Вот и будет жизнь. Мирно и богато заживем.

Долго разжевывали бродяги. Ругались и дрались, одному душу вышибли.

К вечеру сошлись с Иваном.

— Идем, волчий брат… Гляди только, если што — душа вон — и слезу не пустишь.

Между бродячими была одна девка. Глаза смородиновые и пугливые, как будто кто размахнулся над ними, волосья ливнем лили с головы на плечи.

Она молчала всю дорогу, молчала и когда дрались бродяги, и не взглянула на Ивана, молча со всеми и с ним пошла.

— Видал царицу, — сказал вожак Ивану, — с самого Каспия ведем и бережем, как невесту. Одно у нас имущество.

Глава четырнадцатая. 22 мужчины, 2 женщины и 1 волк

Было на Сурже 22 мужчины, 2 женщины и 1 волк. Кроме того, было еще 3 хаты и 1 мальчонка-сосунок, Кондратовой женой произведенный. Больше ничего. Иван Копчиков собрал в кучу всех:

— Вот чего, братцы, — объявляю я себя предводителем всей нашей нации. И которые мне не подчинятся, пусхай в лес уходят — волк дорогу укажет. Без предводителя галки и то не летают… Вдомек? Предводитель бродяг хмыкнул и нагнулся было за голышом, но волк заметил его движение и так лязгнул зубами перед самым носом бродяжьего предводителя, что тот шлепнулся назад и сказал Ивану:

— Волк твой, брат, — стерва: совладать с волком невозможно подтощавшему человеку, я же подчиняюсь. Действуй.

С этой поры Иван начал командовать.

Прежде всего, работая по 15 часов в сутки, 22 мужчины разрыли Суржу, вогнанную ледобоем в землю. От этого они получили достаточное количество предметов обихода: лопат, плугов и прочего, бабам — чугунов, рогачей и прочего. Нашли пять икон в серебряных ризах — богатея Сусликова. Сорвали серебро с них, досками растопили печку.

Затем артель до исступления рыла землю лопатами, пахала ее плугом (вместо лошади пять мужчин), засевала озимой пшеницею, рожью, которую собрала под Суржей и отсортировала по единому зернышку вся артель.

Покончив с озимью, Иван согнал артель в лес — на охоту. Силками, самодельными капканами, просто дубинками с помощью ретивого волка изо дня в день колушпатили люди разное звериное людство и птиц.

Однажды, возвращаясь на Суржу, люди увидели впереди какую-то барахтающуюся кучу. Опрометью побежали они к куче. То оказалось два волка: их и еще другой — молодой и сильный, Суржинский волк бил молодого волка, а тот, увидев людей, лег на спину и заплакал. Люди взяли его за шиворот, поднесли к своим глазам и долго его разглядывали, гладя по искусанным бокам. А когда опустили на землю и пошли своей дорогой, волк взвизгнул и побежал за ними.

Это дало Ивану мысль. Через месяц, к началу зимы Суржа имела уже двадцать два

волка под командой Горелого — первого суржинского волка.

Горелый сумел их смирить, а Иван Копчиков окончательно покорил их людям своими ласковыми поглаживающими по шерсти, взглядами своими властными. Люди сделали сани и сбрую.

Как только установился хороший зимний путь, Иван Копчиков запряг в сани двенадцать волков, уложил в них серебро с икон, сто сорок две шкуры лисиц и кое-какую дичь, посадил в задок Каспийскую невесту, молчаливую, сел сам на передок и свистнул. Горелый, запряженный позади всех волков, в ответ на этот свист лязгнул зубами так, что волки хватили в рысь.

Из города Иван привез на волках целую прорву хороших вещей: одежду всем зимнюю и обувь, ружей штук пять и зарядов, котлы какие-то с трубами. И много еще. А через сутки приехала на Суржу и Каспийская невеста — одна в санях, запряженных белой лошадкой. Она привезла какой-то огромный ящик. Не раскрывая его, поставили в хату, и больше Иван не приказал его трогать. Мужики наутро спросили:

— Котел зачем? Самогон гнать? Иван ухмыльнулся, приказал им взять топоры и другие плотницкие инструменты и валить в лес. Через три недели в лесу задымил маленький смолокуренный завод:

— К весне с деньгами будем, — сказал Иван, когда наполнилась пахучей смолой первая бочка.

Кроме смолокуренного, устроили лесопилку: лошадь вертела колесо, колесо бешено вертело круглую пилу, доски росли сотнями в день.

Люди были веселыми, пели песни и работали даже ночью.

Глава пятнадцатая, где мир оказался братом человеку-бродяге

Вот и весна. Сердце в Иване шумит, как ветер на пустой земле.

Шумит сердце и в Каспийской невесте. Бродит она и слушает свои мысли, которые родились от дрожи солнечных лучей в занебесном пространстве.

Глядит на нее Иван, как слушает сказку. Как бы опять вошь любови не завелась в разбухающем весеннем теле.

У Каспийской невесты было лунное тело — бледное, твердое и спокойное, как немое сияние полночной хлебной луны.

Бродяжья братия жила дружно — в одну душу. Действовала вместе, как одна рука.

Иван уже чуял наступление солнца. Его ревущая пламенная пасть уже уперлась в землю, чтобы через неделю в пожар превратить зеленую жизнь.

— Миру нет дела до людей, — подумал Иван, — зато нам есть дело до мира. Надо найти у мира голову и треснуть по ней чем-нибудь тяжким. Мыслью, к примеру, превращенной в машину.

Но думать не хватало хлеба. Времена уходили. Земля уже гудела в солнечном пожаре. Вскочил раз Иван ночью. В голове будто у него вспыхнуло сияние, и тоска потопила сердце. В жилах пошел зуд и горение задыхающейся силы. Разбудил всех Иван мигом.

— В лес! Ветрогон строить! Воду качать будем… Проса уже погорели. Подохнем с голоду. Опять на Каспий плыть придется, невест усматривать…

И вот большевицкая нация таскала бревна, пилила доски, сбивала и крепила башенную деревянную снасть.

Иван стоял молча, обдумывал и показывал — он был за инженера.

И росла против солнца деревянная башня под горячими руками одиноких во враждебном мире людей, спаянных вместе несчастьем и угрозой солнца.

А Каспийская невеста сидела на бугре возле и слушала солнце.

К вечеру Иван стал уже тесать тонкие доски и прилаживать их на скелеты крыльев-мотовил. Долго щурил глаза Иван, ладил и считал.

— Ветер должен работать косым ударом — тогда сила будет огромадная.

Ночью поели большевики волчатины и засопели во все отверзстые дыры в своих телах.

На другой день взялись за изготовку двух валов и большого деревянного штопора, который будет угнетать воду и гнать ее ввысь.

Невеста стояла молчком тут же и не глядела на работающих своих сожителей по земле.

Еще прошел день и еще два. Солнце громыхало и выедало землю. Усталый земной шар несся в огневом потопе и затихал в смерти.

И вот настал один день. Поднялись люди с полночи и ждали ветра.

После восхода солнца по небу поплыл азиатский накаленный песок — и ветряк взмахнул, заскрежетал и завертелся. Деревянный штопор шуршал в воде и гнал ее кверху. Вода выметывалась наверх, падала в лотки и бежала чистым потоком на огороды.

И на пепельной, смрадной стенающей земле зеленел и ликовал кусок живой земли — и подле него толпились живые, победившие, уморенные люди.

С Каспийской невестой творились великие дела.

Солнечная дрожь рожала в ее голове мысли, и эти мысли вели ее куда, она сама не знала. Она говорила не свои слова, а слова мыслей, которые сделало в ее голове солнце.

Она родилась в далекой стране, чистой и немой. В ней не было ни души, ни страсти, ни похоти, ни желаний.

Она была пустым и чистым кувшином — и туда лилась солнечная сила мира и делала ей и мысли, и душу, и слова. Она говорила чудные, но хорошие слова. Их и Иван не понимал.

Ходила Каспийская невеста, как зачарованная волшебница, и ее волшебная сила обволакивала всех, как тонкий воздух, как туманный свет и цветочная вонь.

И большевики переменились. Тяжелые большие головы их нагрузились думами и душевной нежной силой.

— Што тут такое? — думал Иван, — ничего не должно быть, окромя мыслей и машин. Какая тайная сила работает внутри невесты и делает ее такой нужной нам.

Иван не любил слова и не сказал, и не надумал даже, что пропади, сгинь невеста — он бы вдарился головой о камень и размозжил ее.

— Через нее мы слушаем мир, — говорил сам с собой Иван, — через нее можно со всем побрататься: быть заодно с солнцем и звездами, и не надо будет ни работы, ни злобы, ни борьбы. Будет везде, что видимо и невидимо, братство. Будет братство звезд, зверей, трав и человека…

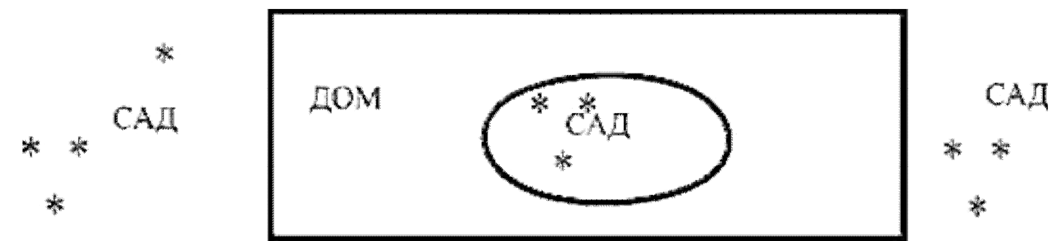
А Каспийская невеста жила и слушала песню солнца и звезд, и выговаривала ее невнятно, но чудодейственно.

— Я оберну ее к себе, — сказал Иван, — и, как машиной, ею размозжу мир… Вот первая сестра и миру всему и человеку в одно время. Я дознаюсь до ее силы и возобладаю ею сам. Тогда я дам миру тишину и думу… А теперь надо бежать с нею отсюда в города, где книги и мысли.

Глава шестнадцатая, в ней Суржа стала селением весьма привлекательным, а Иван с Каспийской невестой отправляются в великое странствие по всему белому свету

Затаил Иван думу глубоко: убегу на широкую землю в великие города.

А в Сурже достраивался уже один большой дом на всех людей. Строился он круглый, кольцом. А в середине сажался сад. И снаружи также кольцом обсаживался дом садом. Так что окна каждой отдельной обители-комнаты выходили в сады. Посмотреть если сверху, то весь дом был вот такой:



Внутри по всему дому шла длинная галерея и соединяла все комнаты.

Много хорошего было внутри дома. Над каждой комнатой на крыше был малый духогончик, который, не переставая, тянул вверх испорченный людьми воздух. И снизу из садов подгонялся благовонный богатый дух, тоже духогонами.

Когда в комнате никого не было, духогоны стояли. Как только входил туда человек и чуть грел воздух, духогоны начинали кружиться, и дурной воздух утекал вверх, а хороший подтекал из садов.

Отопление всего дома шло от одной печи. Горячий дух от печи шел в щели между стенами. Стены были устроены везде двойные — и вот в эти пустые места шел теплый дух, грел сначала стены, а потом и весь дом.

Дом так топился, что никто не замечал, где, как и что топится, откуда идет тепло. Ничего не было видно. А теплота шла равномерно и грела стенами чистый садовый воздух.

Иван, еще перед стройкой дома, велел смачивать все доски, бревна, оболонки и тес особой жидкостью, которую он добыл из особой травы, перегоняя ее в котле.

Доски, промоченные этой жидкостью, делались несгораемыми. Пожар, выходит, был не страшен большевицкому дому.

И дом, и отопление его, и эту жидкость придумал Иван.

— Головешка у парня, — говорили остепенившиеся теперь бродяги, — Каспийскую невесту отдашь — и не додашь.

Суржи не было — был один чудодейственный дом. Для скота был построен такой же дом в стороне, только поменьше. Там тоже были и духогоны, и сады, отопление. Скот держался в такой же великой чистоте и здоровье, как и люди. Потому и скот был ласков, умен и работящ, как люди.

Иван уже подумывал, как бы и лошадей и коров приравнять во всем к людям, поселить в одном доме — и делать всем вместе одну жизнь — ласковую, простую, счастливую и глубокую.

Но до поры отложили это. Бродяги не пожелали.

— Лошадь, — говорили они, — существо с рассудком и телом благонравное, коровы и волы еще ничего себе, вот козлы — чертячьи бельма, вонючи звери…

— Ну, обождем пока. Я дом еще лучше сделаю, тогда всем вместе можно селиться. Более зверей и людей не будет — будут и близко друг к дружке телесами и душою. Зверь,

брат, тоже большевик, но молчит, потому что человек не велит.

Придет время вскоре, заговорят и звери, остепенятся и образумятся… Это дело человека. Он должен сделать людьми все, что дышит и движется. Ибо в кои-то веки он наложил на зверя гнет, а сам перестал быть зверем. Это потому, что еды мало было. Теперча еды хватит на всех, и зверя можно ослобонить и присоединить к человеку… Не дышали бродяги и слушали.

— Да, дело сурьезное…

Иван с раздутыми жилами на большой рубленой голове говорил, не помня себя. Глаза его пропали под черепом, обвелись черной каймой и сияли.

— Знатная голова человечья, настоящая душа, — говорили большевики. Каспийская невеста тоже слушала и грудь ее качалась, и глаза светились, как незнакомые

редкие цветы. Волосы разлились до пояса. И было хорошо всем и тревожно, — непохоже, что это земля, а будто приехали все на иную звезду и позабыли, откуда сами и что к чему. Ночью Иван лежал на сене и не спал.

В доме, где жил скот, жутко мычала и стонала всей своей двоящейся душой корова —

она рожала ребенка.

Иван слушал и думал.

К утру смолкла корова — опорожнилась.

И Иван, успокоенный от дум, заснул.

Днем, когда проснулся Иван, никого в доме не было. Уехали картошку рыть.

Поглядел Иван на дом. Назовем наше поселение Невестой. Суржа — это хмурое семя. Осень, поздний дождь, голод.

И Иван написал мелом на стене: Невеста, устроен новой земной нацией большевиков. Поглядел Иван на все:

— Если бы ожили все думы, которые я вложил сюда, получился бы вихрь и водопад. Пришли к вечеру товарищи. Поели и заснули мертвыми. Обошел Иван все обители.

— Живите, братья, сами по себе. Теперь не сгинете… Пошел к Каспийской невесте. Она не спала.

— Пойдем со мною, — сказал Иван, — я не обижу, я покажу тебя всем. Вся земля очнулась, все люди готовятся к чему-то, чего и я не знаю.

Невеста встала и пошла с ним.

Они оставили дом и пошли полем — в темь, в ночь, в далекие, неслышные отсюда города.

Глава семнадцатая, где встречается странник по прозванию Мурликийский Чудотворец, а также чуется жженая вонь и видятся шина, намазанная липистричеством

Отощали Иван с Каспийской невестой. Оно и не хитро — пять дней прошло, полных скорого шествия, далеко уже лежит поселение во имя невесты — Суржа.

Уже всякая живность стала по дороге попадаться: лошади, мужики, велосипедисты — стало быть, город близок.

Вон завиднелись трубы некие и слышится чей-то ревущий и страшный голос, неумолкающий и невидимый.

И попадися навстречу Ивану и Невесте как бы странник. Вид — божий, но скулья жуют и ходят беспокойно, а глаз единый (другой вышелученный) мудр и печален.

И в руках нет у него бадика, а за спиной — сумки. Будто в гости идет человек. Там поест, помоется и отдохнет.

— Куда, дети, поспешаете? — вопросил он.

— В города, — ответил Иван. — А ты куда?

— Я-то? Особо никуда не поспешаю… Сказано было — не ведаешь, где сыщешь, а где утеряешь. Чего же поспешать? Я сыщу, может, там вон, а может здесь. Ходи свободно, а хочешь — сиди. Все едино.

— Чем-то эт завоняло? — спросил Иван. Странник уставился в небо.

— Ет-то? Ет радий несется. Беспременно он.

Ноздри его потемнели и потянули дух в две раздвинутые дыры, полные козявок и невысморканных ночных соплей.

— Жжет дух и несется.

— Какой радий? — спросил Иван, замерев от непонятного.

— Машина такая. Слова горелые, горькие по воздуху пущает.

— Давай послухаем!

— Ей орудует неслышимо — я опухал уж несколько разов. Одна гарь чуется. Аж в глаза лезет вонь жженая… Чуешь?

— Да, — ответил Иван, — будто бы она.

— А это штой-то? Штой-то такое? — Иван крикнул от испуга и показал на человека, похожего на хряка, не спеша ползшего на велосипеде, еле влача вперед свои обвисшие потные, телеса.

— Эт лисапетка, сынок. Штука немаловажная, в городе их много, — так ответил Ивану Мурликийский Чудотворец (так, оказывается, именовали странника).

— А отчего она едет сама?

— Хто? Лисапетка-то? Шины у ней липистричеством намазаны.

Чем ближе к городу, тем громче чей-то каменный глухой голос все пел и напевал одну и ту же густую ровную песнь.

Вошли в город. Дома на краю стоят не особо велики. Мурликийский Чудотворец на время отстал от Ивана и Невесты.

— Вы валите напрямик, а я вправо заберу. Все одно никто не знает, где сыщешь что, а где утеряешь.

Попался один дом. На нем железо висит, а на железе буквы нарисованы. Иван разобрал их каждую в отдельности.

Мадам Тотошкина	Маникур Педикур
Кохты для какеток	И все для блажных

Иван ошалевал. Чудно все и страшно, потому что непонятно. В открытое окно, под вывеской через подоконник сплевывал сапожник, говоря сам себе разные слова по порядку:

— Сучество, скотоложество, супремат, смологонь, иллюминация, квась квасцы, не мусоль пальцы, сусаль золото. Сучество, супремат. Васька, будь умен!

Иван с Невестой послушали и пошли дальше.

Глава осьмнадцатая, не особо существенная, но и она пригодится

— Мне пить охота, — сказала Невеста, что с Каспия. — Итти больше мочи нету…

— А меня бекасырики грызуть. Надобно в хату зайти какую. Ты попьешь, а я бекасыриков в рубахе полушшу.

Постучали в первую дверь. Вышла старенькая бабушка.

— Вы што ж стучите так? Потихоньку надо…

— Мы нечайно, — сказал Иван.

— Ну, идите, штоль. Не к стоянью[7] пришли.

Иван с Невестой прошли сенцы, чулан какой-то и вошли в большую комнату. На полу кругом спали люди сладко и вдосталь, будто они реки рыли и уморились.

— Чего они? — спросил бабушку Иван.

— А устамши позаснули.

— А отчего они уморились?

— Отчего-отчего? Тебе-то што? Наладил!..

Иван с Невестой взяли со стола корчажку с водой и попили водицы. Спящие похрапывали и во сне жевали мух. Ивана сразу усталь великая взяла.

Он оглядел комнату. Над дверью, которая вела, должно быть, в другую комнату, висела досточка, и на ней Иван насилу прочел:

Опытно-Исследовательский институт по индивидуальной Антропотехнике.

Тут Иван зевнул, взял за руку Невесту, прилег на лавку и сразу заснул без памяти и без дыхания.

Глава девятнадцатая. Мастерская прочной плоти

[7] Есть такое всенощное бдение, когда читается 12-ть евангелиев, а старые бабушки в кацавеечках стоят.

Минула некоторая длительность времени — очнулся Иван. Комната — и он один в ней. Свежий вечерний сумрак в двух больших окнах. Кротость и немость, как в Сурже.

Вошел человек. Сухой, напряженный и злой. Весь — беспокойный, внимательный и трудный, как будто он тяжесть невидимую нес и неслышно хрипел от натуги.

— Ты кто? — спросил Иван. — А Невеста где?

— Я — Прочный Человек, — просто и достойно ответил вошедший. — Пришел тебе объяснить существо некоторых обстоятельств.

Он сел на лавку против кровати и начал высекать слова, необходимые, как сложение, вычитание, помножение, деление.

— Я сидел наверху в комнате из кирпича. Ты шел с девкой: длинные волоса, прочное целомудренное тело. Я думал, а ты и девка перебили мне струю мысли. Я решил вас взять для испытания. А вы сами постучали. И я сказал вниз, чтобы дали порцию малого ремонта, то есть сорокачасовой сон.

Прочный Человек остановился и нахмурился. Видно, много горести и грехов несла его усталая плешивая голова. Иван молчал и ужасался городу, где такие страшные и удивительные люди. И было ему жутко и радостно, как на высоком дереве.

Прочный Человек вытер гноившиеся глаза и заговорил опять.

— Ты мне показался человеком прочным и способным к сопротивлению и бою с миром. Но ты свободен. Можешь вскочить и улететь к чертям. Хочешь — поживи, попробуй. Не хочешь — пропадай, мне падаль не нужна. Сейчас все человечество — падаль.

Прочный Человек в гневе и неистовстве двинул кулаком по лавке, встал и ушел. Потом сейчас же вернулся, бросил книжку Ивану и скрылся окончательно. Иван полистал книжку и начал читать.

О постройке нового человека

Всякая цивилизация, то есть материальное устройство жизни человеческого общества, иначе говоря — организация материи[8] в виде машин, прирученного скота, разведение полезных растений, разумное распределение между людьми хлеба, одежды, жилищ, предоставление возможности каждому расти и развивать свои таланты и все прочее — всякая цивилизация есть последствие целомудрия, хотя бы и неполного. Целомудрие же есть сохранение человеком той внутренней могучей телесной силы, которая идет на производство потомства, обращение этой силы на труд, на изобретение, на создание в человеке способности улучшать то, что есть, или строить то, чего не было.

Цивилизация есть целомудрие. Она есть нищета по отношению к женщине, но тяжкий груз мысли и звездоносная жажда работать и изобретать то, чего не было и не может в природе быть.

Свирепости природы, ее крушения, засухи, потопы, нашествия микробов, невидимые влияния электросферы[9] — приучили человека к работе, бою, передвижениям по поверхности земли и войнам между собою.

Когда кончались войны и слабела борьба с землею за пищу, то человек возвращался в дом к женщине, но уже он был не тем, каким ушел. Он делается более целомудренным и хотьи живет с женой, но меньше спит с ней, и глубже пашет. Прочнее и выше строит дома, чаще задумывается, острее видит, искуснее изобретает и приспосабливает свои орудия и свой скот к работе.

Но все цивилизации земного шара сделаны людьми только немножко целомудренными.

Теперь наступило время совершенно целомудренного человека, и он создаст великую цивилизацию, он обретает землю и все остальные звезды, он соединит с

[8] Материя — все, что существует: железо, дерево, ткань, уголь и пр.

[9] Электросфера — область, где действует электричество, электромагнитные волны. Скоро мы увидим, что электросфера есть вся Вселенная.

собой и сделает человеком все видимое и невидимое, он, наконец, время, вечность превратит в силу и переживет и землю, и само время.

Для этого — для прививки человеку целомудрия и развития, отмычки в нем таланта изобретения — я основал науку Антропотехнику[10].

Основатели новой цивилизации, работники Коммунизма, борцы с капитализмом и со стихиями Вселенной, объединяйтесь вместе и перед борьбой, перед зноем великой страды — испейте из живого родника вечной силы и юности — целомудрия. Иначе вы не победите.

Силою целомудрия перестройте и усильте сначала себя, чтобы перестроить затем мир.

Иван читал и читал. Сердце его шевелилось, и сам он шел странником по городам, по странам, по заросшим садами звездам, по томительным смертным пустыням.

Над городом, над полями, над Суржей, над всею преющей землею шла немая бездыханная ночь, как было спокон веков.

Глава двадцатая, где Иван с Каспийской невестой оглядывают мастерскую Бессмертной Плоти и видят как электричество победило смерть

Утром Иван узнал от старушки, которая его сонной водой опоила, что Прочный Человек есть ученый, умом тронутый, а кормит ее хорошо и обращением ласков. Дом этот стоит на краю города. Заманывает сюда ученый разных больных и здоровых и лечит их всех одинаково. И хоть рассудком он сам человек негодящий, больных делает людьми гожими. Это уж что и говорить.

— Так что не пужайся, — сказала бабушка под конец, — дурного он тебе не сделает. Уж што-што, а человек он сердцем милостивый. Уж пожаловаться не могу. Доброхотный человек, что и говорить, батюшка ты мой… Так-то!

Каспийская невеста соскучилась и сама нашла Ивана.

— Уйдем отсюдова, — сказала невеста, — страховито тут. Пойдем домой — в Суржу. Скушно мне…

— Обожди маленько… Ученый ихний на нашего Кондрата похож. Доглядим — и пойдем. Беда не велика…

Они вышли в сад. Чаща, глушь, смрадовые цветы, голубые травы росли в нем. Только сели на землю, глядь: Прочный Человек идет и бормочет сам с собой. Подошел.

— Ага, вы тут обитаете. Пойдемте, я вам мастерскую свою покажу. Потом будем кушать…

Пошли неспеша втроем.

— Вот чего, — сказал Прочный Человек, — у меня тут две мастерские — одна Прочной Плоти, а другая Бессмертной. Прочная Плоть в человеке делается целомудрием, освобожденная же половая сила превращается в таком человеке в талант изобретений.

Только и всего. Это — мастерская маленькая, только подготовительная… А бессмертная плоть уже делается из прочной целомудренной плоти посредством электричества. Вот я вам сейчас покажу, а потом расскажу…

Они вошли в дом. Пошли по длинному коридору. Всюду росли деревья и цветы в бочонках, всюду было тихо, двери во все комнаты были заперты, и только слышался некий зуд и упорный ровный звон.

— Это штой-та ноет? — спросил Иван у ученого.

— Это электромагнитные волны фильтруют, обеззараживают воздух, — ответил ученый, — бессмертные сейчас едят вон в той крайней комнате.

— А отчего они бессмертные? — спросил Иван. — Как же ты сделал? Как же они не умирают?

[10] Значит, искусство строить человека. Антропос по-гречески — значит человек.

— А вот увидишь.

Вошли они в помещение, где ели бессмертные. Сидели пять человек — три мужика и две бабы — и ели ложками черную кашу с коровьим маслом. Одеты были в синие балахоны, сидели и чавкали.

— У! — сказал Иван.

— Дурак ты, — ответил Прочный Человек, — суть не в обличий. Они бессмертны и здоровы и терпеливы, как верблюды… Пища, которой они насыщаются сейчас, и воздух, которым они дышат, не содержит ни одного болезнетворного микроба[11]. Все это обезврежено электромагнитными полями разной частоты волн во времени и разной длины их в пространстве. Понял?

Поевши, бессмертные встали, порычали, погалдели и пошли в большую комнату, что была по-соседству, со стеклянным потолком, резиновым нешуршащим полом и низкими медными красными стенами. Это была механическая мастерская, где бессмертные работали над починкой и сборкой машин ученого. Вся мастерская была уставлена большими станками и точными, тонкими, волосяными неизвестными приборами.

Бессмертные принялись за работу, как звери за жратву. Станки загудели, освирепели, шкивы и маховики готовы были подлететь от скорости, а один маленький станок визжал, блевал пламенем, плясал на фундаменте, корчился от натужения — только что не говорил, но грыз и грыз металл нового прочнейшего сплава и формовал его, как нужно было человеку. А приводной ремень гнал и гнал станок, и нахлестывал, неумолимо и уверенно: вытерпишь, сделаешь, не взбесишься.

Прочно, навечно, втугачку пригоняли и заковывали части механизма одна к другой бессмертные дюжие люди. Сами по себе судили.

И вдруг Иван почуял, как на кожу его сели как бы четыре тысячи мух.

— Я дал комплекс[12] электромагнитных полей сюда, — сказал доктор, — это у тебя с непривычки. Ничего, ты обтерпишься…

— А лихо берут, мать честная, — сказал Иван, — не начешешься… Невесту тоже корежило. Тело у нее нежное, знамо дело.

— И так все время, всю жизнь в сплошной электросфере живут эти люди, и оттого их смерть не берет, — говорил Ивану ученый.

— Как так — смерть не берет? Отчего? — спросил Иван.

— Да оттого, что усталость, злоба, горе, болезнь, сон, смерть и все, мешающее жить, бывает от особых на каждый случай микробов, которые мигом заводятся в теле и пожирают его. Тело человека яростно борется с этими микробами и разводит в себе против них особых полезных микробов. Но потом все-таки смертные микробы побеждают этих полезных, и человек падает и умирает. Я взял обдумал и подобрал такие электромагнитные волны, каждая из которых убивает какой-нибудь один вид, один род болезнетворных микробов. Одна волна убивает тифозных микробов, другая — тех, от которых бывает усталость, третья — тех, которые поражают сердце и мозг, четвертая — тех, которые заводятся в кишках от гниения остатков пищи, и так далее.

Все мастера смерти — микробы уничтожаются, когда я пускаю пук, комплекс волн, каждая из которых убивает целый ряд вшей, делающих смерть. Смерть тогда некому делать, выходит дело, и человек не умирает никогда.

А та сила, которая боролась раньше внутри человека с микробами — смертоубийцами, та сила освобождается, и человек цветет неимоверной мощью тела, великой мыслью. Для восстановления же тела, потраченного в работе, нужно хлеба чуть-чуть.

Жизнь в среде сплошной электросферы, поражающей насмерть все виды смертоносных и болезнетворных микробов в теле человека, — вот что такое бессмертие. Ты все понял?

[11] Микроб — такая невидимая вошь, которая разрушает постепенно тело человека и доводит его до смерти.

[12] Комплекс — значит сумма, сложение в комок разных электромагнитных полей — в этом случае.

— А отчего электричество убивает этих вшей? Электричество — это што такое?

— Этого я не знаю и от этого мучаюсь, — ответил ученый.

— Я уйду, подумаю, похожу, разузнаю, и тогда приду к тебе скажу. Ладно?

— Ладно, — сказал ученый, Прочный Человек, — но ты придешь не скоро. Электричество — это суть нашей Вселенной… Я забыл еще тебе сказать, что бессмертные у меня никогда не спят, а один живет уже десять лет, а пришел ко мне умирающим усталым дедом.

Вышли из дома ученого Иван с Каспийской невестой уже под вечер. Электричество начало мучить Ивана. У него всякая мысль, всякая тайна переходили в чувство и становились горем и тревогой сердца.

Глава двадцать первая, о суете несущественной

Город. Што он такое?

Шли-шли люди, великие тыщи, шли по немаловажному делу, уморились, стали на горе — реки текут тихие, вечереет в степи, опустились на землю люди, положили сумки и позаснули, как сурки…

Поднялись и забыли, куда шли, сном изошла тревога, которая вела их по дорогам земли.

Встали, как родились — ничего никому неведомо.

И силу телес люди направили в тщету своего ублаготворения.

Животами оправились и размножились, как моль.

Шел Иван с Каспийской невестой по улице и думал о городах больших и малых.

Играла музыка в высоком доме. Остановился Иван и сердце в нем остановилось. Кто это так плачет и тоскует там так хорошо? У кого голос такой? Если звезды заговорят, то у них только будут такие слова.

Песнь — это теснота душ.

А такой песни Иван еще не слыхал. И ему захотелось сделать такое, чего никогда не было. Самому пропеть такую песнь, чтобы люди побросали все дела свои, всех жен своих и все имущество и сбежались слушать, и так заслушались бы, что есть-пить, размножаться и драться позабывали бы.

Постояли-постояли Иван с Невестой и пошли дальше. Потемнело уже. Огни по улицам зажглись и свет их не давал копоти.

Люди толклись кругом, гнала их вперед и назад некая могучая сила.

Повозки неслись по мостовой, а один толстый большой человек сидел на корточках у дома, где должен быть завалинок, и ел землянику-ягоду и крякал и чмокал от ублаготворения.

Иван постучал в дверь соседнего не очень большого и не благовидного дома. Отворила женщина, молодая и благоухающая травами.

— Вы что, дорогие мои?

— Переночевать можно?

— Переночевать?.. Вам негде ночевать? Я не знаю… Вот папа скоро придет… Вы подождите. Входите сюда.

Иван с Невестой вошли. Сели на мягкую скамейку. Кругом — мебель и неизвестные вещи, которые не нужны человеку.

Женщина оказалась девушкой и села читать книжку. Иван спросил ее:

— Ты што читаешь?

— Стихотворения Лермонтова. Вы их читали?

— Нет, — ответил Иван. — Дай-ка я погляжу. Иван полистал и прочел:

В небе ходят без следа
Облаков неуловимых волокнистые стада.

Иван встал на ноги и начал читать. Потом сел, поглядел на всех заплаканными глазами и отдал книжку.

Пришел отец этой девушки. Похож на мужика и в сапогах.

— Эт што за Жлоборатория? Вам чего?

— Нам на ночевку, — сказал Иван.

— На ночевку вам? Што тут, ночлежный дом, штоль? Откуда сами?..

— Суржинские мы. Подошла к отцу сама барышня.

— Пускай, пап, остаются. Они хорошие.

— А если што пропадет, ты отвечать будешь? Дыня-голова, обалдела, штоль? Вшей тут плодить?..

Наконец-таки отец умилостивился.

— Ну пущай в передней ляжут и глаза мне не мозолят.

Ночь нашла тучей. Тихо и беспросветно. Иван с Каспийской невестой лежали рядом на попенке. Невеста спала. Иван дремал. И тихо из комнаты забубнил голос хозяина, как будто закапала вода.

Иван прислушался. Отец девушки читал. Тикали часы и капали слова.

«О земле и о душах тварей, населяющих ее»
Сочинение Иоганна Пупкова

«Ты жил, жрал, жадствовал и был скудоумен. Взял жену и истек плотью. Рожден был ребенок, светел и наг, как травинка в лихую осень. Ветер трепетал по земле, червь полз в почве, холод скрежетал и день кратчал.

Ребенок твой рос и исполнялся мразью и тщетой зверствующего мира. А ты благосклонен был к нему и стихал душою у глаз его. Злобствующая зверья и охальничья душа твоя утихомиривалась, и окаянство твое гибло.

И вырос и возмужал ребенок. Стал человек, падкий до сладостей, отвращающий взоры от Великого и невозможного, взыскуя которых, только и подобает истощиться всякой чистой и истинной человеческой душе. Но ребенок стал мужем, ушел к женщине и излучил в нее всю душевную звездообразующую силу. Стал злобен, мудр мудростью всех жрущих и множащихся, и так погиб навеки для ожидавших его вышних звезд. Они стали томиться по другому. Но другой был хуже и еще тощее душою — не родился совсем.

И ты, как звезда, томился о ребенке и ожидал от него чуда и исполнения того, что погибло в тебе в юности от прикосновения к женщине.

Ты стал древним от годов и от засыпающей смертью плоти. Ты опять один и пуст надеждами, как перед нарождением в мир сей натуральный».

Часы вдруг перестали тикать, и Иван заснул до утра напролет.

Глава двадцать вторая, в коей Иван знакомится с разным лядащим людом

Солнце в городе — пасмурное, слеповатое и вроде с насморком — золотым песком лучей не шваркает оно из утра по окнам: застревают лучи в плотных тучах гари и копоти.

А шлепает изредка солнце грязные и лысые пятерики об камень, об крыши. И пятерики эти тусклы и не так ласковы. Они утром не разбудили Ивана, не разбудили и Каспийской невесты.

Разбудило их другое — хихиканье и сюсюканье за дверью из коридора. Иван прислушался. Разговоры за дверью:

— Хи, хи, хи, а бабеночка-то у него — хи хи! — хорошенькая, мяконькая да сдобненькая…

— А грудка-то, папенька, грудка-то у нее, как две просфорочки… Ах, ах, ах!

— Пшел вон, чертенок, дай-ка я загляну разок!

— Загляни, папенька! Иван вслух подумал:

— Ишь, черти, какие похабные люди оказались, а? Отец и сынок. И быстро вскочил он, толкнул дверь пинком. Раздался стон и ох:

— О-о-о-х, ч-черт!

Папенька гладил рукою лоб, на лбу вздувалась красная шишка.

— Ах, ты старый развратник! — захохотал на него Иван. — В щелочку подглядывал? Все у вас в городе такие, ай ты один?

— Все, дяденька, — ответил за отца сынок, оказавшийся верзилой лет 17–19.

— Что же вы, городские люди, в бабе одну бабу видите? Человека в ей нету, по-вашему?

— А что ж? Баба — существо дешевое, разумом тощая…

Иван поглядел на невесту — стоит, не ответит. Богатая душа, немое гордое сердце. Вышел Иван с ней на улицу.

Осеннее солнце нагнетало силу в землю — и земля шевелилась, и шевелилось все, что живет на коже у ней: селения и города всякие.

Человек, как арбуз, — ночью растет, а днем споет. Ночью из тела вся усталь выкипает и из живота втекает в мозг и в сердце питательная сила, бывшая хлебом, полем и солнцем.

Шли-шли Иван с Каспийской невестой. Есть охота взяла — сели на каменные порожки, чтоб животы не растрясать зря.

Подошел к ним человек. Высокий, худой и сумрачный весь… Стал против невесты и говорит, как бы сам себе:

— Вот что, дорогие жизни. То, что делает жизнь и привязывает меня к ней… Женщина, я гляжу на тебя и не требую больше смысла жизни и не ищу истины. Я доволен… Благодарю тебя… Будь здорова и бессмертна.

И человек этот поклонился низко и пошел далее своей дорогой. Иван помозговал некоторое время и догнал этого человека.

— Ей, есть охота. Человек остановился.

— А ты кто ей?

— Брат.

Человек вынул из кармана кой-какие бумажные средства, снял перстенек с мизинца и ссыпал все это в горсть Ивану.

— Возьми, брат, я едой и охотой за деньгами не занимаюсь… Ничего более нету. Всуе мятется всяк земнородный…

Иван пошел к Каспийской невесте. Гляди, и тот воротился к нему.

— И тля зрит и мудрует, — не только человек — царь праха. Поэтому беритесь и питайтесь. Но не множтесь — довольно даже одного человека на земле. К чему миллиарды их? И пойдемте со мной. А то тебя (он на невесту поглядел) украдут тут…

— Кто ее украдет? — спросил Иван.

— Человек жить не может — он боится своей души и спускает ее в женщину. Если прекрасна женщина — душа в нее уйдет сразу вся. Только раз надо совокупиться с нею — и душа утечет с семенем вся.

Иван слушал и не понимал.

— Пойдем со мной, — сказал этот человек ему, — я тебе расскажу про все. Больше меня никто не знает.

И они пошли по улицам, мимо людей, не замечая бешенства мятущихся во имя истребления самих себя.

Люди работали, чтобы иметь над головой крышу, на теле одежду, в животе хлеб — и чтобы по ночам спускать все, накопленное за день, жидким прахом в недрах женщины, отправляя ее — чтобы иссушить в ней почву, из которой расплодится спасающее безумие.

Глава двадцать третья, В электромагнитном океане

Немость Вселенной была нарушена электричеством —

тончайшим и легчайшим газом, пылью пылинок, который скучился, смерзся в вещи и родил все остальное.

Инженер Баклажанов

Привел Ивана с Каспийской невестой сумрачный человек в тихий длинный одноэтажный дом.

— Тут я обитаю…

Вошли туда. Большие прохладные комнаты, и полны они низкими прочными столами, а на столах посуда и медные механизмы.

— Сам я электротехник. Занимаюсь вот исследованиями над сутью электричества. Иван вскинулся. Он вспомнил, как сам электричеством увлажнял траву и, как ученый,

делал им бессмертных людей.

— Ты, значит, знаешь, что такое электричество? — спросил он.

— Да, теперь знаю.

— Расскажи мне, как и что…

И инженер начал рассказывать — просто, для простого человека, жарко и внушающе, потому что знание у него становилось сердечным чувством.

— Есть много наук, а не одна. И есть много людей, которые говорят, что они ученые. Но это неправда — знающих людей на свете очень мало. Знанием люди торгуют, как товаром. И таких больше всего. Раньше люди угнетали один другого собственностью, имуществом, а теперь знаниями. Знание стало имуществом и товаром, кто его имеет, тот и торгует им и живет богато.

Но такие не все. Есть ученые, которые наращивают свои знания, а не торгуют ими. Кто не познает дальше, чем его выучили, тот темнее того, кто и читать не умеет…

Я ненавижу мир, где живет бессмертный человек-поработитель. У него отняли револьвер и фабрику, тогда он начинает угнетать чужою высокой мыслью, строящей вещи. А эту мысль и великие экономные способы работы он сам купил юношей на деньги отца-рабовладельца. Я ненавижу таких и борюсь с ними насмерть и одолею их, конечно.

Инженер улыбнулся измученным сухим лицом и закурил папироску.

— Я хотел еще рассказать тебе про электричество. Электричество — очень простая вещь, поэтому-то про него трудно рассказать, ибо слова сотворены человеком для хитрости и обмана другого, для сложных вещей, а не простых.

Железо, почва, трава, люди, глина и все другое состоит из особых мелких невидимых зернышек, которые по-ученому называются атомами, то есть неделимыми частями. Кучи атомов и есть вещи. Эти атомы движутся, а не стоят на месте. Если вещь никто не трогает и ничто на нее не влияет, то атомы идут плавно один вокруг другого. Но этого не бывает, солнце и люди постоянно тревожат вещи, не дают им покоя, атомы сбиваются с плавных путей, ударяются друг о друга, копятся, трутся по поверхности — и от них летит пыль. Сам атом меньше в миллионы раз любой песчинки, но и от себя он еще испускает пыль, когда извне нарушается его путь. Эта атомная пыль легче света и летит с ужасающей быстротой во все стороны. Она не знает остановки, она проникает через все тела, она меньше всего, что есть. Атомная пыль и есть электричество.

Я думаю, тебе это понятно?

Иван замер и слушал. Он ничего не видел и не слышал, кроме крутящихся атомов, грохота их столкновения и шума бури их пыли.

— Свет есть тоже эта пыль — электричество. Значит, от атомов отделяется пыль, и они меняют сами, потому что превращаются в свою пыль. И будут менять до тех пор, пока не пропадут совсем. И пыль их пронесется неимоверные, неисчислимые пространства и пути, так велик был удар атом об атом по сравнению с величиной отколовшейся пылинки. Пыль эта вынесется дальше самых крайних звезд, дальше млечного пути — и там, за последними границами, ослабеет, замедлит полет, к ней подлетит, ее нагонит следующая волна атомной пыли — образуется сгущение, сплочение пыли — и народится опять из склеившихся пылинок атом, а из атомов материя, вещь. Это вещество станет звездой, планетой на небе и

опять в тот же миг начнет разрушаться и выделять электромагнитную полиатомную пыль, которая, исчезнув за чертами Вселенной, народит там звездные рои.

Такой идет круговорот во Вселенной. Из электричества нарождается вещество и от электричества оно умирает, чтобы опять через миг воскреснуть и зацвести другим огнем. Но по сравнению с этой атомной пылью, с этим электромагнитным океаном, вещества очень мало, оно плавает редчайшими островами в пучинах электросферы. Вселенная, это электросфера…

У Ивана полным ходом шла голова, для мозга еле хватало крови из сердца.

Слово есть двигатель мысли.

Глава двацать четвертая, Звездные руки

Мы рассказываем о тех, кто делает будущее, о тех, кто томится сейчас тяжестью грузных мыслей, кто сам — весь будущее и устремление.

Таких мало, они затеряны. Таких, быть может, нет. Мы о них рассказываем, а не о тех, кто гасит жизнь в себе страстью с женщиной и душу держит на нуле.

Авторы

Вполоборота повернулась вокруг себя земля — и стало утро, а был вечер. Проснулся инженер и начал говорить дальше.

— Если взять атом. Его нельзя приметить. И только великие миллиарды их, сплотившись, образуют вещь. Если же пыль трущихся и разрушающихся атомов взять, то ее не обнаружишь никакими приборами — будет одна пустота. Межзвездное пространство до сих пор не изучено. Про него говорят — эта пустота, эфир.

Это неправда — там неимоверно тонкий газ, легче в миллионы раз водорода, легчайшего из известных газов. И невообразимо деятельнее всех газов. Это — электромагнитная энергия, электросфера. Это — дым разрушающегося вещества.

Но пыль пылинке рознь. Они не все одинаковы. Как и атомы тоже неравны: есть больше, есть меньше.

Эти пылинки, налетая на вещество, могут дробиться пополам, натрое и на много долей. Эта раскрошенная пыль от столкновения с материей дает газ еще более тонкий, невесомый, не ощутимый ничем, чем электричество — первичная, так сказать, пыль самих атомов. Эта же вторичная пыль пыли есть магнитная энергия. Электрическая энергия и магнитная всегда вместе, потому что вихрь атомной первичной пыли и новые волны этого газа из недр вещества вызывает столкновение пылинок между собой и раскрошение их. Поэтому магнитная энергия оказывает тормозящее, задерживающее действие на электричество, ибо пылинка атома, дробясь, отнимает часть силы от всей волны…

Сегодня покидаю землю. Ни к чему я тут. Аппарат почти готов.

— Как же ты полетишь в пустоте? — спросил Иван. — Державы там нет никакой.

— Я поплыву, не полечу по электричеству. Электричество — газ легкий, но есть легчайший — магнитная энергия. Ею, пылью пылинок, я наполнил снаряд. Он легче и пустее, чем голубое межзвездное море. Там электромагнитные волны, у меня же в снаряде одна магнитная энергия. Я сделал как бы воздушный шар для полета с звезды на звезду. Его еле сдерживают сейчас стальные канаты, так он легок и стремителен. Пойдем — поглядишь…

Они вышли во двор, прошли садом на другой дворик, весь обнесенный кирпичной стеной с торцовой кладкой.

Стоял над землей и колебался в воздухе пузырь неправильной формы, вроде тыквы. Его держали десятка два стальных канатов из тонко свитых нитей.

— А куда ты залезешь? — спросил Иван.

— Там внутри есть малое место. Там и помещусь. Все едино, где ни быть. Счастье не в

пространстве мира… Хочешь поплывем со мной. Хотя мне никто не нужен. Делай сам для себя это. А твою подругу оставь здесь — пусть она не загораживает твоих очей от мира и не режет душу надвое. Она не пропадет. Такие, как газ, неуловимы и непобедимы.

— Ладно, — сказал Иван — залезь в пузырь. Харчи там есть?

— Харчи есть. Либо мастерские пойти запереть? Иль не вернемся, как думаешь?

— Не воротимся. Пускай отперты. Более не потребуется.

— Ну, полезем.

Они влезли через верх в темную колдыбаженку, скорчились там и завинтили вход на болты со многими прокладками между фланцами. Концы стальных канатов входили внутрь каютки, чтобы их можно было перепилить, не вылезая. И Иван принялся перепиливать их.

А Каспийская невеста еще спала в мастерских инженера; одна теперь останется на белом свете. Так и сгинет теперь без вести. Все на свете так — ничему не ведется учета. Кто родился, кто пропал. Человек не дорог еще и не нужен человеку.

Прощай, Невеста! Пусть сократятся твои дороги по земле и душа наполнится легчайшим газом радости. Не во время ты родилась. Для тебя время рождения никогда не придет. Ты из членов того человечества, которое не рождается, а остается за краями материнской утробы. Ты — тощее семя, которое не оплодотворяется и не разбухает человеком. Нечаянно твое гиблое начальное семечко слепилось с другим таким же обреченным семечком, и вылепился человек, который не бывает, а если бывает, то слепит глаза людям чудом — и погибает без вести, как ветер, уткнувшись в гору.

И Иван с инженером оторвались от земли и выплыли в вышние звездные страны.

В черноте и великой немости стояли звезды вокруг, как большие неморгающие очи, и плакали светом.

Иван оглядел все небо и нашел, что на нем все обыкновенно и особых чудес никаких нету.

Звездные руны плыли за магнитным пузырем. И качала электромагнитная пучина магнитный небесный корабль, а в нем два человека стремились найти новую обитель в пространстве, чтобы найти там неведомые мощные силы и ими изменить родину — землю.

— Мы плывем прямо на солнце, — сказал инженер. — Так и должно быть по моим расчетам. Ибо солнце есть магнитный полюс Вселенной, который и тянет наш снаряд. На солнце мы и обоснуемся с тобой.

Внизу, в глубине, на земле под ними ехал мужик Макар из Мармышей в Белые Горы.

— Н-но, ошметок, тяни, не удручай! Потягивай, не скучай! Ехал Макар пустыми ветряными полями и разговаривал:

— Мне нужен хлеб. А кто его даст? Намолотил, вон, три копны. Душа также надобна. Как ее изготовить, когда неведомо творение…

А люди живут, что?

Нет тебе никакого направления, либо што чего!.. Нет тебе нигде ни дьявола…

Глава двадцать пятая, полная всяческих неожиданностей

— Скушно мне, товарищ инженер, — сказал Иван Копчиков, — тошно без делав болтаться на воздусях!.. Сколько ж мы еще лететь будем, а? И может, мы не летим вовсе?

Инженер посмотрел на какую-то машинку и побледнел:

— Лететь-то мы летим, да только не туда, куда хотели.

— Как же это так, товарищ инженер, а? С рельсов сошла, что ли, ваша машина? Куда же мы теперь летим?

— Не знаю. Только не к солнцу. Посмотри туда.

Иван заглянул в окошечко. Сияющим подсолнечником осталось в боку солнце.

— Гляди туда!

Иван поглядел в другое оконце: красный шарик, как мячик, висел в воздухе:

— Это что?

— Наша земля. Мы летим прочь и от солнца, и от земли.

— Та-ак. Значит: совсем мы заблудились в небесах, товарищ инженер? Ловко. Этак мы до самой смерти никуда не долетим, а!

— Может быть.

— Вот это весело!

— Н-да-а…

А земля и солнце — совсем пропали: не видать их в окошечке. Стало совсем темно, по временам, будто светляки в лесу, вспыхивали по сторонам какие-то точечки…

— Это что же вспыхивает, а!

— Планеты. Земли разные.

— Здорово. Вот бы их рожью, пшеницей засеять, товарищ инженер, а? Большие они будут — эти самые земли? Поболе нашей-то?

— В несколько тысяч раз больше.

— Ого-то. Надо бы одну такую себе забрать, а?

— Придет время, когда сделаем и это.

— Придет?

— Обязательно.

— А сейчас мы где? Инженер зажег свет.

— Нас захватила какая-то планета и волокет за собой.

— Видел ли ты как за поездом летят соринки разные, легкие?

— Видел. Ну вот, такой соринкой, только в тысячи тысяч раз меньшей, летим и мы за планетой, как за поездом. Только наш поезд летит со скоростью в несколько тысяч верст в какие-нибудь миги.

— Вот-таки поезд, как гонит, а? Зацепить бы за него нашу землю, а и отволочь поближе к солнцу, чтоб везде зима перестала быть, а? Можно это?

— Можно. Но нескоро.

— Так. Ну, я пока закушу.

Но Иван не успел закусить. Прямо против него, в окошечке, вдруг засветилась голубым светом какая-то кругляшка.

— Товарищ инженер, голубая земля — в окне. Поглядите. А кругляшка уже с картуз величиной стала и с каждой секундой все росла и росла. Инженер аж зашатался:

— Ну, Иван, мы прилетели. Еще немного — и мы на голубой земле будем. Только я не знаю, что это за земля и есть ли там жизнь. Это — неизвестная совсем в науке звезда.

— А разве наука все звезды знает?

— Все.

— А эту не знает?

— Нет.

— Плохая ваша наука.

— Да, она еще не все знает.

А голубая звезда вдруг стала краснеть, краснеть и совсем, вот, покраснела. Бордовой стала и закрыла все окно.

— Есть. Сейчас на земле будем. Слышишь?

— Слышу, товарищ инженер. Будто птицы поют где-то.

— Это — не птицы. Это — что-то другое.

— А что?

— Не знаю. Увидим. Ну, теперь давай вылазить.

— Как вылазить? Да, разве ж мы прилетели?

— Уже!

Инженер начал отвинчивать дверцу.

Глава двадцать шестая. Стал быть мрак

Грунт был тверд на этой звезде. Воздух жидок и ветра не примечалось. Народа было не видно — скуден был, должно, и худосочен.

Все было не по-людски и не по-мужицки. Земля стоит испаханная, почва — бордовая, как барская попона, жидкостей нету, тварей тоже незаметно.

— Ну и свет! Какой делал его светодавче! — сказал Иван. — Не похвалю. Тут и вша не плодится!

— Оглядим, — проговорил осовевший, задумавшийся инженер, — у всякой поверхности должен быть смысл.

— Оно так! Одначе, скорбь тут и жуть. Никто не шарахнется и не пробрюзжит. Надо отсюдова подаваться. Тут нам не жительствовать.

Пошли. Бордовая почва очертенела — чернозему ни комка не было. Шли долгую продолжительность.

Глядь, движется к ним какой-то алахарь. Одежи на нем нет, головы тоже не наблюдается, так, одна хилая ползучая мочь и в ней воздыхание.

— Остановись! — крикнул Иван. — Кто такой будешь и что это за место на небе?

И вдруг, весьма вразумительно, по-русски, по-большевицки, движущееся вещество изрекло из глубин своих:

— Тут, товарищи, рай. Место это Пашенкино называется.

— Отчего же ты такой чудной? Драный весь, на обормота похож, и как ты заявился сюда?

— С земли мы родом, а тут превратившись… Там на земле давно чудеса делаются. Великие люди в тишине делами занимаются. И по одному пропадают с земли на своих машинах. Так мы тут очутились. А один наш так и пропал в вышине. А мы тут рай учредили.

— Это што за место — рай? Является ли он следствием экономических предпосылок?

— Рай — это блаженство. Питание и совокупление, равновесие всех сил.

— Веди нас в рай, — сказал Иван, — дай опомниться. Как в таком незавидном месте рай учрежден, на бордовом грунте…

Пошли. Невелик был путь и одинаков по всей поверхности своей.

И засияли странникам вдруг в высоте четыре каланчи из бордовой глины. И послышалось оттуда благоуханное смиренное пение.

— Это кто завыл? — спросил Иван.

— Это поют расцветающие души, обреченные на любовь, на совокупление с присными себе и на смерть.

— Везде эта любовь, — сказал Иван, — и на земле и на небе. Не нашел еще я себе места, где бы не любили, а думали и истребляли бы любовь по-волчьи. И чтобы песнь была у таких людей одна — война с любовью… Любовь и любовью. Когда ты, язва людская, молью будешь изъедена. Сука голодная… Ну, а кого же вы любите?

— Все зримое, — ответило живое вещество, колебаясь и влачась по поверхности почвы.

— А чего ж вы зрите?

— Мы не зрим, а чуем всю теплую плоть, влекомую стихиями Вселенной, и к ней касаемся объятиями и исходим душою.

— А что такое душа твоя?

— Лишняя тревожная сила, которую надо излить на другого, чтобы стать спокойным и счастливым. Душа — это горе… В нашем раю души истребляются и потому тут рай.

— Чудодейственно. А ну, покажи рай самый. Вошли в каланчу одну. Стояли торцом такие же живые скудости и скулили.

— А вы все были людьми прежде? — Это Иван спрашивает.

— Людьми, а как же? — ответила тварь.

— До чего ж вы дошли? Неужели ж вам хорошо тут?

— Отлично. Покойно и благопристойно.

— Да брось ты, чучел! Вы плодитесь, аль нет?

— Мы бессмертны.

— А еще кто есть на этой планете?

— Дальше в пустынях есть кто-то. Но они к нам не приходят, и мы к ним, потому что мы в раю.

Иван потрогал райское существо — жидко и хлебло. Дай, думает, я ему шарахну разик, все одно звезду зря гнетут. Какой тут рай, если б тут жили злобствующие, я б их уважал, а то мразь блаженная. И Иван дернул существо кулаком по сердцевине. Тварь вдруг тихо выговорила:

— Мне не больно, потому что я люблю и нахожусь в раю. Меня облекает Вселенная всем светлым покровом своим и сторожит мою душу… Я только исчезнуть могу сам из любви к тебе, раз ты хочешь того…

— А ну исчезни! — обрадовался Иван.

Существо вдруг и на самом деле исчезло неведомо как и куда. Пошли дальше. Нашли еще четыре пары таких существ и сказали, чтоб они тоже исчезли. Они исчезли тоже.

— Теперь просторно! — сказал Иван.

— Пойдем, поблукаем. Может, найдем что посущественней… Как они каланчи себе эти огородили… Необходимо человеку за звезды приняться. Загадили их тут вконец. А с земли глядишь — высоко, свет чистый, полет правильный. А тут уж успели рай учредить…

Шли долго по миру планеты. Питались глиной бордовой, испражнялись сухим пометом. Болезнетворно. Пришли на великую гору. Глядят наверх — спускается к ним оттуда пожилая личность — человек, сам голый, и заметок никаких нет, не то мужик, не то баба.

— Опять скот какой-нибудь, — подумал Иван. А инженер думает без слов. Ученый человек.

Подошел человек поглядеть — не поглядел и пошел прочь дальше в пустыню, где незакатное солнце мигало и должно быть тухло.

Иван и инженер оглянулись на человека прошедшего и на замигавшее солнце. Человек остановился, а солнце вдруг потухло.

И далеко на небе что-то зарычало, расступилось и ухнуло в голосистой последней тоске. Стал быть мрак.

Андрей Платонов, Михаил Бахметьев

Стихотворения

Книга «Поющие думы»

«В моем сердце песня вечная…»

В моем сердце песня вечная
И вселенная в глазах,
Кровь поет по телу речкою,
Ветер в тихих волосах.

Ночью тайно поцелует
В лоб горячая звезда
И к утру меня полюбит
Без надежды, навсегда.

Голубая песня песней
Ладит с думою моей,
А дорога — неизвестней,
В этом мире я ничей.

Я родня траве и зверю
И сгорающей звезде,
Твоему дыханью верю
И вечерней высоте.

Я не мудрый, а влюбленный,
Не надеюсь, а молю.
Я теперь за все прощенный,
Я не знаю, а люблю.

Странник

В мире дороги далекие,
Поле и тихая мать,
Темные ночи глубокие,
Вместе мы, некого ждать.

Страннику в полночь откроешь,
Друг позабытый войдет.
Тайную думу не скроешь,
Странник увидит, поймет.

Небо высоко и тихо,
Звезды веками светлы.
В поле ни ветра, ни крика,
Ни одинокой ветлы.

Выйдем с последней звездою
Дедову правду искать…
Уходят века чередою,
А нам и травы не понять.

Среди страны

Чудесны дни простого созерцанья
И теплых трав просторная среда,
Пустынной ровности убогое молчанье
И облачных небес свинцовая руда.

Все хорошо — тепло сердцебиенья,
Незвонкий голос, серое лицо.
Мне незнакомо стало птицы пенье
И странен мир — веселый и босой.

Вот развернулись эти дни простые.
Невнятный ветер в шаг идет со мной,
Как родственник, и говорит слова густые,
Стихами их не скажешь все равно.

Кто знал сердечную, поспешную беседу
С травой, с пространством голубым,
Тот не чужим, родимым шел по свету
И сам был этой скудостью любим.

Легка так жизнь. Блестит ее дорога.
В дали, а не в тумане ее цель.
Она лишь кажется такой убогой —
Чем меньше на горбу, ногам тем веселей.

Какая ж это сумрачная сила
Таким нагим пустила меня в путь?
Наверно, та, что и долины рыла,
Что звездам не дает и ночью отдохнуть.

Нам грустно, что не можем рассказать
Другому глубины неслышного дыханья,
Чтоб сердце друга прочно взять
И мир схватить, как дар завоеванья.

«Мы дума мира темного…»

Мы дума мира темного,
Несказанное слово.
У света непройденного
Нам нет пути иного.

Горит костер — вселенная,
От искор в небе град.
Трава растет нетленная,
Цветет глубокий сад.

Поет слепая птица
И в песне видит свет,
Ей ветер в поле снится
И в мире чего нет.

Живут в неслышной думе,
Как миги, все века.
И песнею без шума
Падает река.

Богомольцы

Нету нам прямой дороги,
Только тропки да леса.
Уморились наши ноги,
Почернели небеса.

Богомольцы со штыками
Из России вышли к богу,
И идут, идут годами
Уходящею дорогой.

Их земля благословила,
Вслед леса забормотали.
Зашептала, закрестила
Хата каждая в печали.

От кого шуршит дорога,
Кто там ищет и чего?..
Глаз открытых смотрят много
У небесных берегов.

На груди их штык привязан,
А не дедовы кресты.
Каждый голоден и грязен,
А все вместе — все чисты.

Отчего тепло на свете,
Тот же дух и в них горит.
Правду знают только дети,
Никто больше не вместит.

Шел из Киева с сумою
Дед, и слезы на глазу.
Душу, думал, упокою,
Всем дорогу укажу.

А навстречу дети, дети,
И железо на плечах…
Видно, вновь Христос на свете,
Раз у них тоска в очах.

Руку дед поднял к восходу,
Все века и дни понял,
Поглядел он будто в воду
И увидел всем причал.

Богомольцы и у бога
Не увидели небес…
Дум несут с собою много,
Как штыков железный лес.

«Без сна, без забвенья шуршат в тесноте…»

Без сна, без забвенья шуршат в тесноте
Горячие руки в упорном труде —
В высокой и нежной и верной мечте,
В вое, во сне и в своей чистоте.

Пашите века и прудите потопы,
Чтоб кровь закипала и мозг скрежетал,
Чтоб дали, чтоб травы были растоптаны,—
Иди против ветра, чтоб ветер устал!

Так ветхие звезды, так реки и камень
Можно затмить, повернуть и зажечь —
Мы землю нагрели живыми руками,
Мы поднятый, брошенный, мчащийся меч!

Сопротивленье есть поле победы,
Ты накален своей страстной тоской —
Пусть лягут на землю прочные меты,
Пусть посох пропахнет потной рукой!

«Ночь на дворе стоит сиротой…»

Ночь на дворе стоит сиротой —
Спит человек в печной теплоте.
Под ледяною пустой высотой
Сердце без сна,
Сердце горит в своей тесноте.

Обыкновенные люди живут,
Звездные реки текут в тишине.
Ветер тоскует — горы ревут,
Травы бормочут в своем мировом,
Невозвратимом и тайном сне.

Немы уста твои, сердце ночное,
Невыразима невеста — звезда,
Скорбью томятся люди одною:
В сердце вместиться должна
Земная вся теплота
И звездная вся высота.

Тихи шаги мои в поле любимом,
Душа налилася тугою и нежною силой,
Запечатлею я мир — и пройду его мимо,
Сам я не свой — и каждый мне милый.

«Жить ласково здесь невозможно…»

Жить ласково здесь невозможно,
Нет лучше поэтому слова «прости».
Годы прошедшие прожиты ложно,
Грядущие годы собьются с пути.

Первой любимой последнее слово —
Горе когда мне в себе не снести,
Прощальное слово матери мертвой,
Чтоб сердце не мучить, мы скажем «прости»!

Где верные души, где вечная память
О сыне, о милой подруге-жене?
Каждый любимую может оставить,
От взгляда другой побледнев.

Смерти напротив, навстречу стихиям
Тонкая дышит и бьется душа,
С верностью голубя, с мудростью змия,
Силу чудесную крепко зажав.

Где же ты скрыта, страна голубая,
Где ветер устанет и смолкнет река?
На свете такие страны бывают:
В поле я видел — земля велика.

«Мир родимый, я тебя не кину…»

Мир родимый, я тебя не кину.
Не забуду тишины твоих дорог.
За тебя свое живое сердце выну
Полюблю, чего любить не мог.

Снова льется тихий ливень песни
И опять я плачу от звезды,
Сам себе еще я неизвестней,
Мне никто пути не осветил.

Ветер теплый, как ладони мамы,
Ходит тихо по траве,
Голубыми льнет ко мне губами,
Не умру я на земле вовек.

Песня песней, ты никем не спета,
Оттого не слышу я травы.
Человек мне в поле не ответит,
Некому на жизнь меня благословить.

Вечерние дороги

Звезды вечером поют над океаном,
Матерь Бесконечность слушает одна.
Наклонился к миру месяц-странник,
И душа моя ему видна.

О, прохладные вечерние дороги
И дыханье — музыка моя…
Песня в поле жалуется долго,
Плачут звездами небесные края.

Все слова таит душа незримая,
Нету ей ни хлеба, ни воды.
Наклонись ко мне, моя любимая,
Мне не перенесть ни песни, ни звезды.

Ветхая Русь

Клонится к нивам поющим
С кроткой усталостью день,
Тени по рытвинам, кручам
К травам прильнули тесней.

Там, за умолкшей опушкой,
Звонят к вечерне в селе.
Странник с иконкой и кружкой
Бродит по стихшей земле.

Добрые сонные деды
Еле плетутся на звон,
Кличут в окошко соседа —
Долго копается он.

Над облаками синеет
Птица пугливая — тьма,
Ветер на листьях немеет,
Спит пастушонок Кузьма.

Румяная мать

Полны груди молока
У румяной матери,
Заголенная рука
Стелет гостю скатерти.

И глядит, и не глядит,
Будто ухмыляется —
Дескать, сердце не лежит
Мне с тобою лаяться.
В люльке мается Ванятка
От дурного глазу,
С Рожества, от самых святок,
Не поспал и часу.
Навалилася напасть,
Как без мужика-то!
Жизнь одной — не жизнь, а страсть,
Как без бога хата.
На кого похожа я!
Ссохлась с тоскованья,
А была пригожая,
Где ты, милый Ваня!
Люди, люди, приходите,
Либо нет на вас креста,
Душу ласкою уймите,
Ближе к звездочке звезда.
Выйдем к женихам веселым,
Сплетем туго косы,
Чтобы сердце било звоном,
Чтоб светились росы.

«Тою ночью, тою ночью чутко спали пашни, села…»

Тою ночью, тою ночью чутко спали пашни, села,
Звали молча к ним дороги, уходили на звезду.
И дышала степь в истоме сердцем тихим, телом голым,
Как в испуге, на дрожащем уплывающем мосту.

Завтра утром не расскажешь, как летела там звезда,
Где упала и погасла на болотной пустоте.
Ранним часом с земи хлынет вся небесная вода
И замрет на бледно-синей, уходящей высоте.

«Растет мое сердце во сне…»

Растет мое сердце во сне
И около смерти полюбит.
Ветер на тонкой певучей сосне
Голос свой песнею губит.

Нарочно и я на свете живу
И сердце порочу стихами;
Я думал, что с неба звезды сорву,
А сам только плакал ночами.

Я думал, что мудрости в мире
Нельзя ни найти и ни сделать,
Но, выросши больше и глянув пошире,
Открыл я всемирную смелость.

Не жалость, не нежная влага
На молчаливых устах,
Скорбная скрыта отвага
В простых человечьих глазах.

Никем никогда не воспета
Тревожная жизнь в человеке:
Так утром на громком рассвете
Сиянье стучится в зажатые веки.

Мать

Руками теплыми до неба,
До неба тянется земля.
Глядит и дышит в поле верба,
Она звезду с утра ждала.

И звезды капают слезами
На грудь открытую земли
И смотрят тихими глазами,
Куда дороги все ушли.

И снится, думается дума,
Дыханью каждому одна.
Леса бормочутся без шума,
Не наглядится тишина.

Земля посматривает, чует,
Бессонная родная мять,
До утра белого не будет
Ребенок грудь ее сосать.

«Сердце в эти дни смертельно и тревожно…»

Сердце в эти дни смертельно и тревожно,
Прежде времени — над миром древний вечер,
Но душа — обитель невозможного,
Что погибло, то живет в ней вечно.

А утром небо красное цветет,
Невеста рано чешет волоса,
И цвет высокий пламенный растет,

И с ветром говорят великие леса.

И человек задумчиво поет,
Он ждет веками дальнюю звезду,
Себе гнезда он в мире не совьет,
И любит сердце пустоту.

Иван да Марья

1

Странны дни в долине ровной,
Светел дух осенний на земле.
Поле пусто. Сердце грустью полно.
Скучно жить в своем родном селе…

Осенью душевное сомненье
Стелется, как деревенский дым.
Умолкает полевое пенье,
Но я полон им одним.

Много в жизни сумрачной тревоги,
Много бед несут с собою дни.
Под дождем осенние дороги,
Тяжело ходить по ним.

Надобно себя томить сухой работой,
Чтобы жизнь была в тугом русле.
Надо медом наливать пустые соты,
Жизнь держать не ниткой, а в узле.

Пусть роятся в голове заботы —
Будет дело молодым рукам,
Надо мир промаслить нашим потом,
Скорость дать его маховикам.

Человек от старости седеет,
Осень сыплет волос золотой.
Так природа в августе вдовеет,
Умирает молодой.

Но в глухую гибнущую осень
Скорбно и навеки можно полюбить:
Зеленеют ведь зимою сосны —
Круглый год необходимо жить.

2

Третий год я был комсомолистом,

В сентябре мне стало двадцать лет.
Ни оратором, ни красным гармонистом
Я не значился —
Имел пустой билет.

— Что же, Ваня, ты бы хоть влюбился
Или станцию построил на ручье,
Видишь — комсомол зашился,
А ты бродишь как ничей!

И случилось
(Погадал мне парень) —
Стало быть, в соку моя душа,
Не присушкой же я был отравлен —
Я заметил:
Очень Маша хороша.
И действительно,
Мила мне Маша.
Только я вот не душист,
Красотой не разукрашен,
Но зато — комсомолист!

Вот однажды подошел я к Маше
Шагом твердым, как партийный человек:
— Правда, клуб прилично наш украшен,
Чувствуете вы индустриальный век?

Мне сказала Маша кротко:
— Краснота!.. и скучно без цветов!
Я ей вежливо, но четко:
— Здесь в грядущее постройка
Металлических мостов!

— Где же мост? —
Спросила Маша.
Тут я лозунг указал.
— То висит матерья ваша:
Мост чугунный где, вокзал!

Беспартийщина в натуре,
Но на то ведь мы вожди:
Парня, девку, дурня, дуру
С коммунизмом увяжи!

3

Босиком по мокрым листьям
Полудуркой осень шла.
В поле позднем,
В поле чистом
Ветер за руку вела.

По родным немым дорогам
Я невесело хожу:
Кроме Маши
Симпатичных много,
Только ими я не дорожу.

Тихий сон питает тело силой,
Эти силы мучают меня:
В первый раз душа моя любила,
Даже мать мне стала не родня…

Что же, Маша, долго медлишь?
Ведь нечаянно тебя люблю.
Если чувством мне ответишь,
Душу я твою не оскорблю…

Не мудра по книге Маша,
Не держала писчего пера —
Человек не этим важен,
Если он роднее, чем сестра.

Есть такие люди в мире —
Ошибаются вести по пальцам счет.
Но зато — в них сложенные крылья,
Разум их нечаянно течет.

4

— Слушай, Ваня, ты такой хороший
И не думай плохо про меня!
Ты пойми слова мои как можешь:
И любовь и правда ведь одна.

Эта осень, милый, на исходе,
Будет скоро зимняя пора.
Ты не станешь по своей охоте
Вековать с девицей вечера.

Я не очень личностью пригожа
(Ты напрасно это говоришь),
Не лицо — другое мне дороже,
Что без слова ты в себе хранишь.

Я люблю не прелесть человека,
А его сердечное добро:
Полюблю и горбуна-калеку —
Жить ведь с мужем, не с горбом.

Я не очень умная, Ванюша,
Место мысли сердцем занято,

Я конечно жизнь отдам за мужа
Человек я верный и простой…

Но в любви я буду лютый ветер,
Ревностью замучаю лихой —
Не умею скучно жить на свете,
Кровь во мне, а не песок сухой.

Но мы рано молодости влагу
Друг у друга пьем из уст,
Оттого сердечною отвагой
Человек так рано пуст…

Не люби меня напрасно, Ваня,
Ты потерян будешь для людей,
Уж тебя работа не потянет —
Трудно, Ваня, бабою владеть.

Я люблю сама тебя нечайно
И любви в себе не поборю,
Но со мной душа твоя устанет —
Я вперед про это говорю.

Ну, пускай с тобою мы поладим! —
Загрызут нас люди и нужда.
Нам с тобою и немного надо,
Но и это не дается никогда.

Знаешь, Ваня, бабы с мужиками
Как живут до гробовой доски?
Начали любовью — бьются кулаками:
Не минует баба мужниной руки.

Может быть, наверно очень скоро,
Ласковее люди будут на земле —
Вот тогда навеки и без спора
Мужиком и бабой станем на селе.

Бегство

Прощай, сиротство, нищие поля
И ты в гробу, любимая сестра!
Передо мною — круглая земля,
Над головой — чудесная пора!

Прощай, село, отца родимый двор,
Влекущий гул заброшенных дорог!
Мне так легко, как будто с гор
Бегу на паре сильных ног.

Стоит земля, а я по ней спешу.
Я вижу — ветер треплет рожь,
Ища в ее волосьях вошь,—
И глаз с природы не свожу.

Но вот уж холодно и — вечер.
Вон трубы, город и сияющий огонь.
Отстал уставший спутник-ветер,
В моем цветущем сердце сон.

Я спал в саду, как безработный,
И надо мной плыла толпа.
Я слышал жалобы и трудные заботы,
И сон ко мне страшнее прилипал.

Я встал с зарей — мне стало любопытно,
Я знал давно, что велика земля,
Но от меня была вся прелесть скрыта —
Я видел лишь безлюдные поля.

Я был бродягой, пахарем, солдатом,
Искал все годы праведной земли.
То с диким горем, то с отрадой
Шел по путям, куда они вели.

Но жизнь для нас хорошая подруга,
И первый друг — сокровище мое.
Большая нам оказана услуга —
Дана нам жизнь — и мы ее возьмем!

«Томится сила недр земного шара…»

Томится сила недр земного шара,
И злобный зной в душе от тесноты домов.
Ждет мир последнего, смертельного удара
И взрыва недр — без вскрика и без слов.
Пусть ливень разорвет кору и крышу над постелью
И водопады ночью песни запоют,
Пусть корабли людей подымутся над мелью
И в темный вечер в океаны уплывут.

Любовью, ужасом и жалостью к потомку
Прикован к дому и к работе человек.
О, тленье тел, пищеварение негромкое,
Быстрей тебя машинный перегретый бег.

Среди обыкновенных дней трава расти устанет,
Все познано, едою зубы стерты,
И сердце жизнь вконец отбарабанит,
И звезды недостигнутые — мертвы.

Греми, тоска! Из камня сделаны дома!
Еще сладка еда и горячо дыхание жены.
Над крышами до звезд стоит пустая тьма,
И каждой ночью снятся беспамятные сны.

Я тело износил на горестных дорогах.
Нет мудрости свирепой и друга с парой рук,
Мозгов мужских и женщин полновесных много:
Дороже всех материков —
Дверь тихо отворивший друг!

«Резцом эпох и молотом времен…»

Резцом эпох и молотом времен
Спрессована, изваяна природа,
Песком веков занесены следы племен
Никем в Судьбу не взорваны ворота.

Тоской пустынь и тишиной души
Мир стережет дорогу звезд и путь судьбы,
И неизвестность человек с собою обручил
И жаждет бесконечность моих объятий и борьбы.

Дыхание звезды и странствующий ветер,
И солнце страстное, ревущее на небе,
Мы в мир пришли окончить белый свет,
Разбить вселенной страшный слепок.

Мысль разразится в мире катастрофой,
Немой и безымянный будет человек,
Удар машины, тяжкий и суровый
Судьбы железный череп пополам рассек.

«Земля — дума, песня не пропетая…»

Земля — дума, песня не пропетая,
В мире нет задумчивей лица,
И долга, долга дорога светлая,
И в глазах от радости роса.

Тяжела нам вечность неизменная,
Тишины и думы синие огни,
Мы поймем, исходим всю вселенную,
Не заблудимся без матери одни.

Мы поднимем камни, камни и железо,
Где уходят вечером неслышные стада,

Ясную вселенную увеличим в весе
И небесные засветим города.

Мертвый

Как тоскует верба в поле!
Ветер как гудит!
Сердцу человека больно,
Человек не говорит.

Тьма и дождь, и бесконечность.
И не видно ни звезды…
Тихо мрут над гробом свечи,
Мертвый жизни не простит.

Он лежит замолкший, тайный
И смертельней мертвеца,
Он проснется завтра рано,
Догорит к утру свеча.

Нежен взор его туманный,
И под горлом теплота,
Веки дрогнули нечаянно
Тише жизни красота.

«В железной шапке льдов…»

В железной шапке льдов,
С дыханьем тайным тихих океанов,
Земля без имени, без человечьих слов
Ревет и мчится в звездном урагане.

Я вижу землю без любви,
Тяжелой думой напряженную, —
Гранитный шар земной мне душу раздавил,
И высек мысль, сопротивленьем раскаленную.

В работе есть исход душе,
И мысль есть поцелуй вселенной,
Трава течет в тиши ржаных межей,
И облака вскипают белой пеной.

Ты — мысль! Бредущий странник против ветра.
И посох твой о путь не прогремит,
Ты слышишь ночь и песнь великого рассвета
И видишь высоту, где сила буйная звездою шелестит.

Ты утаилась от расстрела смерти.

Преступник тайный, поджигатель мира,
Сама ты миру гибелью ответишь
И над упавшею звездою расправишь пламенные крылья.

Лесная говорушка

Выйду в новом сарафане
Я за гумна ввечеру,
Затаюся за поляной,
Не вернуся ко двору.

Загорится над рекою
Высока, светла звезда,
Родилась я, знать, такою
Птицей — с птичьего гнезда.

Стихнет, стихнет и умолкнет
Голос всякий на селе.
По росе пойду, намокну,
Песня вспыхнет веселей.

Не проведают на утро,
Где любилась я одна.
Уходила в гору круто,
Доставала в небе дна.

Мама, мамушка родная,
Ты припомни обо мне,
Говорушка я лесная
На гнилом змеином пне.

«Когда я думаю, я слышу музыку…»

Когда я думаю, я слышу музыку,
Поют далеко голоса.
И светит солнце слепому узнику,
И песне-мысли нет конца.

Над головою дышит бездна,
Непостижима и ясна
Дорога вышла в неизвестность,
Где вечно светится весна.

Лицо вселенной там прекрасно,
Ее смертельна красота,
Звезда упала, летит и гаснет —
Над нею выше высота.

Белый свет

У дороги края нету,
Нету дома и конца.
Мы идем по голубому свету,
Ищем голубиного яйца.

Реки все за нами льются,
И леса бредут по ветру вслед,
Там далеко родники сольются,
Мы и этот покидаем свет.

Крыша над полями тает,
Убегает по лугам волна,
Солнце землю пьет, а конь его играет,
Золотая деда борона.

Голова моя под шапкой светится,
Пухнет пузо под рубахой ржи.
Вон руками замахала мельница,
А и ветер не брюжжит.

Мы пришли на косогор утихший,
На горячую девичью грудь.
После страды нам невесты ближе,
Вечер каждый они кровь сосут.

Руки вскинуты и звезды загораются,
Груди голые — два тихие холма,
Косари до света белого промаются,
Понавалят в душу хлеба закрома.

«По деревням колокола…»

По деревням колокола
Проплачут об умершем боге.
Когда-то здесь любовь жила
И странник падал на дороге.

О, милый зверь в груди моей,
И качка сердца бесконечная,
Трава покинутых полей,
И даль родимая за речкою.

Я сердце нежное, влюбленное
Отдал машине и сознанию,
Во мне растут цветы подводные,
Я миру вестник мира дальнего.

Слетают звезды с вышины,
И сердце, радуясь, пугается,
Как много в шуме тишины,
Звезда на песню отзывается.

Песня

Мих. Бахметьеву

На зеленой, на поляне,
Посередке улицы,
Ходят Стеши, ходят Глани,
Румяные курицы.

Кочетами Ваньки,
Степки Выступают важно,
А курносой рожой цопкой
Так умилен кажный.

Норовит корявой лапой
Ухватить за сиську,
Ухмыльнулся баба-бабой
Страхолюдный Митька.

Рыжий дернул на гармошке,
Девки взвыли в голос,
Застрадали про Ермошку.
Рос высокий колос.

Дорога утром

Дорога утром легла далеко,
Дорога утром без краев.
Река не дышит, река глубока
Под куренями у рыбаков.

Поют колосья и никнут нивы,
Зажег на небе костер пастух,
А лес махает зеленой гривой
На поле спелых ржаных краюх.

Ищу невесту, а ее нету,
Я позабыл ее избу.
Поднялся рано — еще до свету,
С сумою нищей на горбу.

О голом и живом

Мы на ветру живем
С незащищенным сердцем,
В пучине мира мы — нечаянный огонь:
И либо мы весь мир ослепим,
Иль либо нас потушит он.
И весело на свете быть голым и живым —
Таким вот, от которых и горе устает,
Не мудрым, не прекрасным,
А — сильным и простым,
Не богомольцем правды, а мастером ее…
Я знаю —
И в живом созреет тихо смерть,
Но тишины не станет на земле:
Не будет солнце зря гореть —
И жизнь сумеет крикнуть веселей…
И вот смотри —
Без смысла и на льду,
Своей кончины каждый накануне,
Живой глядит на пышную звезду —
Бессмертен он или безумен?
Он мудрость всю отдаст за теплоту
Живого тела своей милой.
Он завоюет голубую высоту,
Чтоб доказать любимой свою силу…
Настанет час —
Из мировой пучины
Он образует милое лицо,
Чтобы была невеста сыну,
Как мать его, любимая отцом.

«Мы стареем, потому что мы живые…»

М.А.К.

Мы стареем, потому что мы живые,
Нам усталость мочит белые глаза,—
Значит, мы с тобою были молодые,
Но еще гремит любовная гроза.

Оттого ты с каждым годом мне милее —
Жар неистовый сменен на теплоту.
Слышу я, как сердце мое зреет,
Чтоб, созрев, упасть в родном саду.

Ты еще жива, твои глаза сияют,
Сердце грудь качает, краснея и спеша,
Но года замрут и про тебя мне скажут:

Век отвековала верная душа.

«Наверно, молодость придется истомить…»

Наверно, молодость придется истомить
Зажатой в гайку тесного труда.
Нам не дано Америки открыть,
И миновала нас счастливая звезда.
Прошли зеленые веселые века,
И зрелый день стоит над головой.
Нашла русло октябрьская река,
Ее долина поросла травой.

И траву надо днем косить,
Чтоб можно было вечерами петь:
Нельзя лбом стену прошибить,
Зато возможно пальцем протереть.

Земле не очень надобен поэт:
Как ни смеется он, а все равно заплачет.
Хоть и поет он, песня его спета —
И в жизни умной ничего не значит.

Но, друг!
Ведь жизнь — хорошая подруга.
А ты — сердечное сокровище мое!
Большая нам оказана услуга —
Дано нам жить, а мы — поем!

Ты погляди! Нечаянно и звонко
Растет трава, и звезды шелестят,
Упрямо в сердце бьется перепонка —
Целуй же жизнь в порочные уста!

«Древний мир, воспетый птицами…»

Древний мир, воспетый птицами,
Населенный ветром и водой,
Озаренный теплыми зарницами,
Ты живешь во мне — как край родной.

Горный крик гремел навстречу утру,
И поток подножье мира мыл.
Не было равнины — яростно и круто
Обнажались лица материнских сил.

Помню я, в тоске воспоминанья,
Свежесть влажной девственной земли

И небес дремучее молчание,
И всю прелесть милую вдали.

Но чем жизнь страстней благоухала,
Чем нежней на свете красота,
Тем жаднее смерть ее искала
И смыкала певшие уста.

«Как тополи в тихие ночи…»

Как тополи в тихие ночи,
Недвижны, стройны конопли…
Глубоко за силою-мочью
Деревья корнями ушли.

В земле прошлогодние стебли
Гниют, рассыпаются в прах,
Там черви, живя, поослепли
И движутся в темных норах.

Под знойно играющим солнцем
День зелен, медлителен, жгуч.
Травинка дрожит волоконцем,
И каждый комочек живуч…

Стоит, похилилась избенка,
Задумался дед на пеньке,
Жует и жует лошаденка,
И дремлет арбуз на песке.

«Вечер душен. Ночь недалека…»

Вечер душен. Ночь недалека.
Ты замкнулась и молчишь…
Будто льется — льется без конца река,
А кругом ни шороха, лишь тишь.

Подойди к углу, где сумрак кроткий,
Стол-угольник и открытая тетрадь…
У сверчка протяжны, скучны нотки,
И опрятна девичья кровать.

Наклонись в томительном искании
На узоры вытянутых строк.
И в усталом, ласковом касании
Вылей чувства робкого поток.

Далеко — ты слышишь — звонит колокол

В неурочный и опасный час…
Мраком манит, мраком мертвый дол,
Он зовет и звал уже не раз…

Ты одна. Постель белеет холодом.
Полночь глубже. В тучах небеса.
Кровь колотит в сердце гулким молотом,
И не видны за оврагами леса…

Степь

В слиянии неба с землею
Волнистая синяя цепь.
Мутнеет пред ней пеленою
Покойная ровняя степь.

Бесшумные ветры грядою
Волну за волною катят,
Под ними пески чередою
Бегут — и по травам свистят.

Не дрогнет поблеклой листвою
Кустарник у склона холма
С обдутой вверху чистотою,
Где ночью не держится тьма.

Скрывается с злобой глухою
В колючках шершавый зверок,
Он спинкой поводит сухою
И потом от страха обмок.

Уж вечер… И, будто сохою,
Гремит у телеги мужик…
Восток позадернулся мглою,
А запад — как пламенный крик.

Свежеет. Над тишью степною
В безветрии тлеет звезда,
И светится ею одною
Холодная неба вода.

Мужик

Цельный день я вижу тын и лопухи,
Да овраги, да тоску, да воробьев.
Под плетнем прилипли к курам петухи,
Плачет Машка у соседей, у сватьев.

Похлебаешь квасу с хлебом аль картошки пожуешь,
Сломишь бадик, перекрестишься от дум.
А заботу скинешь — песню запоешь,
С огорода в подголосок воет кум.

Парит пашню, ветер мечется один,
Заневестилась полоска-полоса.
Зеленеет мой озимый длинный клин,
И зажмурилися синие леса.

Поход

Мы горы сровняли с великой дороги,
Но не с иконой — с винтовкой пошли.
Винтовкой мы землю подняли на ноги
И победить мы сумеем — раз умирать мы могли.
Там, за победой, снова дорога.
И нет у ней края, как звездам числа.
Не одного миновали мы бога,
Та же в нас сила, что солнце зажгла.
Мы не живем, а идем, умираем,
Будто мы дети другого отца.
Здесь мы чужие и зажигаем
Мертвую землю с конца до конца.
Мать никакая нас не рождала,
Руку невесты никто не держал.
Сила враждебная смертью сметала,
И мы умирали, но каждый вставал,
Кто говорит, что там небо без края,
Звезд ни один не считал, и не счесть,
Знает лишь тот, кто, в тоске умирая,
Тайную слышал далекую весть.
Кто говорит — тот в гробу шевелится,
А не живет, не несется на смерть.
До звезд нет дороги — так мертвому снится.
Можно достать их, и взвесить, и счесть.
Нас не задушат просторы вселенной,
Сколько б дорог нам она ни открыла,
В нашей бесчисленной рати бессменной
Бьется и дышит бессмертная сила.

Динамо-машина

Песнь глубин немых металла,
Неподвижный долгий звон.
Из железа сила встала,
Дышит миллионом волн.
Из таинственных колодцев

Вверх, на горб, машины с пеньем
Вырываются потоки — там живое сердце бьется,
Кровь горячая и красная бьет по жилам в наступленье.
Ветер дует из-под крыльев размахавшихся ремней,
Мой товарищ отпускает регулятор до конца.
Мы до ночи, мы до смерти — на машине, только с ней,
Мы не молимся, не любим, мы умрем,
как и родились, у железного лица.
Наши руки — регулятор электрического тока,
В нашем сердце его дышит непостигнутая сила.
Без души мы и без бога и работаем без срока,
Электрическое пламя жизнь иную нам отлило.
Нету неба, тайны, смерти,
Там вверху труба и дым.
Мы отцы и мы же дети,
Мы взрываем и творим.
Мы испуганные жили и рожали, и любили,
Но мы сделали машину, оживили раз железо,
Душу божью умертвили,
Кожа старая с нас слезла.
И мы встали на работу к регулятору динамо,
Позабыли вечность, звезды — что не с нами и не мы.
Почерневшими руками
Смысл мы сделаем из тьмы.

Конец света

[текст отсутствует]

Стихотворения, не вошедшие в книгу «Поющие думы»

Птицы

Высоко птицы
Вереницей
Летят с далекой неслышной песней.

О, птицы, птицы,
Нам песня снится,
Зовет нас небо, на солнце путь.

Мы любим море, —
В гремящем хоре
Стон урагана, удар борьбы.

Мы любим горы,
Вершин упоры
И песни вашей над миром крик.

«Я сердцем знаю…»

Я сердцем знаю,
Что не истаю
Я в этом мире,
В зеленом пире…

В далекой ясности
Есть тишь безгласности,
В плывущей лунности —
Покой бездумности,
По всей вселенной горят огни.

Их тихий трепет
Мне внятный лепет,
Их колыхание —
Мои искания,
В небесной бездне мы не одни.

Сумрак

Дальнее мерцание
Голубых огней,
Вздох или сияние
Грезящих полей…

Нежное дыхание,
Аромат цветов,
Мир, очарование,
Трепеты листов…

Тихое плескание
Позабытых слов,
Свет и угасание
Чутких полуснов…

«Тихий свет сиянья угасания…»

Тихий свет сиянья угасания
Льется в свежесть дремлющих садов.
Покой короткий, будто стихшие рыдания,
Призрак мрущий белых городов…

Все смолкает, как невнятное роптание,
Синева поблекла у цветов.
Оживает океан молчания,

Где забылись тысячи веков.

На вершинах спящих колыхание,
Взмахи от объятий льнущих снов,
Волн бегущих дальнее плескание
И безмолвие невидных берегов…

При прощании

Весенний вечер в обаянии
Приник к земле,
Закат в немом очаровании
Погас во мгле.

В незримо дальнем осиянии
Подходит ночь…
О, просвети, прости в молчании,
Кому невмочь.

Так тихо, тихо расставание
Земли со днем,
Как будто чудное познание
Мы все поймем.

В последнем радостном свидании
Возлюбим всех,
Тогда сольются при прощании
Любовь и грех.

День

Солнце уж в силе, тени кратчают,
Липнет рубашка к спине,
Травы в истоме стеблем иссыхают,
Жарясь на вольном огне.

Сухо и знойно, негде укрыться,
Вихрится пыль по пескам,
Пусто, далеко, ветер струится
По прошлогодним листам.

В мареве желтом, в устали тяжкой
Стадо овечье пылит.
Кнут подгоняет сзади по ляжкам,
Не попадая ж — свистит.

В днище оврага, в тени, прохладе
Узкий гноится ручей

Овцы припали, мокнут в отраде
В влаге студеных ключей.

Жальче и тоньше скулит сиротой
Дудка в губах пастуха…
Прыгает ветер — щенок молодой,
Даль полевая безлюдна, глуха.

У города

Столб телеграфный гудит над канавой.
Ветер затрясся, завыл в проводах.
В кучах навозных бродит шалавой
Пес одичалый, со шкурой во вшах.

Рявкает с хрипом от голода, старости,
Нюхает сгнивший собачий костяк,
Лижет его в неожиданной жалости:
Может быть, это щеночек-сопляк.

Ров недалече с сугробами падали,
Кружится тысяча галок над ним.
Клювами сразу тухлятину сцапали —
Трупом поменело в мире одним.

Ласточки, легкие перышки неба,
Крутятся свадьбой, писком кричат,
Ищут для птенчиков в воздухе хлеба
И, задыхаяся, камнями мчат.

Сядешь на зелень и вскинешь глазами…
Где-то далеко телега скрипит.
Плавится мутный свинец облаками,
Пес исхудалый кашлем хрипит.

«Не тихо и не шибко…»

Не тихо и не шибко,
А так — чуть-чуть спеша,
Розвальни ноют хлипко,
Где летом шла межа.

Бесшумно и покойно
Полозья чешут снег,
И сердце сжалось больно
Средь похиленных вех.

Деревня за буграми

Маячит кучей хат,
Глубокими снегами
Поля во сне шуршат.

«Долог зимний рассвет…»

Долог зимний рассвет
В деревенском окне.
С богом шепчется дед
При лампадном огне.

Светит снег у плетня
На забытом гумне,
Куры ждут давно дня —
Покопаться в зерне.

Вся деревня в снегу,
И река подо льдом,
На промерзшем лугу
Ходит ветер огнем.

Уходили века,
Нивы ждали весны…
Но тропа далека
До зеленой сосны…

Юноше

Где чувства мало там мысли много,
Где мысли много — там чувства нет…
Иди лишь прямо — одна дорога —
Туда, где правды сияет свет.

Иди же прямо, иди же смело,
Пока ты молод и полон сил,
Чтоб сердце волей стальной горело,
Чтоб, погибая, ты победил.

Рабы машин

[текст отсутствует]

Поезд

Вьется, вьется, вьется
Путь стальной змеей —

Встречный лес смеется
Дружною семьей.

Стучат, бегут колеса
По рельсам чрез мосток
Быстрей вагон понесся,
Послышался свисток.

Льется, льется, льется
Стон груди стальной
И звонко раздается
Песнею родной…

Над горами

Небесами ясными
Облака бежали,
Взорами уставшими
Отдыха искали…
Чуть-чуть притаились
На вершине дикой,
Крылышки закрылись
Над иглою-пикой…
А, вздохнув немного,
По прозрачной сини
Снова в путь-дорогу,
В колыханье линий.

Вечер после труда

Мастерская пуста;
Как громадна она!
Я остался один…
Тишина здесь властна.
Реет чуть теплота
У горна.
Луч вечерний повис
У окна.
Там, за пыльным стеклом,
Воздух ласков и чист…
Свет родившихся звезд
Серебрист.
Тишина так полна,
Словно слышится свист.
Ночь крадется. Темнее, темней…
Огонь звезд так далек, потаенно лучист.
Буду ждать, буду ждать…
Так ужасно покоя молчание…

С солнцем жизнь не ушла —
Ее нежное веет дыхание…
Силуэты машин недвижимы, мрачны,
Смерти вижу на них одеяние.
Мастерская пуста…
Огонек под золой, потухая, живет в угасании.

На реке

Вода рябится легким духом
На зеленеющей мели…
Обрывы выветрились сухо,
И комья глины поросли…
Под ветер выскочила жаба,
О влажный хрустнула песок,
Она от тины вся иззябла,
И свисло брюхо, как мешок.
Спешит прихлопнуть лапкой мокрой
Червя, что вьется меж камней…
Пестреет стайка туч сорокой,
Темнеет блеск реки под ней, —
И шумно дождик полосою
Запузырился по воде,
Сверкнул отточеной косою
И замер, радугой зардев.

Март

Снег под солнцем растопился,
Лужи распустил,
Воробей, спеша, опился,
Хвостик замочил.

От оттаявших заборов
Задымился пар,
Отощавший в зиму боров,
Как помятый шар.

Пес, от вьюг осатанелый,
Брешет ни с чего
И забыл, что околела
Сука — мать его.

Льются с тихим лопотаньем
В колесницах ручейки,
Вечерком же ранне-ранним
Все дороги далеки.

«Млеют в горячей весенней испарине…»

Млеют в горячей весенней испарине
Пашни, дороги и лес-молодяк,
Солнцем высоким они поошпарены,
Стали за летний рабочий верстак.

Хошь ли, не хошь, а водицей мочися
В лютую зиму обжившийся снег.
Терпи, не терпи и молись, не молися,
А скоро уж будет дребезг телег.

Странничек божий, Фома, уж поплелся,
На весну глядя, бродить по Руси,
Бадиком с гайкой таким обзавелся,
Что палец во рту пососи.

У изб, у плетней кое-где попросохло.
Ребятки мочою там пробуют грунт.
Шепчут старухи, — скотина где сдохла,
Как соль вздорожала с копейки за фунт.

Вечером свежим несется далеко
Вскрик или голос птицы какой…
Месяц над лесом пройдет одиноко,
Тронется небо звездной рекой.

«Невысокие лозины…»

Невысокие лозины,
Повалившийся плетень,
Одинокие долины,
Серый, скучный день.

Задремавшие равнины,
Пыльные кусты…
Мои милые картины.
Тихие мечты.

Я у чистого истока
Юности моей,
У бегущего потока
Уходящих дней…

Молот

Удары родят молнии —
Безумные, упорные,
Неуловимо полные мгновенного огня,

Земля качает сводами.
Пар льет паропроводами
На молот мощь зажатую, от трепета звеня.

И будто с ликованьем
По мертвым наковальням
Металл играет в пламени,
Дробится, изменяется
И снова накаляется,
Сверкая остро гранями.

Огни роятся искрами —
Трепещущими, быстрыми,
И близкими, и дальними…

Песнь

[текст отсутствует]

Гудок

Мы спешим…
Нас цедит будка при воротах
И проплескивает дальше.
Дальше, дальше — к мастерским.
Через балки, чрез обломки, горы стружек
И шеренги ожидающих машин
Мы бежим от нетерпения,
Исчезаем в черных пастях
Каменных зверей…
Мы спешим.
Гудок последний
Белым вихрем атмосферу
Вдруг рассек.
И железные, стальные,
Молчаливые массивы,
Эхом гулким завывая,
Отозвалися ему.
А гудок бичом хлестает
Утра, белую без солнца,
Непроснувшуюся мгу.
Он прорвался сквозь ущелья
Узких трубок и кранов —
И вот бьется от восторга,
От свободы, от победы
Белым вольным ураганом

Выше, дальше —
В сердце неба,
В гущу туч!
От стального его рева
Сотрясаются и плачут
Влагой мелкой облака…
О, пронзай, ломай преграды,
Неподвижные громады,
Окаянные пустыни,
Непройденные пески,
Белоструйный пламень снежный
Пар — гудок!
Громче, резче раскаляйся,
Рви на клочья, распыляй
Туман низкий — пасть могилы,
Жуть бессилья!
Пробивайся сквозь пространства
К мертвым звездам,
И столкни их, и смети их
Своей силою земли…

Мы — гудок, кипящий мощью,
Пеной белою котлов,
Мы прорвемся на дороги,
На далекие пути.
Не отступим, не уступим —
Без конца вперед идти:
Только в силе — радость жизни,
И в победах — упоенье,
В достиженьях — гордость воли,
И в огнях манящих — власть…
Наш гудок — сигнал желаний,
Клич трепещущий сердец,
И труду, усилью, воле —
Утренний привет.

Мы рванемся на вершины
Прокаленным острием!
Брешь пробьем в слоях вселенной,
Землю бросим в горн!

«Мы на канатах прем локомобиль…»

Мы на канатах прем локомобиль
К платформам красным станции.
Цилиндры в триста лошадиных сил
Заржавели на скрепах с фланцами.

Давно не крутит оси кривошип
И замер, разбежавшись, маховик.

Трубы макушка — проволочный гриб —
Прогнил от дыма, вбок поник.

Волочим сажень-две, минуту отдыхаем,
И снова ухаем, ногами чешем землю,
Плечьми брат к брату ближе примыкаем.
В поту и хрипе узкою пролазим щелью.

Канат рассекся от усилий дружных
И хлобыснул по роже чьей-то тощей —
Метнулась врозь стая ребят досужных
. . . .

Оправились и потащили с песней,
Мамаше подарив матюк.
Последний шаг — и силе стало тесно,
Скрипит, шатается на оси крюк…

Шабаш — доставили!..
Двугривенный и сотка,
Да огурец, в горшке разбрюхший от рассола.
Кормись, дыши, промачивайся, глотка,
И хлебец жуй муки вкуснейшего размола.

Красному Воронежу

[текст отсутствует]

Последний день

Выходите по плитам звенящим, дрожащим под шагом
Уверенным, твердо рассчитанным маршем!
У станков, у моторов, вагранок с кипящею медью
Сговоритесь спокойною, краткою, ясною речью труда,
А потом — слейте в миге едином
Всю волю, усилие, мощь трепещущих жизнью железною жил
И ударьте по клапанам и регуляторам,
Воющим силою темной упорной огня —
Ударьте — взмахом одним тысячей рук,
Тысячей рук, как одной!
Тысячей пальцев в мозолях и ранах —
Знаках немых сопротивлений металла и пламени горнов…
Рукою за руку в пожатии — призыве братском
Возьмитесь, идите всей цепью, звено за звеном,
Разбейте ворота — и океаном свирепым
Раскиньтесь волнами с кровавою пеной,
Запейте потоком, ударьте прибойной струею —
Мир, убывающий в силе, землю усеявший гнойными трупами,
Бледною, тощею кровью, еле живущий,
И взвейтесь столбом, стальным, прокаленным,

Под небо, под звезды!
И засветите под солнцем,
Чтоб солнце потухло,
Факел из слившихся искр от ударов,
Ударов ритмичных и властных
Наших желаний, влитых в одно…
Мы — это правда грядущая,
Правда земли, под которой
Рухнут все тайны небес…
О, мы раздавим, взорвем динамитом,
В песок превратим этот мир!
И продиктуем кометам и колоссальным далеким мирам
Волю машин,
Правду горящих сердец.
Выходите по плитам звенящим, дрожащим под шагом
Уверенным, твердо рассчитанным маршем…

Италии

На морях из льющихся алмазов
Дышит в солнце пальмами земля,
И вершины гор из дымных газов
Растопила золотая мгла.

Корабли в волнах далеко бьются,
Ветер воет в мачтах, парусах…
Человек услышал, как поются
Песни бурь в отвесных берегах…

Меч в руках раба не в первый раз,
Залп не первый — по дворцам…
Мы слились, мы лава — миллионы нас,
Мы гремим восстаньем по странам.

Океан в прибое свирепеет,
Мир от взрывов недрами гудит.
Жажду правды сердце в сердце сеет,
Красный Факел мщением горит.

Юный Друг, далекий и прекрасный,
Душу Ты отдал для мук борьбы.
О, борись, восставший брат наш красный,
Рвут уж цепи по земле рабы!..

1919, XI

Знание

Нам радость незнакомая

В тебе горит, познание!
В груди живет истомою
Тоска, от тьмы отчаянье…

Душили мир страдания,
Но жизнь светла надеждою —
И ты пришло, о знание,
Под красною одеждою..

Субботник

Волей рожденный чудесной
Всечеловеческий труд…
Люди под ношею крестной
Счастье себе обретут.

Братские мощные руки
Кровью налиты одной…
Наши грядущие внуки
Будут семьею родной.

Мы под железными стонами
Счастье для мира творим.
Мы трудовыми подъемами
Землю сжигаем и сами горим.

Май

Мы живем под солнцем голубого мая,
Пламенем желаний наша грудь полна.
Мы растем все выше, силы отнимая
От земли и неба, где горит весна.

И в огне восторга поднимаем молот,
Разрушаем горы на своих путях…
По земным пустыням строим Новый Город,
Запоют машины в каменных сетях.

Без числа и меры, без конца и края
Мы покрыли землю, мы сжимаем мир…
Загремела песня, в сердце замирая,
И слились просторы в бесконечный пир.

В этот день, ликуя, брат стал рядом с братом,
Загорелась в каждом ясная звезда…
Катится и стонет, и гудит набатом
Радость и смятенье — ураган труда.

1920 г., 1 мая.

«Над голубыми озерами…»

Над голубыми озерами
В сумерках мрут облака,
Синими чистыми взорами
Замерла в небе тоска.

Влажный камыш наклонился,
В думе глядится на дно, —
Ранний ли сон ли приснился,
Ночью ль открылось окно…

Странник бредет неустанный
В темных полях по тропам,
Путь неизвестный, желанный
Лег по пустыне к горам.

Кузнецы

Снова в руках молотки и зубила,
Песней весенней залились станки.
Пламя железо в горне раскалило,
Куйте его, кузнецы-батраки.

Буйные дети борьбы и свободы,
Куйте железо с зари до зари,
Нивы покроют зеленые всходы,
Песнь про вас сложат в полях косари.

«Солнце жжет арбузы, зеленит огурцы…»

Солнце жжет арбузы, зеленит огурцы,
Обратило к себе всю подсолнухов рать.
Еще тверды бобы, как у девки сосцы,
Впору только теперь воробьям их клевать…

Солнца ясен заход, ночь в теплыни идет
И тоскою зовет на село.
И натянешь зипун, сердце болью кольнет,
Поплетешься без песни, с душой наголо…

На околице визг, чуть задавленный смех,
Парни мечутся с ласковым зовом.
Отпустили с цепей древний прадедский грех,
Льнут друг к другу в желании новом…

Месяц поздно взойдет, перед самой зарей,
Все, сморившись, уснут — кто где как.
Небо вздернется легкою бледной корой.
По дороге раздавишь собачий костяк.

Далеко зазвенел на жалейке пастух,
У колодца стонает бадья,
Закадился росою прохладною луг,
Солнце грянет чуть-чуть погодя.

Праздник силы
(Ко дню всевобуча)

[текст отсутствует]

Дорога

Глухая лесная дорога
И мшистый коряжистый пень…
Путь крестный народа немого,
Душа чья — граненый кремень.

Проселки в узлистом сплетеньи
Раскинулись вкруг деревень,
Где страхом куется терпенье,
Покоится рабская лень,

Сузятся у пашен в тропинки,
И — дальше былиночки мнут,
Средь сел поприжмутся к лозинкам,
С околиц же прямо бегут.

Их манят поля и просторы,
Где странники молча бредут,
Ногами босыми узоры
Версту за верстой по ним ткут.

Сгорбясь под сухарной сумою,
Идущие песни поют
И звякают ржавой клюкою.
А песни за море зовут…

Путь в горы

Поля бурьяном зарастали,
И зверь по чащам ликовал.
А мы пришли — зубцами стали

Плуг рвы и степи запахал.

Живое солнце в красных жилах
Дробило землю на куски,
Отцы ворочались в могилах,
Колосья вспухли, как соски.

Мир раскаленный был враждебен,
Спала машина в недрах руд.
Но человек родился гневен —
Его путь в горы долог, крут.

Напор

Рука с рукою мы стали рядом,
Дыханье брата — мой тоже вздох.
Удары сердца — разрыв снарядов,
И взор ответный взор зажег.

Душа убита, и жизни нету,
Весь мир в железе надет на штык.
Мы рубим корни у всего света,
Победа наша — смертельный крик.

В день истребления — земля пустыня,
И каждый зверь в ней господин,
На небе солнце тогда остынет,
Не нужен миру властелин.

Под нашим шагом цветы сгорают,
Мы — гибель всем, кто не погиб.
В волне кровавой поля рыдают,
Мы выпрямляем путей изгиб.

Душа с душою — дыханий ветер,
Земля и небо — океан.
Над головами не жизни ветви —
Свинца и меди ураган.

Оратор

[текст отсутствует]

«На реке вечерней, замирающей…»

На реке вечерней, замирающей
Потеплела тихая вода.
В этот час последний, умирающий

Не умрем мы никогда.

Мы твой зов, твой голос всюду слышим,
Тишина и сон твоя душа.
На руках у матери не дышим,
Без возврата ночью шла межа.

Свет засветится, неведомый и тайный,
Над лесами, ждущий и немой,
Бьет родник, живой и безначальный.
Странник шел и путь искал домой…

Конный вихрь

Пролетарской коннице

По морю, по морю земли
Храпят табуны лошадей.
Гонят в ущелье петли
Безумное стадо людей.

Пики их жалят и жалят,
Души секут пополам,
Брызгают трупы и тают,
Трупы — дорога коням.

Копыта вонзаются в череп,
Сердце в груди дребезжит —
Красноармейцем стал мерин,
Смертью ревет и визжит.

Топчут пустыни копыта,
Топчут и рвут города.
Крепость гранитная смыта —
Жизнь никому не отдам.

Враг под ногами не дышит,
В землю вогнал его конь,
Победы моей не услышит —
Красный ликует огонь.

Фронт

Артиллерийский звон колокольный
В стены набатом гудит.
Башни взлетают, дворцы загораются,
Пыль кирпичей в облаках.
В город расплавленный молот опущен,

Брызгает пламенем камень домов.
Трупами люди мостят переправу,
Падает к братьям брат на штыки.
Дрогнуло вздохом зарево в взрыве,
Комом свинцовым запущена смерть…
Гневный поток размывает дороги —
Пушки, колеса, лошади — мы…
Выгнула спину крепость — плотина,
Дышит гранит, как живой.
Трубы без дыма отрублены в небе,
Будто слепые глаза.
Но целы машины под цинковой крышей,
И слушают чутко станки…
Лопнет плотина под силой напора
(Разве ей скажет кто: стоп?).
Сжатая мощь водопадом сорвется,
Смоет, сравняет трупов бугры,
Люди грудь с грудью к трупам сойдутся,
Брат не нанижет брата на штык…
Долго идем мы, не видим друг друга,
Стены кругом нас и камень в душе;
Но мы заложили пуды динамита
В камень, в гранит, под бетон.
Врата родного мы в жертву отдали,
Шнур поджигали живою свечой.
Но мы пустили под облако пылью
Стену и душу сухую врага…
Человек человеку навстречу
По крови шагает, шагает века.

Мальчик

В вечер летний, тихий и тоскующий,
Звезды с неба травам говорят.
Домик скрылся и зарос садами,
И в окне белеется звезда.

Спит Волчок в репьях под лопухами,
Сердце человечье у него во сне,
И во сне рекой уходят звезды,
А земля без края и дорог.

Ночью каждый от себя уходит,
Понимает, а к утру молчит.
В поле грудь волнуется и дышит,
Люди встали и глядят.

Мать до света белого качала
Мальчика в корыте на полу.
Домик крышей светится под небом,

Мальчик мается, руками говорит.

Сны его несут далеко,
Улыбаются и на руки берут.
Мать другая грудь сосать давала,
Много рук протянуты и ждут.

Он не знает, никому не скажет,
Отчего и ночью так светло,
Отчего во сне он говорит и любит,
А днем немой и ненавидит.

В самый полдень, когда поле выгорало,
Заметался мальчик и открыл глаза.
Мать давно томится на работе,
Чуть змеится время, долго до гудка…

Снова шепчет вечер, тихий и печальный,
Серебряные струны в небесах поют.
Подушка навалилась на лицо ребенка,
Пух во рту горячий прожигает дух.

В дверь Волчок заскребся,
Мухи ноют тише, за окном забор.
Вышла у соседей на крыльцо невеста
И одна запела.

Тянется не рвется тоненькая нитка,
Капля бьет по капле, а полны века…
Мальчик замирает, видит сон последний,
Будто мать уходит, больше не придет.

Без конца заборы, темные дороги,
Наверху просторно, тихо и светло.
Села мать на камень, руки протянула
И одна поет.

Умер мальчик. Белый, он светился ночью,
Не в корыте он один заснул.
На него в окно смотрели звезды,
К свету мухи облепили весь живот.

Домой

Утром трава просыпается,
Дышат, шумят воробьи.
Ты с человеком не встретишься
Тут под навесом зари.

Долги дороги из камня,

Жарок подножный песок,
Глаз у звезды закрывается,
Тянется солнце рукой.

Эти поля и дороги,
Этот стонающий день,
Жмется к тебе и тоскует
Земная пустая душа.

Думаешь. Видишь далеко,
Нет никого на пути —
Странница богом согнута,
Деревня, солома, плетни.

Тут я любил и родился,
Братца таскал на руках,
Землю большую увидел,
Боялся, умрет моя мать

Летние дни улыбаются,
Реки текут в серебре,
В поле песок загорается,
Мать дотемна не придет.

Братца ношу, утешаю,
Постом ему минет годок,
Любит он, смотрит, смеется,
Думает, я ему мать.

К вечеру день опускался
В темь затаенных лесов,
Ночью росой там купался,
Утром ребенком глядел.

В поле играли мы с братом,
Город лепили в песке.
Сеня поднялся на ножки,
Со страху моргать перестал…

Дома все зяб он и жался,
Вечером есть не хотел,
Пеною утром закашлял,
Пух животом и синел.

Мать не пошла на работу,
На руки Сеню взяла.
Глаза он открыл и не видел,
Ложилась на них пелена,

В полдень заснул и во сне засмеялся,
Руками ловил и стонал….
День прогремел и на лес опустился,

Шла, уходила река.

Стих ночью Сеня,
В рот взял мой палец,
Глазами глядел, а дремал.
И день весь, и ночь всю другую глядел и дремал.

Утро настало. Чуть вышел день.
Сеня проснулся и руки поднял.
Глазами повел далеко, как слепой,
Будто ушел и забыл оглянуться…

Плавает солнце по небу одно,
Странник, отставший в степи,
Ходит и ищет дороги-пути.
Плачет с ним вместе земля.

Рожает она, хоронит и любит,
На солнце глядит каждый день.
Могилы, поля, и плетни, и деревни,
И смерти и жизни нету конца.

Когда же дойдем мы до дома
И в нем до утра отдохнем.
Сойдемся, увидим умерших,
Забытых, далеких вернем.

Когда ж эту смерть вместе с жизнью
Сожгем в яме скорби своей,
И встанем с соломы детями
У матери в доме родном!

Мысль

Жизнь еле тлеет под камнем смерти,
Изнемогает в борьбе со тьмой, —
Свалите камень, земные дети,
Пусть станет истина ее душой.
Над нами солнце и в нас рассвет,
Все реки светятся до дна.
И в нас восходит светлейший свет,
Ничья не будет душа одна.
Мы все воскреснем, живыми встанем,
Родился новый сильнейший бог.
У бездны дна теперь достанем,
Сойдутся братья с больших дорог.
Мысль человека стала богом,
Сознанье душит зверя тьмы.
На царство сядет царь убогий —
Ни ты, ни я, а — мы.

Сын земли

Опустилась с неба раненая птица,
Поперек дороги ей легла гора.
Жизнь, полет высокий, только тихо снится —
У костра со звездами до утра игра.

Крылья холодеют и на шее камень,
Глыбы на дороге, смерть и тени тайн,
Глыбы шевелятся, шевелятся сами,
Горы над горами, как над бездной край.

Где ж гнездо и мать тут у небесной птицы,
Только тьма пещеры для прохода тайн.
И без шума мчатся тени вереницей,
Смерти, жизни нету, вечно ожидай.

Птица еще бьется, есть под сердцем дети,
С нею прилетели с голубых равнин.
Если мать не дышит, то у них нет смерти,
И вздохнет и выйдет из утробы сын.

Из утробы мертвой он один родится,
Перемрут под матерью многие птенцы…
До конца сын будет с смертью, с тайной биться,
И его поманят звездные венцы.

Через глыбы, горы тайн и неизвестного
На коне Ненависти пронесется сын.
В вихрь и ночь безумия, жаркого и тесного,
Он на крыльях пламенных врежется один.

Это мать убитая, брошенная с неба,
Через горы бросила сына к небесам.
Все птенцы подохли с голоду, со слепу
И лежат на камнях черной кучей там.

В сыне мать открыла снова небу крылья,
И смеется звездам из-за глыб и гор,
И летит звенящей, белой, звездной пылью
В тихие равнины в голубой простор.

Прошлое, далекое, всю немую вечность,
И холодный камень, тайную звезду —
Все поймет, полюбит, кончит бесконечность
И на крыльях вскинет Сын на высоту.

Это мать убитая в нем летит и ищет,
Никогда не кончит своего пути…

И живых и мертвых с гор высоких кличет
На дороге дальней всех птенцов найти.

1920, 7 ноября.

Слепой

Песню ночью никто не услышит,
Тихую песнь без певца.
И тебя и меня она кличет,
Как без матери в поле слепца:

— Ты испуган, ты вытянул руки,
Стужа тьмы, пустота, пустота.
Ни отголоска, ни звука.
Ты потерян, забыт, ты отстал;

О, не бойся, слепец позабытый,
Больше всех ты своей слепотой,
Одному тебе тайный и скрытый
Свет открою и буду сестрой.

Мир подымешь на слабые руки,
Что захочешь, полюбишь — твое.
Ты испуган, слова твои глухи,
Ты — любовь, твое сердце — в моем.

У стены, у стены на дороге
В смертном ужасе замер и ждешь,
Ждешь, приедут холодные дроги —
Не откроешь глаза, а сожмешь…

Ты живой, ты живой, ты единственный,
И стена — только дым на глазах,
Ты слепой, но в тебе свет таинственный,
Ты у мира один на часах.

Никого, а себя испугался,
В ослепительном свете ослеп
И один от ушедших остался
В поле темном на мертвой земле.

Для тебя одного невозможное —
Крылья радости, вольный полет.
И все тайное — только ничтожное,
Только тень от открытых ворот.

Ты оживший, спасенный спаситель,
Тихий голос твой — миру закон.
Ты вселенной единственный житель,
Твоя истина — утренний сон.

* * *

Песню ночью никто не услышит,
Тихую песнь без певца.
И тебя и меня она кличет,
Как без матери в поле слепца.

«Мы пройдем тебя до края…»

Мы пройдем тебя до края,
Небо, тайна голубая.
Мы любовь, мы — мысль вселенной,
Звезд зовущих странник пленный.

Мы идем в темницы тайные,
Там красавица печальная
Не дождется часа светлого,
Будто песнь, никем не спетая.

Много матерей

В мире большом и высоком
Много дорог и домов.
Небо — колодезь глубокий,
Мать не поймет моих слов.

Много идут матерей,
Только чужие и мимо.
Нам ни одна не откроет дверей,
На руки с лаской не примет.

Нищими ходим мы по земле —
Мать ли не встретим в замолкшем лесу…
Каждый замучен, от пыли ослеп,
Сердце до матери я донесу.

В городе праздник — дома и огни.
Дети бредут и все просят любви —
В поле мы были одни и одни,
Мать, хоть чужая, нас позови!

И протянулись к нам белые руки,
Полные груди ждут с молоком…
Шли по дорогам мы в радостной муке —
Есть и у брошенных матерь и дом.

Нам улыбнулись деревья и камни,
Каждого любят мать и сестра,
Стали мы всеми, все стали с нами,
Будто в степи у большого костра.

Дети

Не сгорает город огненный,
Весь в страдании торжественном.
Из машин стальных бьют молнии.
Вышли трубы грозным шествием.

Мы безумную вселенную
Бросим в топку раскаленную,
Солнце древнее, бесценное
Позабудется, сожженное.

Оборвем мы вальс тоскующий —
Танец звезд, далеких девушек.
К ним идет жених ликующий —
Сжечь обитель светлой немощи.

Не любовь мы, а познание,
Сердце было — ком тоски.
Мы ворота ищем тайные
Уплывающей реки.

Наши дети не родились,
Не родятся никогда —
Через вечность мы пробились,
Будем биться, жить всегда.

Дети — сладкое бессилие,
Сказка радостная смерти.
Мы ж невянущие лилии,
Мы смеющиеся дети.

Во сне

Сон ребенка — песнь пророка.
От горящего истока
Все течет, течет до срока,
И волна гремит далеко.

Ты забудешь образ тайный,
Над землею неба нет.
Вспыхнет кроткий и печальный
Ранний утренний твой свет.

Ты пришел один с дороги,
Замер сердцем и упал,
Путь в пустыне зноя долгий,
Ты, родной мой, тих и мал…

«Тиха дорога, неизвестна…»

Тиха дорога, неизвестна,
У брата горячи глаза,
Мир тайный — сонная невеста,
Мы — предрассветная роса.

Конца мы ищем бесконечного,
Мы знаем — есть у бездны дно.
Но одолеем зверя вечного,
Когда с ним станем заодно.

Мы меньше трав и тихих нищих,
Глаза у нас небес ясней,
Песка подводного мы чище
И всех зверей живых сильней.

Последний шаг

Из вскрикнувшей разрубленной вселенной
Рванула мир рабочая раздутая рука.
Пришли до срока, без гудка мы — радостная смена,
Все времена ушли в подземные забытые века.

И ближе светит солнце, везде, везде — наш дом,
И ты мне друг и брат, она сестра — сестра.
Земля — железная машина, течет по проводу к ней гром.
Смеемся мы, любовь не перескажем с утра и до утра.

Бессмертье заработали мы смертью и могилой,
От наших глаз не скроется небесное лицо,
Жизнь раскаляется до дна глубокой тайной силой,
Работа — наш отец, мы не расстанемся с отцом.

Мир будет тишиной. Пройдем его до края,
Нет никого нигде, товарищи машины сверлят небеса.
Летит звезда к земле, никто не умирает,
У человека навсегда задумались глаза.

Живут в нас все — погибшие от смерти,
Кто ночью падал в городах,
Замолкшие в могилах дети…

Мы сокрушающий, последний шаг.

Судьба

В звездной безутешной смертной тишине
После ветра, после птицы мы родились на земле…
Чуть в неуловимой тихой вышине
Радуется — стонет песня на селе.

Вечность мы обнимем вечером рукою,
Девушку испуганную, утреннюю тень.
Выйдет солнце громкое над большой рекою,
Никогда не смеркнется наш великий день.

Музыка на празднике гибелью гремит:
Кинулись товарищи в улицы на бой.
Далеко, за гибелью, спасение летит
С пополам разрубленной, конченной судьбой.

«Мир рожден улыбкой человека…»

Мир рожден улыбкой человека,
Он вселенную невестою назвал.
Смерть рука влюбленная рассекла,
Вечный посох странник в руку взял.

Бесконечность солнцем утром взорвана,
Зацвела небесная звезда,
И растет вселенная просторная,
Бесконечней бесконечности всегда.

Топот

В душе моей движутся толпы…
Их топот, их радостный топот,
Как камней сползающих грохот.
Без меры, без края, без счета
Строят неведомый город, —
Выше, страшнее, где тайна и холод —
Камень на камень, город на город…
Тихо. Только в материи сопротивление —
Ропот.

Там, где удар, там и миги и годы
Плавятся в вечность машиной и потом…
Тихо танцуют звезд хороводы,

Выше их вышли трубы заводов.

Там, где царили вселенная, рок,
Скованный проводом мечется ток.

Слава безумию, взрывам и топкам,
Грохоту, скрежету, топоту, топоту,
Мысли и числам неисчислимым,
Цифрам сомкнувшимся, неизмеримым.

Лопнули мускулы. Смерть человеку —
Брошен в колодезь последний калека,
Душу живую машина рассекла.

Наша душа — катастрофа, машина.
В небо уперлись железные спины.
Солнце стихает, склоняется, стынет.

Ступайте толпа за толпою
По жаркой, по вашей душе.
История больше не даст перебоя,
В машине сгорает мир тайн и вещей.

Любовь — это девушка, шепот,
Но ночью там движется топот,
Идут по душе моей толпы.

Вселенной

Вселенная! Ты горишь от любви,
Мы сегодня целуем тебя.
Все одежды для нас в первый раз сорви,
Покажись — и погибшие встанут в гробах.

Твое солнце на небе и в топке,
В нашей мысли, в летящей звезде,
Ты в былинке унижена робкой
И бессмертная в каждом листе.

Отдайся сегодня, вселенная,
Зацветай, голубая весна,
Твоя первая песня весенняя
В раскаленных машинах слышна.

Ты невеста, душа голубая,
Зацелуем, познаем тебя.
Ты прекрасней чудес, но слепая,
Ты не тайна, а плач и мольба.

Мы — сознание, свет и спасение,

Никто после нас не придет,
На трупах цветы улыбнутся весенние,
Девушка сыну цветок сорвет.

Разум наш, как безумие, страшен,
Регулятор мы ставим на полный ход,
Этот мир только нами украшен,
Выше его — наш гремящий полет.

Мы усталое солнце потушим,
Свет иной во вселенной зажжем,
Людям дадим мы железные души,
Планеты с пути сметем огнем.

Неимоверной мы жаждем работы,
Молот разгневанный небо пробьет,
В неведомый край нам открыты ворота,
Мир победим мы во имя свое.

«Познаны нами тайны вселенной…»

Познаны нами тайны вселенной,
В душах тревога молчит.
Мы осушили небесные бездны,
Солнце слова говорит.

Полон восторга пламенный город, —
Люди, машины, цветы…
Каждый сегодня богом быть может,
Солнце над каждым горит.

Медный гудок заревел над планетой,
Пространства, подъемы нас ждут.
В жизни бессмертной, как в песне неспетой,
Звезды звенят и поют,

Солнце мы завтра расплавим,
Выше его перекинем мосты.
Как песком, мы мирами играем,
Песню мы слышим тихой звезды.

К звездным товарищам

На земле, на птице электрической
Солнце мы задумали догнать и погасить.
Манит нас неведомый океан космический,
Мы из звезд таинственных будем мысли лить.

Мы летим. Нам смерть, как жизнь, — товарищ.
Лучше гибели невесты не найти,
Чище муки ласки не узнаешь.
Тот живет, кто кончил все пути.

Мир стал громок и запел в машине,
Бесконечность меряет великий машинист.
Где луна одна веками стынет —
Наших сверл могучих ураганный свист.

Мы задумались о мире неизвестном,
В нем томится истина — умершая сестра,
Не свернем мы никогда с дороги крестной,
Наш гудок тревожный загудел с утра.

Больше жизни мы познали гибель,
В нас ненависть, и надежда, и тоска.
Мы слепые, каждый ненавидел,
Только слушал, как работали века.

От ненависти — всего мы захотели,
В наших топках пусть вселенная сгорит.
Нет нам матери. Мы жить одни посмели.
Пусть гудок тревожнее гудит.

Город улетающий в сверкающем железе —
Небо прорывающий таран.
Мы проломим двери в голубом навесе
К пролетариям планетных стран.

Вечер мира

Мы убьем машинами вселенную,
Под железом умерла земля,
В наших топках бьется солнце пленное,
И в бессмертной стали нет добра и зла.

День и ночь в вагранках раскаленных
Пламя переходит в ледяной металл;
Мир стоит, печами озаренный,
Как невесту, человек его обнял.

Льем мы новую железную вселенную,
Радостнее света и нежней мечты,
В ней надежды наши оживут безмерные,
Мы переместим все пути светил.

Мы бессмертны, мы неведомое любим,
Мира мало, чтоб насытить нас,
Мы все грани и законы переступим, —

Для вселенной бьет последний час.

Пой, товарищ, в этот вечер мира,
К полночи потухнут звезды и цветы,
Маховик к зениту вскинет крылья,
В неизвестность строим мы железные мосты.

«Сгорели пустые пространства…»

Сгорели пустые пространства,
Вечность исчезла, как миг,
Бессмертные странники странствуют,
Каждый все тайны постиг.

Товарищ, нам тесны планеты,
Вселенная нам каземат.
Песни любви и познания спеты —
Дороги за звезды лежат.

Товарищ, построим машины,
Железо в железные руки возьмем,
В цилиндрах миры мы взорвем,
И с места вселенную сдвинем.

В глазах наших светятся горны,
В сердце взрывается кровь,
Как топка, душа раскаленная,
Как песня, гудков наших рев.

«Тих под пустынею звездною…»

Тих под пустынею звездною
Странника избранный путь.
В даль, до конца неизвестную,
Белые крылья влекут.

Ясен и кроток в молчании
Взор одинокой звезды…
Братья мои на страдания
В гору идут на кресты.

«Далью серебряной в утро росистое…»

Далью серебряной в утро росистое
Ходишь потерянный ты без пути.
Раннее небо раскинулось чистое,

Сердцу живому дорог не найти.

Может быть, встретишь в сгорающей дали
Брата родного и душу отдашь…
Долго мы шли и друг друга искали,
Земля голубая — убогий шалаш.

«Я поэт разрушающих Вечность времен…»

Я поэт разрушающих Вечность времен,
Вождь железных бессмертных племен,
Знаменосец горящих знамен…

Во мне много песку золотого,
Как безумье разум глубок,
Миллиарды послали вперед вестового —
Ночи навстречу — в звездный поток.

Во мне души живут, шевелятся
Человеческих мертвых пустынь,
Мои сны всей вселенной приснятся,
Я всех девушек сын.

В моем сердце поет человечество,
Аэропланы на небе кричат,
Это не я, а оно во мне мечется —
Чтоб воскреснуть — каждый распят…

«Среди нив, певучих в спелости…»

Среди нив, певучих в спелости,
Все шумит, шумит сосна,
На кургане давней древности
Лист бормочет ото сна.

Здесь спустил в провал могилы
Вождь красавицу жену,
Облака по небу плыли.
Древний ветер траву гнул

Здесь когда-то, прежде времени,
Море жило в песне волн
И таило в тинной зелени
Утонувший чей-то челн.

«В эти дни земля горячее солнца…»

В эти дни земля горячее солнца,
На коленях я, и каждый мне Христос.
Загорелся мир, как сохлая солома,
И никто не знает, где на небо мост.

В сердце человека и любовь и жалость,
О бессмертии поет великая река,
На песок упала тоненькая веточка —
Матери моей остывшая рука.

В поле закопали люди свое сердце —
Может, рожь поспеет тут и без дождя,
Может, будет лето, и воскреснут дети,
И протянет руки нам родная мать.

«Небо вверху голубое…»

Небо вверху голубое,
А ночью мне снилась звезда:
Я будто царь и разбойник,
И ты далека и чиста.

Над миром бушуют пожары,
Над сердцем сверкают мечи,
В руке моей скрыты удары,
И солнце от боли кричит…

Ночь

Лугом стелется дым от сухого костра
В курене рыбака на песчаной мели.
Даль густеет и стынет в молчащих полях,
В блеске мертвом река холодна и востра.
Брызнул искрами свет из небесной щели
И оперся о землю со смертью в очах.

Огонек рыбака в заводине глухой
В угольках своих греет картошки,
И сидит человек над пустынной рекой,
Позабывшись под пение мошки…
Пар с реки по лугам поволокся травой,
Покатился в овраги туманом-волной.

Не щелкает кнутом у деревни пастух,
Он заснул и храпит в прокопченой избе…
В трепетании звезд что-то шепчется вслух
И играет лучами в огнистой резьбе.

Расстилается в Сне по земле пряный дух,
Неожиданный вскрик — в отдалении глух.

Лес листвою обвис, сухостоем обмяк,
Сил сосет из взопревшей земли.
Он раскинул далеко зеленый армяк,
Наготу материнства собою прикрыв,
И корявые корни глубоко ушли,
Совершая в страстях диво мира из див…
Перепелки к утру изнывают во ржах,
Рыбы мечут икру на заре в камышах.

Сказка

Волга, воды голубые,
Дно — серебряный песок,
Лодок весельные крылья,
Над костром в степи дымок.

С ранней думой сокровенной
Мальчик ждал тут кораблей…
Ветер воду чешет пеной,
Весла машут веселей.

Снятся мальчику на лавке
Сны, один того страшней:
Богатырь в железной шапке
Шаг кладет в сто саженей.

И несет в руках царевну,
Девок наших румяней,
Дочерь бога, королевну,
Глаз светлей степных огней.

Волга к ночи тихо ляжет,
Загудит зато земля,
Все дороги звезда скажет,
И зашепчутся поля.

Мальчик с думой обручится,
Все узнает и поймет:
Богатырь с царевной снится,
Волга вечером поет.

Годы, птицами со степи,
Навестят и улетят.
Легче жизни нету цепи,
Люди любят и молчат.

Мальчик вырос в атамана,

Сжег деревню, мать-отца
И ушел на лодках рано
У земли искать конца.

Шапку с головою скинул,
Сам оперся на весло,
А царевну в море кинул, —
Без нее в душе светло.

«Человек — цветущее растение…»

… Человек — цветущее растение,
Человек — певучая звезда,
И весь мир есть пение весеннее,
Говорливая вечерняя вода.

По степи уходит тихий странник,
Ветер шумный в облаках шуршит,
Человек родился здесь нечаянно
От звезды тоскующей, от поющей ржи.

Богомолец сердца, странник дальний,
Все миры — лишь ног твоих следы,
Тишина земли есть песня тайная,
Тишина небес есть свет звезды.

«В мире тихий ветхий вечер…»

В мире тихий ветхий вечер
Бесконечность замерла.
Пела песни в поле речка,
И звездой земля цвела.

Странник умер очарованный,
На дорогах тишина.
Сердце жалостью разорвано,
И звезда взошла одна.

Лунный гул

Железный трепет электрического века,
Песнь электронов, лунный гул,
Звенящий стон разорванных молекул, —
Вселенский бой сопротивленью и огню.

Свет раскаленный моего сознания

Глаза зажег у слепнущей звезды,
Услышал в мире я глубокое дыхание,
Подземное движение воды.

Веселый белый бред садов весенних,
Далекий звездный звон и лунный гул —
Певец я, странник и жених вселенной,
Для поцелуя ей я шею перегнул.

Стихи о человеческой сути

Заражено пузо едою —
Неукоснительно и неспеша,
Пропавший пупок блестит чистотою:
Вся кожа в работу пошла.

Еда, брат, громадное дело,
Щами велик человек,
Ешь, чтоб душа не сопрела,
Лопай, давись, животом кукарекай!

Будешь ты в славе и чести,
Если скулу изотрешь,
Сгинешь, как гнида, без вести,
Если планету сию не сожрешь.

Ах если б нам бы да кабы
Хлебы испечь из звездных зерен, —
Хватило б, и то абы-абы,
Да пузо само бы гнало самогон.

Лечь бы, к примеру, послаться,
Не сознавать, а сопеть
Опомняся, тихо нажраться
И атмосферой воздушной лететь.

Рассказ о Непачовке

Вот она — родная Непачевка,
Лупит вшей на улице Игнат:
Не селение разумное, а так — одна мурцовка,
Каждый тебе враг и в то же время сват.
Вон ползет мощой Драбан Иваныч,
Тощ (как будто он опоросился),
Враг законной пролетарской рвани,
Подошел ко храму, спрохвала перекрестился.
Вон грядет неспешно, неподвижно
Тварь сухая, как тарань, диакон,

Ставит в супесок стопы крестовоздвижно,
Движет туго телесами с гаком.
Вышла за калитку Пелагей Иванна
(Сзади поглядеть: кошолка с окамелком),
Позевала (господи, помилуй окаянную!),
Пасть сомкнула, поглядела в улицу
Пристально и с толком.
Велика, Россия, ты, сурьезна!
Где твоя змеею свернутая суть?
Жрать в тебе и множиться невозбранно можно,
И везде есте егда сосцы твои сосуть.

Крестьянин Баклажанников

Небесная авиация

Земля сама — воздушный шар
На солнечной веревке,
Внутри клокочет газ и жар
В гранитной упаковке.

Летит — по солнцу чертит тень —
Не слышно и не дышит,
И груз пространств и деревень
Несет и не колышет.

И воет, воет и гнетет
Машина тяготения,
Но прочен трос стальной — не оборвет
И скорость не скорее времени.

«Изобретатели!..»

Изобретатели!   Громилы мира,
Работники чудес и путники пустынь!
Какая мать свирепой силой обкормила,
Тебя, осиротелый, одинокий сын!

Ты видишь: не протоптана земля
И океаны в тьме гремят,
Надеждой тайной звезды веселят
И дух сопротивленью мира рад.

Крепчает тело и кровь густа,
Скрежещет мыслью жаркий мозг,
Пространств пустынных высота
Таит любовь цветов и скорбь ночных дорог

Какое сердце жизнь вместит?

Какая мысль с дежурства звезды снимет?
Неимоверный случаи — жить,
Изобретатель безымянный и незримый.

Урод живет и женщину имеет.
Но скован смертною судьбою,
Кто миром овладеть посмеет —
Изобретатель — мировой разбойник.

Неоконченное

Счастливое время

Мы жизнь поставили ребром —
Катися счастья колесо,
Катись не яблочком, ежом —
Закрой штыком
Счастливое лицо.

Оставь на время книгу и жену —
Скупы века на счастье и покой.
Нам задано судьбу
Вкрутую повернуть
Простою человеческой рукой.

Но наши руки просят не войны,
А книгу, микроскоп, мотор.
И легче нам завоевание луны,
Чем дикий человечий спор.

Но знаем мы:
Не будет микроскоп
Светить природою нагой,
Не ляжет в поле полный сноп,
Пока мы прочною ногой —

И не одной, а парой ног —
Мир не займем на шесть шестых.
Но сами мы не тронем крох
С дней мира, кратких и простых.
И странно в наше время жить —
Уметь мгновеньем дорожить,
Уметь винтовкой книгу заложить,
Чтоб встать, пойти
И — просто умереть.

И жизнь несказанно вкусна
С такою солью смерти.
И страстью и душой она напоена —

И в сердце чувства не измерить!

Но влагой станет кипяток,
Прозрачным воздухом остынет буря.
Пока же бури не окончен срок,
Греми красноармейский котелок:
Сорвет война любой листок
Календаря и им закурит.

И вот —
Через винтовку, газ и самолет
Вернемся мы домой,
К тому, что нас влекло:
Где пахота, машины, мысли полный ход —
Труда и знанья чистое стекло.

Андрей Вогулов

Вождю оппозиции

Ты в лучших чувствах оскорблен:
Тебе одну шестую дали (считая тундры и пески),
Одну шестую мира пространства и тоски,
Где только рожь да лен!..
А где ж металл и механизмы,
Где прочность революции — бетон?
Какие тут в траве социализмы?!
По зипуну не скроишь мировой фасон!..
Ты удручен — и речью пышной
Исходит сердце страстное твое…
Не надобно кричать — и так все слышно,
Тебя любили мы,
Теперь — огнем единства бьем!..
Стерпи, товарищ, не горюй!
Ведь и другое у тебя бывало:
Ты помнишь сказку про березку и кору
И про козу про злую капитала?
Ты говорил: гони березку в рост,
Иначе съест ее коза Европы!..
Березовой стране мы клали в рот[13]:
Питайся, милая,
Жируй младенческой утробой!
И деревцо росло по малости и силе,
А ты схватил и потащил из почвы:
Расти скорей!..
И тут-то мы завыли:
Брось дерево, бузила!

13 Конечно, что имели:
Что за обедом сами ели!

На дереве живые листья были,
Ты хочешь, чтобы стали клочья?..
В науке есть… какой-то камень.[14]
А в революции — железо есть!
Железо, вот, жуем почти губами —
Приходится десною есть,
Не обеспечены пока зубами!..
Ты думаешь, мужик башку поскреб
И только вошь в ногте осталась?
Смотри! Любая голова (будь в ней хоть медный лоб)
Как бы под тем ногтем
По швам не распаялась!

Андрей Вогулов

Про электричество

Электрический огонь
Светит над кроваткой,
Спать не страшно с огнем —
Засыпать сладко.

Не шумит и не коптит,
А молчит и светит —
Без него бы страшно жить
Было нам на свете.

Даже кошка Машка наша
Вся трясется во тьме
И боится мышей.
Но зажгите огонек:

У мамаши простоквашу
Всю покушает она
И залезет за мышонком
На высокий потолок.

Да и я боюсь чего-то,
Если свет потушат.
Шепчет кто-то:
— Вот он, вот он!
И бывает жутко.

Если мама ляжет близко,
Я держусь за шею.
Скажет мама:

14
Наверно, ленинский гранит:
Другие ели и — сытели,
А ты поел — живот болит!

— Спи, сынишка!
И тепло мне с нею.

Я заметил из окошка,
Что на небе иногда
Загорается немножко
Электричеством звезда.

Вижу я, что лампа наша
Вся на ниточке висит,
Оборвать ее не страшно,
Только папа говорит,
Что без нитки —
Лампа не горит!

Папа мой не пионер,
А значок на шапке!
Он советский инженер —
Молот на лопатке.

Он машины из железа
Строит целый год.
Но какие — неизвестно,
И домой не принесет.

Я сказал ему однажды:
— Что ты, папа, жадный?
Знак надел — и ходит важный!..
Подари-ка нам машину —
Будем очень рады!
Правда!

Папа мой меня потрогал,
Будто я железный:
— Завтра едем-ка в дорогу,
Станцию посмотришь!
Невелик ты, но полезно:
Подрастешь — построишь!

И поехали мы завтра,
С мамой попрощались.
Взяли шапки, взяли завтрак,
С мамой целовались.

Рыжий шофер очень важен —
Автобусик он ведет.
Ехать быстро очень страшно,
Дядя денежки берет.

По Лубянке к Театралке
Мчится громко автобус.
Нам людей давить не жалко,

Потому что незнакома
Пионерам грусть!

Дом стоит ужасный
И гудит как жук.
— Вот электростанция, дорогой мой друг! —
Взял меня за руку папа-инженер.
И пошел я в станцию,
Смелый пионер.

В комнате высокой Ленина портрет,
А под ним железо страшное мычит.
«Без электростанций — коммунизма нет»,—
Ленин, умирая, написал слова.
И теперь железо мертвое кричит:
Значит, сила Ленина жива!

«Кочегарка —
Посторонним запрещается входить!»
А вот мы вошли!
Там земля трясется, люди дым едят,
И жара такая — невозможно жить!

Но я очень смелый, и я очень рад,
И еще охота
Уголь мне кидать.
Только — не велят!

Вон часы-будильники
Стрелками дрожат —
Так ужасно крепко
Пар в котле зажат.

Кочегары черные
Кормят пламя в рот:
Для машины — пища,
Кочегарам — пот.
Это удивительно —
Трудно как светить!
Нам неизвинительно
В ярком свете жить!

Ну, пойдем, парнишка,
В наш машинный зал.
Люк не трогай близко,
Свалишься в подвал!

Но уж там другое —
Чистота и звон.
А главное такое —
Как делают огонь.

Лежат кадушки черные,
Как музыка, поют.
Большие, а проворные
И много пара жрут!

В одну машину давит пар —
И вертится она!
Упорный черный кочегар
Не зря потеет у огня.

И, тяжело утомлена,
(Видать, как дышит и сопит она!)
Машина та крутить спешила
Свою певучую соседку,
Что город электричеством светила.

Я ничего бы не узнал,
Но папа пионерски метко
Мне все дочиста рассказал:

— Видал, вожатый и оратор,
Как трудно свет дается нам?
То три турбины, то — динамо,
Все вместе:
Турбогенератор!

Ты слоЂва не запоминай,
Запомни то, как медный вал,
Вращаясь меж магнитов,
Живое электричество рождал!
Теперь — по станции шагай!

Взобрались наверх —
Круто, жутко,
Трепещет даже стан!
Какая умная наука!
Зато машинам трудно
И кочегаров жаль!

Здесь на мосту высоком —
Пред нами мрамор белый,
Проходим с папой боком,
Чтоб током не задело.
Часов и ручек много
На мраморе висят.
Но просят их не трогать,
Чтоб зря не умирать.

— Вот щит-распределитель,—
Папа говорит.—
Здесь каждый измеритель
Выставлен на вид!

Гляди на циферблаты,
И видно — сколько тока!
Считаю аппараты
Без всякого порока.

Текут отсюда в город
Тепло и свет и сила —
Вон, видишь, вышел провод:
В нем электричество поплыло.

Лампочку над книгой
И городской трамвай
Питает провод сытно —
Садись и поезжай
Домой к себе на Пресню —
И быстро, и прелестно!

Любой, большой и малый,
Советский наш завод
Вещи из металла
Все тем же током ткет.
И воду током гонит
В дома водопровод.

Стихи на случай

<Марии>

«Предчувствия меня томят…»

Предчувствия меня томят,
Душа неслышно говорит.
На небе звезды молчат, молчат.
И в бесконечность мне путь открыт.

«Вечер и Ты, моя мука и свет…»

Вечер и Ты, моя мука и свет,
Вечер — и я, человек и поэт.
Знаю, что в мире радости нет,
Есть безнадежность — кровавый крест.

«В мире есть чудо — свобода…»

В мире есть чудо — свобода,
Мир — это сердце, мой друг.
В мире есть нежность — природа,
Есть человек — разрушающий дух.

«Баю-баю, Машенька…»

Баю-баю, Машенька,
Тихое сердечко,
Проживешь ты страшненько
И сгоришь, как свечка.

«Солнце — розовый ребенок…»

Солнце — розовый ребенок
Пьет вселенной молоко,
Ржет и скачет жеребенок,
Поле утром далеко.

«Жизнь — далекая дорога…»

Жизнь — далекая дорога,
Неустаный путник я.
И у неба голубого
Я любимое дитя.

«Наступает Новый годик…»

Наступает Новый годик,
Это значит — вырос Тотик
Это значит, что зима
Стала старая сама,
Умирать домой пошла.
Пусть уходит — пожила!

«Буквы черною печалью…»

[текст отсутствует]

Комментарии

Нина Малыгина. Быть человеком — редкость и праздник

[текст отсутствует]

Комментарии к рассказам

[текст отсутствует]

Комментарии к стихотворениям

[текст отсутствует]